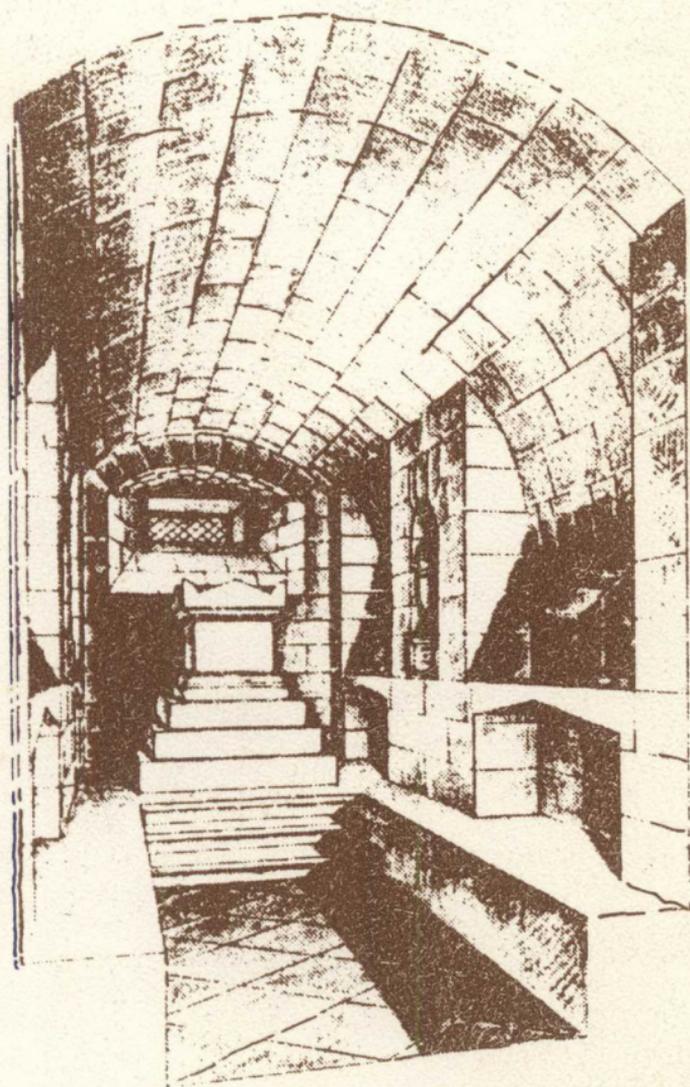


ЗИНОВИЙ ЗИНИК НИША В ПАНТЕОНЕ

«СИНТАКСИС»



Зиновий Зиник

НИША В ПАНТЕОНЕ

РОМАН



«SYNTAXIS»
1985

ZINIK, Zinovii
NISHA V PANTEONE

©1979 by Zinovii Zinik.
©for Russian language edition
1985 by «SYNTAXIS»
8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

СЛОВА ИЗ БУТЫЛКИ

Этот манускрипт приплыл мне в руки по каналам самиздата. Как эти каналы соединяются с рекой Иордан, мне неизвестно, но эти десять общих тетрадей, исписанные мелким почерком, были найдены в бутылке, которую прибило к Западному берегу. Моя задача — рассказать о том, как мне в руки попала эта обмытая мутными водами бутылка. Я вытащил эту бутылку на свет. То есть, я в ответе за бутылку, но не за ее содержание. Я вообще не уверен, что тот, кто исписал эти общие тетради, на самом деле бывал в Иерусалиме.

Я, как всякий, кто родился в этом городе городов, с детства таил и копил в себе молчание, которое скрывается от домочадцев и накапливается в слова, предназначенные для чужих людей. Ведь при всем иерусалимском шуме и гаме, взрыве бомб, хрипоте политиков и соловьином захлебе молитв, город населен молчальниками. Эти молчальники сочиняют у себя в четырех городских стенах неписанную исповедь, ту исповедь, которая заготовлена для пришельца, который никогда не приходит. Этот пришелец непременно должен быть чужаком, потому что свои и так все сами знают. Все ждут нового слушателя. Когда эта мысль впервые пришла мне в голову, я, тоже молчальник, втайне решил, что ждать пришельца не буду: я сам приду к чужим и выскажу все, что накопилось в оболочке молчания. Чтобы чужак откликнулся и поспешил навстречу раньше назначенного срока. А может быть, наоборот, мне самому хотелось стать чужаком, чтобы свои услышали. Еще тогда я на-

ткнулся на афоризм Жан Жака Руссо, который сразу зазубрил как девиз: "Чтобы написать книгу о своей стране, надо прежде всего из нее уехать". И я уехал.

Книга великого молчания о моей родине до сих пор так мной и не написана. С детства зная несколько языков, родившийся в двуязычной семье, я решил, что проживу в Европе переводами. Но начав с переводов, я ими и кончил. В переводе изжила себя идея книги: я выговорился, переводя одни чужие слова на другие, и по ходу дела позабыл свои собственные. Работа переводчика перегоняла меня из одной столицы мира в другую. И каждая столица другой цивилизации манила надеждой в ней затеряться, пропасть, стать одноязычной с ней и в один прекрасный день запеть на другом языке всем известную, но замалчиваемую истину. Потому что старая для нас истина нуждается в иностранном языке, чтобы ее заново услышали. Но с каждым новым языком забывалась сама затаенная мысль и вот, приезжая в очередную столицу и распаковывая чемодан в гостинице, я всякий раз знаю, что пробуду здесь недолго. Я даже знаю сколько: я пробуду столько, чтобы слыша новые звуки, вспомнить уже не саму истину, которую я хотел высказать всему Иерусалиму, но воспоминание об этой надежде на высказывание. Так, потерявший на войне ногу, когда проходит мимо забора, вспоминает, как он когда-то мальчишкой через этот забор прыгал.

И вот, возвращаясь в Иерусалим, я заново переживаю состояние человека перед великим свершением, но только этот человек знает, что свершение уже не состоится. Я переживаю это место как несостоявшуюся любовь, ту несостоятельность самого себя, в которой зажил как в собственном доме. И в этой обреченной несостоятельности есть свой уют, есть своя уверенность. Уверенность эта происходит оттого, что уже ничего произойти не может, что история начинается и кончается здесь. И что мне не нужно противопоставлять себя этому месту, месту, где я нахожусь. Не надо с опаской вглядываться в него, как в кривое зеркало, как я делаю это за границей, чтобы обнаружить изъяны в самом

себе, путая их с изъяснами зеркала. Так происходило в каждый мой приезд в Иерусалим. Всякий раз, когда я попадаю в город своего детства, мне кажется, что я никогда отсюда не уезжал; более того, что я никогда сюда не приезжал: просто-напросто я здесь родился и другой земли не видал. Наоборот: то место, откуда ты попал в Иерусалим, откуда только что прилетел на самолете, начинает казаться чужим сном из предыдущей жизни, утомительным рассказом бабушек и дедушек. Иерусалим же, как родной дом, не нуждается в любопытстве к чужой географии: попав домой, ты не думаешь о том, где ты и что ты и куда ты. Ты у себя дома. И вот на этот раз, в мой последний приезд, я бродил по улицам родного дома, глядел сквозь сосны и оливы на холмы, как на старую знакомую мебель, и вдруг понял, что я уже никогда не буду здесь жить, что я сам себя "экспатрировал", что я гляжу на этот город глазами состарившегося младенца, прожившего слишком долго у чужих людей.

Итак, в тот день я ехал на своей старой машине, по дороге из Иерусалима в Бейтлехем (Вифлеем), в монастырь монахов-молчальников. Мой двухместный тарантас европейского производства, марки которого и называть не стоит, тархтел и стонал на подъемах, и хотя на улицах Европы его с подозрением оглядывает полиция, здесь, на американизированных шоссе, я начинал почти им гордиться. В этой машине была экзотика европейской скромности, как и в моем пиджаке и галстукe, в стране, где раскрытые ворота рубашек вовсе не свидетельствуют о душе нараспашку. В каждый мой приезд я заглядывал в этот монастырь, где старинные виноделы производят одно из лучших вин в мире. Я закупал ящик этого тяжеловатого красного вина, чтобы под вечер сидеть на балконе отеля и сравнивать вспышки отраженного света в красном стакане с россыпью затухающих углей ночного Иерусалима. Потому что таков вечерний свет в этом вечном городе, что лучи заходящего солнца отражаются от всех холмов сразу, создавая странное золотистое угольное свечение, и именно это дрожащее

мерцание я сравниваю со своей нынешней жизнью, и заедаю жгучее вино молчалиников белым овечьим сыром, отчего вино солонее как мальчишечьи слезы, облизанные с губ, чтоб никто не видел. Но это лживое состояние утраченного рая приходит вечером, а днем, в своем твидовом пиджаке и при галстуке, сидя за рулем своей тарахтелки, я — иностранец. Все, начиная с мускулистых и чернобровых таксистов, охотящихся за туристами у входа в аэропорт, и кончая официантами в отеле, где я обычно останавливаюсь, все без исключения обращаются ко мне по-английски. В первый момент это обидно, и я стараюсь упорно отвечать им на родном языке, но каким-то чутьем они угадывают человека, в этой стране не живущего, и угадав, упорно различают в моем произношении несуществующий иностранный акцент; их уверенность настолько непоколебима, что я в конце концов, махнув рукой, сдаюсь, и свой родной язык сохраняю лишь для визита к друзьям детства и родственникам, у которых предпочитаю не останавливаться. Этот английский язык, навязший у меня в зубах за долгие годы его пережевывания на другие навязшие в зубах языки, и твидовый пиджак, который для меня связан с появлением в кабине переводчика, здесь, дома, становятся восхитительным маскарадом, слишком явно бросающейся в глаза униформой человека-невидимки. Все то обыденное и гнетущее, что я ношу на себе и при себе по европейским столицам, здесь оживает, становится доказательством существования другого мира за дверьми родного дома, паспортом на выход в этот другой мир, свободой от родителей (которую дарует даже школьная форма); и сознание того, что эта свобода существует, заставляет относиться к родному крову снисходительно, с доброй усмешкой превосходства.

Именно в таком превосходном состоянии я и крутил баранку своей старенькой развалины, сворачивая на боковое шоссе, ведущее к монастырю молчалиников. Мимо меня по шоссе мчались сверкающие грузовики с рекламой на боку, щиты по краям шоссе рекламировали "кока-колу"

и газированный напиток "швепс", а полицейские "форды", обгоняя меня, притормаживали, с уважительной подозрительностью оглядывая мой разваливающийся тарантас. И все это современное шоссе с велосипедистами по краям летело на фоне того пейзажа, который был мне знаком уже которую тысячу лет: с оливами, завезенными кипарисами и соснами, неподвижными террасами холмов и с иголочками виноградников. И эта сверкающая новизна шоссеиной жизни, где вместо гостиниц — космические спутники бензоколонок, придавала уют тысячелетнему пейзажу, антиквариату в современной квартире. И как человек у себя дома, я не разглядывал окружающее мельканье, а просто проверял взглядом, что все на месте, как барин, захвативший из столицы в родовое поместье: улы домов арабской деревни с ослом, спускающимся по тропинке, и с арабом в белой накидке; трактор, оставленный в поле; поржавевшие, брошенные останки орудий после войны; пластмассовые столики под навесом кебабной. И мир этот был известен не всем, и я как один из тех, кому этот мир был домом, не смущался грохотом далекого взрыва, и предпочитал считать его взрывом на каменоломнях или звуком самолета, преодолевающего звуковой барьер, а вовсе не взрывом бомбы террориста. Я как будто не ехал, а двигался на месте, как велосипедист на тренировочном станке: крутил педали лишь для развития мускулов ног. И поэтому, когда шоссе перегородила странная фигура, отчаянно махавшая руками, я чудом очнулся, еле успев нажать на тормоза.

Дорогу преграждал странного вида человек со спутанной бородой, в размахайке и с огромным чемоданом в руках. Лицо его, видимо от долгого семафорного сигнализирования проезжающим машинам, было угрожающим, и черная хламида, развевающаяся на ветру, не улучшала впечатления. На лице у человека с огромным чемоданом был написан ультиматум отчаявшегося, и я в своем пиджаке и в галстукe выглядел нелепо среди этой пустоши. Все наводило на мысль, что этот тип, уже который час ловящий по-

путные машины, принимает меня, как и все остальное движущееся (в отличие от арабской деревни на холме) за наглого пришельца. У него был вид человека, полагающего, как бедуин с караванных путей, что всякий, проезжающий по его пустынной околице, обязан платить ему дань, и что всякий эту дань не дающий, подлежит уничтожению, поскольку является агрессором; короче говоря, у него был вид типичного террориста. Но как только эта мысль промелькнула в моей голове, я сразу же отсекся от нее, объяснив подобные подозрения моей европейской шкурой. Мне стало стыдно собственной подозрительности, и распахнув дверцу, я предложил его подвезти. Лохматый стал залезать в машину, с трудом втискивая чемодан себе на колени; при размерах моего тарантаса сделать это было достаточно сложно, приходилось пригибаться и скорчиваться. Втискивание чемодана заняло добрых несколько минут, и всякий раз поворачивая чемодан очередным боком, лохматый ругался на непонятном языке, а в чемодане что-то угрожающе громыхало. Я газанул, и машина, подсакивая на каждой выбоине неасфальтированной дороги, стала продвигаться в направлении монастыря. Чемодан угрожающе позвякивал, а седок угрожающе помалкивал. Привитое мне в чужих странах чувство законности, и привычка не влезать с расспросами, мешали мне прямо обратиться к седоку и потребовать раскрыть чемодан. Я крепился и прикидывался спокойным минуты четыре; пока явные действия седока не доказали его террористических намерений, я должен вести себя так, как будто подвожу обычного пешехода.

”Куда?” наконец решился я на вопрос.

”До монастыря молчальников”, пробурчал он с сильным акцентом. ”Только бы не закрыли прием посуды”, добавил он хмуро. ”Два часа тащу этот чемодан в гору, и ни одна попутная машина не остановится”.

”Прием посуды?” переспросил я, но ответ получился сам собой. Показались ворота монастыря, я затормозил, и мой седок, спеша вылезти из машины и таща за собой че-

модан, стукнулся головой о крышу, и чемодан вывалился наружу. Замки щелкнули, и на землю посыпалась гора пустых бутылок, и они покатались, позвякивая: обыкновенные винные, водочные и коньячные бутылки с надписью "кошерно" на наклейке и без таковой.

"Твою мать", выругался он отчетливо и по-русски и бросился их подбирать, а я отвернулся, чтобы не глядеть на его согнувшуюся спину. "Единственное место в стране, где принимают пустые бутылки", продолжал он по-израильски, оправдываясь и одновременно укоряюще, склонившись с грудой бутылок в обеих руках над раскрытым чемоданом. "Они тут делают вино, им пустые бутылки нужны. Я эти бутылки по паркам собираю, и в отелях мне тоже кое-что перепадает, в помойных баках тоже попадается. А я их молчальникам сдаю, мой главный доход, зарплата не считается", и он вздохнул и шмыгнул носом.

"Но почему ограничивать себя Иерусалимом?" вздохнул я с облегчением и, стараясь звучать деловито, спросил: "Если собирать бутылки по всей стране, можно прибить удесятерить, не так ли?"

"Не могу", печально покачал головой бородатый и снова шмыгнул носом. "Не могу удалиться от святого города по религиозным соображениям". Его шмыганье носом меня сместило напоминанием о чем-то, чего я никак не мог вспомнить, но когда он сказал это вот "по религиозным соображениям", мы как будто одновременно узнали друг друга.

"В Союзе, что ли, встречались?" спросил он вдруг по-русски, и я вспомнил это шмыганье носом и присказку "по религиозным соображениям"; только он тогда был без бороды, он разливал водку и, шмыгнув носом, говорил: "А ну по второй, по религиозным соображениям". И по третьей, тоже по религиозным соображениям, и по четвертой, а потом меня отмачивали в ванной. Все это было четыре года назад, когда я наконец решился побывать в России, где родилась моя бабушка. Бабушка была разочаровавшейся троцкисткой, и когда перестала верить в перманентную ре-

волюцию, не могла, конечно, не обратиться лицом к Сиону, поскольку это и означало повернуться спиной ко всему остальному на свете. Вот так вот, повернувшись спиной к перманентной революции, она встретила с моим дедом, американцем, который всю жизнь пытался повернуться спиной к американскому империализму, и никак не мог, пока не обратился тоже лицом к Сиону, и в конечном счете к моей бабке, о троцкизме которой он наслушался, но сочетавшись браком, понял, что она так же далека от троцкизма, как он — от империализма. Вся последующую жизнь я, родители которого погибли во время арабской блокады, метался между дедом и бабкой. Каждый пытался обратить меня в свою веру, причем троцкизм звучал по-американски, а империализм по-русски. Это превратило меня в билингву, но лишило навсегда чувства дома, не считая прививки против всяких "измов". За мудрость приходится расплачиваться раздвоенностью: если хочешь иметь на все свое мнение, приучись к тому, что не всем оно придется по вкусу. Перед смертью бабка заклинала меня "никогда не ездить в эту варварскую страну Советов", но при тайной любви к варварству в знак протеста против "измов" я и не воспользовался ее советом.

Москва оказалась городом серых и желтых плоских фасадов. Меня поразила размах железобетонного строительства при полной беспорядочности и душевной несостоятельности внутри этих многоэтажных карцеров из железобетона. Москва мне напомнила Нью-Йорк, но только всю внешнюю жизнь, жизнь людскую, так сказать, вымело в Москве страшной метелью и параличом мороза. Я бродил, замерзая, от гостиницы "Националь" по самой большой улице города, заглядывался на кровоточащие в морозном мареве кремлевские звезды, под которыми передвигались заиндевелившие лунатики в поисках апельсинов, и там, в этой стране мороза, ищущей золотой апельсин, я в первый и последний раз страшно затосковал по моей родине, где апельсины валяются под ногами, где об апельсин можно споткнуться и поскользнуться, я затосковал по той земле,

где можно поскользнуться на апельсиновой шкурке и сломать себе шею, но это лучше, чем воющее тоскливое безделье в очередях за золотым плодом, в дикий мороз. Но внутри домов люди оттаивали, и как пресловутый рожок барона Мюнхаузена, начинали трубить беспорядочно всеми заиндедевскими снаружи звуками.

Я никогда не ощущал такого напряжения почти бесвязного спора, открытого до предела и ничего не выясняющего, но надеющегося своим напором пробиться к недоступному золотому апельсину. Когда ногам нет опоры, когда ноги разъехались по скользкому льду и ты оказался на четвереньках, когда потеряно и предано и убито самое последнее свидетельство того, что ты не один, когда уже больше терять нечего, возникает странное обольщение, что в этом должна скрываться избранность, что это место и это время — место свидания с Мессией; потому что нигде больше нет такого унижения и такого понимания, что воистину унижен, и сил больше нет в душе этому унижению сопротивляться, а значит — если есть Бог, то откуда же ему начинать всеобщее спасение, как не отсюда? И, как будто в качестве доказательства наступления мессианских времен, я не замечал, чтобы кто-либо из моих знакомых работал. Если кто-то и работал, то он был далеко, высоко, или в глубине сибирских руд; мои же бесшабашные московские друзья служили каждый по неведомому ведомству, из которого они отлучались в любое время суток на любое время, чтобы пройдя стылým манекеном под кремлевскими звездами, снова войти во внутреннее помещение всеобщего ожидания и, оттаивая, спорить до хрипоты о том, кто виноват и что делать. И как доказательство этого наступления мессианских времен при всеобщей безработице, непонятно откуда появлялись продукты и даже деньги на водку: неведомым путем, путем какого-то необъяснимого процесса распределения продуктов на земном шаре, этой затравленной кучке людей перепадала манна небесная и даже настоящие новогодние мандарины на елку. А когда мои новые друзья по секрету привезли меня к побережью Чер-

ного моря, я, изъятый из Москвы в индевеющем ноябре, и вдруг очутившийся среди каменистых холмов, дышащих жаром под голубым небом, я, наконец, понял, откуда эти люди воруят запасы тепла на всю зиму.

Место называлось, если не ошибаюсь, Кокдебил. Там, на каменистом холме, так напоминающем иерусалимский, стоял недостроенный дом, где и обитала вся эта компания. В строительстве дома принимал участие каждый, кто в нем останавливался, и это напоминало строительство храма, где было место и для ночевки, и стол для обедни, и святая святых. По вечерам, то ли у печки, то ли у камина, восседал хозяин дома с гитарой, пел странные для меня песни, слова которых я плохо понимал, и в промежутках разливал вино. Это кислое молодое вино он привозил к вечеру на велосипеде, объезжая все винные бочки в киосках, стоящих по всему пляжу. Он пользовался непонятным странным влиянием в этом Кокдебиле, авторитетом то ли известного нищего, то ли пророка, то ли святого, что впрочем все одно и то же, и этот ритуальный объезд был неким сбором дани с молящейся на него общины продавцов, поварих и просто обитателей местечка. Таким же образом появлялась и еда, она привозилась на том же багажнике велосипеда, в старой клеенчатой сумке, аккуратно запакованная в стеклянные банки и баночки из-под консервов. На мои осторожные вопросы "откуда?" мне обычно отвечали однозначным загадочным словом "из домотдыха". Вечером, когда укрупняется все, что скрывается днем, начиная от звезд и кончая огнями шоссеиной дороги внизу, под холмом, хозяин дома брал гитару и начинал петь: голос его креп от вина и обычно вечер заканчивался песней, из которой я запомнил повтор: "и когда пойдут на Запад поезда, я уеду из России навсегда", и дальше обрывками: "Но окажется, что Запад стар и груб, а противившийся вере просто глуп, и окажется, что долгая зима выжгла сердце безнадежного ума, и окажется, вдали от русских мест, беспредметен и бездушен мой протест!"; заканчивался речитатив словами, которые присутствующие, не удержавшись, подхва-

тывали хором: "и вдобавок, чтоб от праха моего не осталось бы в России ничего!" Пелось это почти без мелодии, под удары гитары, и от этого повтор казался молитвой и заклинанием. Я глядел на их сосредоточенные лица, распеваящие эту песню как молитву, и в их улыбке тайного понимания слов ощущалось чувство избранности: они чувствовали себя единственными на земле, знающими почем фунт лиха и к чему все это движется, и когда наступит освобождение и от кого. Но когда я слышал слова песни "я приеду в Византию и в Алжир, хоть без денег, но заеду я в Каир", я улыбался по своим соображениям. Потому что память моя блуждала в моих юношеских годах, в интернате для кадетов под Иерусалимом, когда на Пасху мы жгли костры и распевали, обнявшись за плечи и раскачиваясь, об Алжире и Каире, куда мы никогда не попадем со своими антиарабскими паспортами. И вот, сидя в этом недостроенном доме на холмах Кокдебиля, слушая пение своих русских друзей, я улыбался в свою очередь, понимая, что все не настолько печально, как им того хочется. Потому что в лишенности нет и не может быть избранности, и вовсе не одиноко их страдание и их мучительный опыт, и что дело вовсе не в избранности мучительного опыта, а в той светлой тоске по несостоятельности, такой мальчишеской, что она знакома каждому на свете. Только мир должен ее вспомнить, вспомнить свою подростковую тоску и перестать кичиться своим непереходящим опытом и красным знаменем, и тогда может быть все и свершится, тогда может быть ОН и придет. Но в тот вечер пришла милиция, проверила мой паспорт, и удалила меня из Советского Союза за нарушение правил передвижения для иностранцев.

И вот хозяин этого дома, вселяющего надежду, стоял передо мной, держа в руках пустые бутылки и старый чемодан, и я никак не мог сопоставить их двоих: его тамошнего, обожженного и выбритого, и его здешнего, с бородой и глазами голодного пророка. "Пиня", улыбнулся он желтыми зубами. "Пиня из Коктебеля", странно произнес он название Кокдебиля. "Не помните?" Только сейчас до меня

дошло, что имя Пиня не слишком укладывается в список славянских имен, и что находясь в его доме, мне ни разу в голову не пришло о связи этого имени с Иерусалимом. Я стоял, покраснев до ушей, и не знал, как себя вести с Пиней. Нет, его звали конечно Петром, и я это прекрасно знал, мне и в голову не приходило, что дружеская кличка Пиня может быть чем-то большим, нежели кличкой, столь связывающей его с моей бабушкой-троцкисткой и даже дедушкой-империалистом, или наоборот. Я не люблю подобных сопоставлений, явлений, превращений, перемещений и пересмотра с новой точки зрения. Я не люблю пересматривать прошлое, как не люблю переключать архив, сопоставляя новое со старым, надвигающееся прошедшее с уходящим будущим, ловя сегодняшний день канцелярской скрепкой. Всю накопившуюся переписку я оставляю в том городе, где она накопилась, раз и навсегда решив, что нечего надеяться на то, что эта пестрая жизнь сложится однажды в судьбу. Я не верю в судьбу, или по крайней мере верю в то, что моя судьба — это постоянно уходить от нее, судьбы, на волю. Я культивирую из этих уходов на волю легенду, я становлюсь бессмертным, зная, что мое прошлое, рассыпанное по разным городам, неповторимо, я в каком-то смысле не верю, что все эти города соединяются в один вечный город. Иерусалим для меня — это не святое кладбище моей жизни, а тот маленький дом, из которого я однажды ушел и куда люблю заглянуть, тихонько отперев дверь своим ключом. Появление этого московского человека путало все легенды, мясное с молочным, оно было некошерным, это смешение Москвы с Иерусалимом, и от одной мысли о ягненке, сваренном в молоке матери, мутило под ложечкой. Его появление здесь разрушало мою легенду о Москве, самой уютной и гостеприимной тюрьме на свете, об апельсине в небе, сером от стужи, и о кокдебильских апельсиновых вечерах с воинственной молитвой под бренчанье гитары и под кислое вино, горевшее в висках. Москве было не место здесь, на этой дороге, поднимающейся вверх сквозь сосны и кипарисы, с запахом остывающей пы-

ли, с перепархиванием птиц сквозь застывшую вечную зелень. Москва должна оставаться нетронутой легендой в моей памяти, а он совершенно незаконным образом стоял передо мной: "Мы встречались, помните?" Но он был мне не нужен без всего того, что сопровождало мою память о нем. Он стоял как будто голый, и это делало его уродливым.

И чтобы сгладить это уродство, мне надо было улыбаться, улыбаться ему, хлопать по плечу, делать вид, что ничего не произошло и врать, врать, врать: о собственной жизни, приbedняться и хвастаться, расписывать ему его собственное светлое будущее, и снова привирать о самом себе. Надо было делать вид, что все в порядке, что лучше и быть не может, и успокаивать его, успокаивать самого себя, самого себя гипнотизируя собственной удачливостью. Надо было, короче говоря, подводить лживые итоги и ставить себе положительные отметки, а главное: снова делать вид, что живешь не ради, а во имя, снова вытаскивать себя на суд вечности из привычного коридора, соединяющего этот день с последующим. Я не знаю, насколько понятно вам мое тогдашнее состояние; вообразите себе, скажем, двух однокашников, встретившихся через четверть века, когда каждый врет, чтобы заверяя другого, уверить самого себя, что жизнь никуда не ушла. Потоптавшись на дороге, мы завернули в ворота монастыря: я, уже смущаясь его, купил лишь одну бутылку любимого вина, он же сдал свои бутылки из чемодана, и потом была долгая пауза по дороге обратно, и в конце концов я долго его уговаривал зайти в пивную, напротив Сада независимости, в одно из немногих мест в Иерусалиме, где дают бочковое пиво.

"Пиво здесь хорошее", говорил он, обтирая пену у рта рукавом хламиды. "И без очереди, главное. А в Лондоне пиво, небось, получше будет?" спрашивал он, пряча глаза.

"Дело в том, что для англичан пиво не просто напиток, но и способ общения, и отличие парижского кафе от лондонского паба в том, что в парижском кафе все свои, и вы поэтому чужой, а в пабе все друг другу чужие, и по-

этому вы чувствуете себя среди своих”, бурно и слишком подробно бросался я в экскурсоводческие разъяснения, а он задумчиво смотрел в стену и говорил:

”Мда-а-а”. И снова возникала пауза, после которой он, оглядываясь кругом на девиц в джинсах, говорил: ”Бабы здесь на вид клевые, но нет в них нашей податливости, жесткие очень, и слишком быстро в постель лезут. Но зато потом не отвяжешься. И поговорить с ними не о чем: не пьют”.

”Мда-а-а”, в свою очередь поддакивал я, плохо понимая, что он имеет в виду. И выяснилось, что в отличие от его двойника из той легенды, которую я себе придумал, этого человека я совсем не знаю. ”Вы, наверное, еще не почувствовали себя в свободном мире?” спрашивал я лицемерно.

”Да мне бы на денек всего, на час всего, заглянуть бы в Коктебель, всех повидать и обратно. Вот тогда бы, может быть, и почувствовал”, отвечал он, забираясь поглубже в пивную кружку.

Говорить больше было не о чем. Я уже с тайным облегчением ожидал, когда он допьет четвертую кружку пива, как у кассы я буду настаивать на том, что платить буду я, как дам ему свой адрес и скажу, что если он появится в Европе, чтобы обязательно ко мне заглядывал, но застать меня, правда, трудно, работа разъездного переводчика и так далее, но мы должны обязательно повидаться, в крайнем случае в мой следующий приезд. Я задал, под конец, обычный вежливый вопрос, вроде того, что, мол, хватает ли ему денег от сдачи бутылок, и что, может быть, я могу ему помочь, ссудить, конечно, до лучших времен.

”Да чего там, хватает денжат, не в деньгах дело”, потеревил он бороду. И потом как будто решил на просьбу: ”Бутылки я по-любительски собираю. Валяются деньги на дороге, чего ж их не поднять? Некоторые стесняются, а я не стесняюсь. И бутылочки разные попадаются. Я вот недавно интересную бутылку нашел, у Соломоновых прудов, приплыла, значит, из Иордана”. И он, покопавшись у себя

в хламиде, достал грязную бутылку, измазанную в засохшей иорданской глине, с наклейкой: на наклейке сквозь грязь и пыль проглядывали слова "портвейн красный" и крупными египетскими птицами изображены были три семерки. Он перевернул бутылку вверх дном и потом, ковыряя пальцем в горлышке, долго вытряхивал из нее нечто, что оказалось полинявшими школьными тетрадками. Они плюхнулись на стол.

"Помните на коктейбельском пляже бутылку нашли?" спросил он, сощурившись. Я кивнул головой. Рассказывая знакомым о своем путешествии по России, я всегда любил вспоминать с подробностями тот вечер, когда гуляя по ночному пляжу, мы наткнулись на застрявшую в песке бутылку, выброшенную прибоем. В этом поросшем морской солью сосуде для алкоголя оказалась рукопись, не больше ни меньше как дневник русского эмигранта. Это был дневник, как это ни странно, общего знакомого этой коктейбельской компании. В том, что дневник писал их общий друг-эмигрант, нет ничего удивительного для такой страны совпадений, как Россия. Удивительно то, что говорилось в этом дневнике о пребывании их героя в моем Иерусалиме. Тогда, слушая наивные разглагольствования из этого дневника о моем родном городе, я лишь улыбался политической невоздержанности и нелепым выводам в отношении окружающих. Но не в этом было дело. Замечательна была сама атмосфера чтения этого дневника вслух общими друзьями автора исповеди. Им был, казалось бы, безразличен тот факт, что исповедь была выловлена из морского прибоя; им вообще было наплевать на судьбу героя в бутылке. Для них рукопись представляла собой прежде всего письменное подтверждение существования недоступных их глазу горизонтов.

Дело в том, что в России, как известно, запрещено писать от руки со времен культа личности. Книги же, которые — кстати, бесплатно, — распределяются среди населения, изготавливаются следующим образом. Как известно, ни один советский сочинитель не должен отступать от духа

и буквы газеты "Правда" ни на тэту ни на йоту. и поэтому все мастерство и талант заключаются в том, как варьировать типографский набор газеты "Правда" за, скажем, текущий месяц: как рассыпать и вновь собрать его в совершенно другом порядке. Так как партия и правительство призывают к постоянному техническому прогрессу в культуре, поощряется наборное творчество с помощью, к примеру, электронно-вычислительных машин. Запрет на писание от руки и объясняют соображениями прогресса: писание от руки есть пережиток прошлого, наследие капитализма, той эпохи, когда в России еще не утвердилась электрификация ума. В области этой индустриализации литературы есть свои авангардисты, которые, к примеру, набирают свою книгу из одних заголовков "Правды". А один из выдающихся инакомыслящих использовал государственную электронную машину для изготовления книги, целиком и полностью цитирующей "Правду", но только справа налево. Его книга называлась "Правда справа налево", и он был обвинен в сионизме. И хотя словарь "Правды" не позволяет слишком широкой интерпретации, некоторые умудряются так выбрать и сопоставить высказывания из газеты, что опытный читатель может угадать антисоветский намек, если станет читать между строк или, скажем, по биссектрисе или гипотенузе книжной страницы.

Вы можете представить себе, поэтому, с какой лихо-радочностью кокдебельские друзья разглядывали строки, написанные от руки их далеким товарищем. При свете костра из сучьев саксаула, под вой шакалов за холмами, каждое слово разглядывалось и обсасывалось, они обменивались оценивающими репликами, вздыхали и подбрасывали сучья в костер. Засиживались далеко за полночь, а потом пели свой любимый припев: "И когда пойдут на Запад поезда, я уеду из России навсегда", и смотрели на меня с плохо скрываемой завистью; для них этот корявый почерк был свидетельством существования другого мира, мира без газеты "Правда". И Пиня, помнится, спрашивал у меня: "Есть на свете заграница, где свободный об искусстве не

подсуден разговор?” и я не знал, что ответить. И сейчас, сидя в этой самой загранице, я снова не знал, что ответить, когда он ткнул на тетради, вытряхнутые из грязной бутылки:

”Я ведь бутылки недаром собираю: в том приборе было начало, а в иорданской речке должно быть окончание. Я окончания ищу”. И добавил решительно, что пора этой паршивой цивилизации узнать начало всех концов, распространив эти записки покойника на всех языках от коптского до тунгусского. И он постучал костяшками пальцев по тетрадкам. В его маниакальном взгляде светилась первобытная вера в заклинание печатным словом. Мог ли я отказаться? Начать оправдываться? Уклончиво объяснять, что меня тошнит от мысли о переводе с одного языка на другой, что русский я основательно подзабыл, а Россия превратилась в удобную легенду для светского разговора, и что в Иерусалим я приезжаю только для того, чтобы забыть о существовании каких-либо иностранных языков вообще? Пиня в хламиде вопрошающе глядел на меня, ожидая ответа, и я, чтобы не запутывать затянувшуюся встречу бессмысленным спором, быстро согласился, поспешно допив пиво и поднимаясь: ”Вам куда?”

”На кладбище”, скучновато сказал он и, заметив мое недоумение, пояснил: ”в Кедронское ущелье. Я там разметчиком подрабатываю, могилки размечаю. Места там свободного мало, каждый хочет себе могилку за столбить: воскресенье мертвых оттуда ведь и начнется. А можно так могильный участок распланировать, что на одном метре четыре надгробия разместятся. Меня за это умение ценят”.

Я довез его до ворот Ирода в Старом городе и, прощаясь, сунул ему свою визитную карточку переводчика. Он стал спускаться пешком в Кедронское ущелье, а я вылез из своего катафалка и закурил оглядевшись: я давно здесь не был, слишком уж навязчиво-исторично это место Иерусалима, а я избегаю прямых библейских цитат в жизни. Мне не нужно рваться к Стене плача, потому что это стена моего дома, и я без страха вхожу на Храмовую гору,

потому что моя нога неверующего, даже если и вступит на бывшее место жертвенника, не оскорбит святая святых, поскольку место свято для того, кто верит в его святость. Вторая половина дня лежала на противоположной стороне ущелья, укрыв надежной тенью шоссе с каменным парапетом, у которого я стоял. Прямо передо мной высился памятник царю Авессалому: тому самому Авессалому-царю, который, скрываясь от погони на осле, зацепился своими длинными волосами за сучья дуба, осел пронесся вперед, а Авессалом повис между небом и землей. Авессаломово надгробье было размером в настоящий храм с грубыми колоннами, высеченными как будто из цельной скалы — силуэт монумента закрывал линию другой стороны ущелья. Странно было смотреть на это надгробье, в котором можно было поселиться как в собственном доме. А на другой стороне ущелья, освященной послеполуденным солнцем, я увидел дома нового жилого квартала. Я еще, помню удивился, когда это успели выстроить целый квартал в таком неподходящем месте? И тем не менее, все там было, что полагается для нового иерусалимского квартала: и каменные террасы, для того, чтобы не осыпался холмистый слой почвы, и каменные лестницы, соединяющие один ступенчатый уровень домов с другим. Отсутствовала лишь одна деталь: не было видно деревьев, которые обычно сажают чуть ли не до того, как построили сами здания, сажают, просверлив дыру в камне, насыпав в дыру чернозему, как в цветочный горшок, и воткнув в нее деревце.

И тут я стал подозревать некий оптический фокус: дома были слишком маленькими, и сравнивая их размеры с гробницей Авессалома прямо перед глазами, я делал вывод, что дома квартала на той стороне ущелья находятся на расстоянии нескольких километров; но та сторона ущелья находилась не на расстоянии километра, а в каких-нибудь ста метрах от меня; дома в ста метрах от меня были слишком миниатюрными, странной прихотью пустынного миража. И подтверждение "миражности" было неожиданным и

пугающим. Я, сощутив глаза, пытался совместить разно-масштабные горизонты, когда увидел расширившимися зрачками, как между строениями распростертого на той стороне жилого квартала появилась гигантская, размером в небоскреб фигура в черной хламиде. Осторожно расставляя ноги между домами, этот гигант и монстр из фильма ужасов по-обезьяньи опирался на крыши руками. Любое его неосторожное движение — и весь квартал посыпался бы в ущелье вместе с невидимыми жителями этих каменных кубиков. И тут до меня дошла еще одна странность этого жилого массива: среди домов не видно было не только зеленых насаждений, но и свидетельств присутствия человека вообще. Ни одно из окон не было открыто, ничье белье не сушилось на террасах и балконах. И тут монстр оборотился ко мне лицом, и в его печальной физиономии я узнал своего кокдебельского собеседника, Пиню в черной хламиде, с которым расстался с минуту назад. И мираж пропал: то, что я принимал за жилой квартал, оказалось кладбищем, и вместе с восстановленной оптикой горизонтов я различил террасы могил с лесенками, с прямоугольниками надгробий, с квадратиками эпитафий, которые я принимал за бойницы окон. На другой стороне стоял веселый человек из России, как будто гигант с другой планеты среди вымершего земного города.

И как бы парадоксально и абсурдно ни выглядел он среди этого окаменевшего хора эпитафий ушедшим поколением, он был его необходимым живым завершением: как вздох облегчения после мучительного разговора. Я же стоял, покуривая, на другой стороне, не способный к решительному шагу навстречу: из-за боязни стать похожим на него, выглядеть монстром в чужих глазах, как выглядел он в моих глазах секунду назад. Своей узаконенной неправдоподобностью на той стороне, по ту сторону, он доказывал, что пересечение российских рубежей — это пересечение границ правды, меняющее биографию как в романе; ведь правда в романе — это замалчиваемая в жизни ложь, и разглашать подобную ложь — в этом и есть правда. И прав-

да была в нем, в найденной им бутылке, даже если эта правда — крик утопающего, то есть круги на воде. Если ты родился на необитаемом острове и твоих родителей смыла морская волна, тебя неизбежно посетит на этом безлюдном острове странная мысль: если вот сейчас ты умрешь, то об этом, об этой смертной секунде, никто не узнает; и тут же до тебя дойдет, что если в следующую секунду ты выживешь, то об этом тоже никто не узнает. И ты будешь противиться этой мысли, поскольку она — единственное доказательство присутствия на этом острове того, кто все-таки знает о твоём существовании, то есть — Бога. Неужели Бог только потому и существует, что есть секунды, когда о тебе забывает твой собственный народ? Человек из России на той стороне гляделся издевкой над моей позой и позицией изгнанника по собственной воле: глядя на него, я понял, что не пережил даже той секунды забытого народом островитянина, о котором вспоминает Бог; я не был забыт своим Иерусалимом: это я отвернулся от него и тогда он отвел от меня свой взгляд. Но представить себе на ложном основании, что оставлен своим народом — это и есть отъезд: единственная надежда вспомнить о Боге для тех, кто иначе о Боге вспомнить не может. Человек на другой стороне заметил меня и, махнув мне приветственно рукой, повернулся спиной и стал подниматься выше по склону. Я же поехал вниз, давя на тормоза своего катафалка.

Зиновий Зиник
1979, Лондон

ДЕСЯТЬ ТЕТРАДЕЙ

ТЕТРАДЬ № 1

”А теперь сплюньте”, припевал зубной врач, и Револьт послушно нагибался и плевал в фарфоровую тарелку рядом с левой ручкой самолетного кресла, в тарелку, где всякий раз он с обморочным удивлением замечал расплывающуюся на дне розу, и плевал в этот цветок, а потом, когда он вновь опадал в кресле, до него доходило, что это была не роза, а его собственная кровь из пораненных десен.

”Не закрывайте рта”, и снова холодные пальцы лезли в рот и набивали его ватой. Молчание с открытым ртом. Ты сидишь с открытым ртом, а говорит другой. Наплевать, в сущности, сплюньте, не закрывайте рта, подпишитесь под протоколом. ”Лет восемь, мы спросим, к врачу носа, то есть ха-ха, зубов не показывали, небось?” заговаривал зубы зубной врач, вооружившись уже настоящим молотком с зубилом. Он считал, что заговаривание зубов в рифму отвлекает пациента от боли.

”Не восемь, а десять. Десять лет”, успел промычать Револьт, но тут прозвучало новое ”сплюньте”, и новая порция ваты прижала язык. Застучал молоток, как будто били прямо по черепной коробке, а не по сгнившим в деснах корням. Шло удаление подряд четвертого корня: Боже, Господи Боже, Господи Б., Господи Б. Мой, Г.Б. Мой, М.Г.Б., Г.Б., Господь Бог!

”Сплюньте! Какое варварство, Азия, десять лет не являться к врачу, не просто разгильдяйство, а настоящее уголовное преступление перед человечеством, десять лет!” Вот именно, десять лет с последующей ссылкой. Зоологическая ненависть ко всему советскому. и это не первый нагоняй

по возвращении из мест не столь отдаленных, как нам казалось: еще в районной библиотеке, куда он пришел через десять лет, чтобы вернуть книжку, библиотекарь сказала: "какое безобразие, при повторном случае невозвращения книг к указанному сроку мы вас лишим права пользования библиотекой на дому".

Рот надо было держать открытым для того, чтобы тебе его затыкали ватой, и когда ты не кричишь, разинутый рот изображает немой вопль. Так кричат дважды: когда тебе отрезают пуповину, и когда тебе вставляют в Иерусалиме новые зубы на место сгнивших в России корней. Перед глазами вставало скрещение покрытых рыжими волосами рук, и очередные клещи сменяло зубило. "Мы кузнецы, и дух наш молот", припевал зубодер. "Такие запущенные корни, ца-ца-ца", приговаривал он перед тем, как стукнуть молотком по зубилу. "Корни надо было вовремя залечивать: в них наш исторический дух. На что теперь коронку водружать?" и с размаху бил по зубилу молотком. Но школа тюрьмы научила нас тому, что самый страшный удар — первый, а при втором теряешь сознание, и лишь сутки спустя стонешь от боли в переломанных ребрах. Боль с каждым ударом при удалении корня отдавалась в ноги, и в бреду под стук молотка казалось, что тебе не зубы вставляют, а набивают подковы на копыта.

Потом кресло несло вверх, мелькала невозвратимой свободой синева иерусалимского неба в окне, и приходилось зажмуриваться от блеска ослепительного зеркальца, круглой печатью сиявшего на лбу зубного врача. Наконец, в один прекрасный день на зажившие десны были насажены новенькие вставные челюсти: оставалось закусить удила и пуститься с места в галоп прочь от этого места. Но когда ухмыляющийся зубной врач подвел его, шатающегося, к зеркалу, Револьт обомлел: на него смотрело незнакомое лицо. "Улыбнитесь", посоветовал белый халат, "зубы оскальте". Револьт улыбнулся неслушающимися скулами: он ожидал знакомой иронической нахальной ухмылки, нахальства беззубого рта, своей беззубостью вызывающего

заботу и сочувствие. Но отражение в зеркале осклабилось на него физиономией с лошадиной челюстью. И даже жалкость лысины не спасала от впечатления лихого победителя и завоевателя. Скулы, когда-то с мягкими ямками, теперь задирались вверх и делали лицо непримиримым и самоуверенным.

* * *

Новые челюсти обмывались неподалеку от стен Старого города, в заведении со странным словом "Зейтуни" на бахrome тента, прикрывавшего асфальтовую площадку от солнца, с чинарой в центре с человеческое туловище толщиной. Зубной врач, человек бывалый, но вежливый, рыжий от макушки до костяшек пальцев, усаживая Революта в машину, предложил: "Обмоем челюсти у "убийцы". Черт его знает, но говорят, хозяин заведения убил свою тетушку по материнской линии, когда та забыла к мясу пожарить луку. Теперь сам у плиты справляется. Куриные сердца жарит лучше всех в городе". Так или иначе, услуга тут была первоклассной. Пока хозяин "убийца", устремив взор на густые небеса, как будто не глядя на посетителей, расставлял маринованный миндаль в кожуре и фаршированные оливки в качестве закусок, Револют, в благодарность за челюсти и жареные сердца, болтал, как всегда в подобных случаях, без умолку, стараясь преодолеть расстояние между своей мета-логикой в голове и простоватым видом собеседника, зубодерных дел мастера: приблатняясь под эту простоту, он упирал на бытовщинку, интимничая о ежедневной ерунде своей жизни, демонстрируя дантисту, что он, Револют, хоть формально и ученый, но почва и горизонты у него с собеседником, по-человечески, те же, и корень общий.

"Ца-ца-ца", сокрушенны вздыхал зубной врач, выслушав очередную историю Революта и подливая ему коньяк. "А не заказать ли нам еще по порции жареных сердец?" беспокоился он, глядя на опустошающуюся тарелку Революта, и озабоченно переспрашивал: "Как жуется?"

"Эм-м-м", улыбался набитым ртом Револют, мотая

длинношейей головой, и выставляя в знак восхищения большой палец. Хотя язык и нижняя губа наполовину не ощущали вкуса, онемев после сильной анестезии, разве можно было сравнить прошлое с настоящим? Когда приходилось перекашивать рот и подбородок и даже голову выворачивать вбок, чтобы оторвать кусок от хлебной лепешки так, чтобы он пришелся именно не на десну и не на большой корень, а на остаток зуба без нерва; при малейшей ошибке испускался сдавленный стон, и надо было переждать, откинувшись на спинку стула и закрыв рукой потный лоб. Не веря своим собственным новым челюстям, Револьт уплетал уже вторую порцию упругого мяса из куриных сердец с жареным луком, недоступных дотоле, как бывшая родина, и все смелее рвал зубами плотную горячую лепешку хлеба. И коньяк лился в ротовую полость жгучей прохладой без риска, что вдруг взвоешь от задетых оголенных нервов. Как он раньше не догадался сделать этот решительный шаг, а все примерялся, прикидывал. Сколько погублено лет пленительной сытости?

“Надо было сразу ко мне”, с довольной укоризной сказал в процессе обмывания новых челюстей зубной врач. “Чтобы родственнику Блюмы Карловны и зубы не вставить?” Блюма Карловна, тетка Револьта, когда-то спасла этого зубного врача от смерти или чего-то еще более важного. “Если бы она мне тогда зуб не вырвала, умер бы от флегмоны. И в какое время, ведь дело врачей, я на подзрении. Так что сейчас никаких благодарностей: зуб за зуб, как говорится”.

“Мне в ту эпоху зубы как раз выбивали”, задумчиво сказал Револьт, сыто ковыряя в новых искусственных зубах.

Сейчас из некоторой дали не видно пошлых мелочей. Доброе отношение к действительности обратно пропорционально расстоянию от нее. Асфальтовая терраса заведения нависала над обрывом достаточно высоко и далеко, чтобы не доносился запах пережженного оливкового масла и пропотевших халатов торговцев Старого города, запаха сум-

сума, ослиного помета и зерен кус-куса. И араб на осле, выезжавший из Дамасских ворот, был лишь необходимой подробностью географии, и его лицо, поросшее черной щетиной под маской вежливости не различалось на таком расстоянии, а белая накидка на голове, перетянутая ото лба до затылка черным канатиком, не напоминала флаг капитуляции. Если его вообще замечал тогдашний взор, а не мой теперешний. Тогда глаз не вникал в подробности. Достаточно было подтверждать глазом названия, и убеждаться в том, что идея отъезда на месте. Тем и хорош был этот вид, что в подробности не надо было вникать: Стена Плача надежной тенью подтверждала существование Гроба Господня, и среди всего этого развала великих имен светился золотой глаз мечети Омара, скрывавший своим куполом существование Второго храма. Собственно говоря, всего этого могло и не существовать в действительности, и чем безлюднее и труппобнее выглядел этот развал скалистых пород, тем чудеснее и увереннее чувствовал себя Револьт: важна была сама возможность называния, а остальное все приложится. Он ни разу не удосужился свериться наощупь с существованием этих имен. Только однажды, заплутавшись, он забрел на какую-то гору, и, как всегда наборматывая очередное умозаключение, машинально последовал за толпой людей в просторную арку, которая потом сужалась в переход и наконец заканчивалась настоящей пещерой. В ней было душно от скопившихся людей, дымились свечи, и все пространство занимала ниша, завешанная бархатным пологом с надписью золочеными иероглифами, из которых следовало, что это могила царя Давида. Как он позже выяснил, впрочем, географически могила была так же гипотетична, как и все остальные святые места. Перед пологом раскачивался ученый человек в полосатых накидках. К нему подходили молящиеся со свечками, инвалиды и слепые. Все они просили произнести поминальную молитву за своих больных или погибших родственников. Ученый человек произносил эту молитву без передышки, и через минуту становилось ясно, что она — одна и та же на все случаи,

только были в ней пустые места для уточнения: ученый человек в эти моменты спрашивал: "имя? болен? умер?" Он уже тогда позавидовал самой идее вечного текста на все случаи, времена и народы.

Револют всегда пытался уверить себя, что находится он на колокольне, с которой можно плевать на все человечество. Выпуклый, начищенной меди глаз мечети на Храмовой горе загорался все ярче вместе с начавшим заходить солнцем. Поскольку возникающие в памяти правдивые детали оказывались ложью в искаженном иерусалимском свете, приходилось врать, чтобы в этих свидетельских показаниях была правда, одна только правда, и ничего кроме "Правды":

"Зубы мне выбили на десятый день допросов", повторил Револют, ковыряясь спичкой в новых искусственных зубах, поглядывая сверху вниз на вечный город. "Суть моей идеи заключалась в отделении Партии, по аналогии с Церковью, от государства. Идеология должна быть отделена от уголовного кодекса, и никаких гвоздей!" Его собеседник вдруг дернулся и бросил взгляд туда, где должен был находиться Храм Гроба Господня. Только сейчас, когда я все это записываю, перед тем как шагнуть в иной, освобожденный мною мир, я понимаю, как опасно было начинать этот разговор. Только теперь я припоминаю, как вздрогнул зубной врач с рыжеющими на солнце волосами, когда были произнесены слова "и никаких гвоздей!" Обычная присказка в Москве становилась здесь толстым намеком на чужую казнь. И собеседник болезненно передернулся. Но нам в такие моменты кажется, что у него мурашки по спине от восхищения нашей речью. Но я хочу, чтобы мысль Революта была все же правильно понята. И поэтому продолжаю.

"Вы за мной следите, в том смысле что — следуете? я имею в виду, улавливаете? в смысле, мою мысль?" переспрашивал то и дело Револют, не обращая, в действительности, никакого внимания на собеседника. Он с аппетитом пересказывал историю своего ареста вслед за защитой диссер-

тации. "Говоря металогически, по уликам нельзя установить преступника. Сказать нечто может один человек, а отвечать за эти слова будет некто другой. Рассуждая уголовно, человек, наговоривший вчера излишнее количество слов, наутро уже не может гарантировать, что все эти слова были сказаны именно им. Улавливаете? Даже если под этими словами стоит его подпись, даже если он подписался под произнесенной речью. Поскольку, в сущности, это уже два разных человека: тот, кто подписался вчера, и тот, кто это перечитывает наутро. Ведь, в принципе, слова, сказанные в конце слишком длинной фразы, не связаны, практически, с тем, что говорится вначале. Это ведь, в сущности, как с тем алкашом, который утверждал, что всегда пьет только одну единственную рюмку: ведь после первой рюмки он пьянел и становился, в принципе, другим человеком, к предыдущей рюмке отношения не имеющим; этот новый человек выпивал свою первую рюмку, и т.д., пока некий совершенно другой человек не выпивал свою первую рюмку, падал со стула и наутро не помнил вообще, что происходило".

В тот злополучный день, когда Револьт защищал с кафедры основы своей металогической концепции, он закончил изложение диссертации примерами, выбрав для этого сталинские процессы над правыми и левыми уклонистами, где подследственные отрекались по ходу следствия от самих себя после слишком длинных протоколов допроса. В те памятные годы эта концепция была встречена гробовым молчанием ученого совета, и вместо аплодисментов в зале Револьта ожидали объятия сотрудников госбезопасности. Когда в конце концов Револьт очутился в Иерусалиме, он как следует выпался и лаконично описал свой опыт в короткой брошюре под названием "Логический вывод из одиночного заключения" с подзаголовком "поток дознания". И больше к этому предмету не возвращался. С чего вдруг он, собственно, начал откровенничать о собственном революционном прошлом под средиземноморский коньяк и жареные сердца? Я, в конечном счете, пришел к выводу, что посади-

ли его именно за настырность в рассуждениях. Это сейчас я пересказываю все стенографически, но до сих пор звенит в ушах его тогдашний визгливый голосок, с перескакиванием, с бесконечными вводными словечками вроде "а на самом деле", "а в принципе", "а в сущности", и т.д. Эта его манера не считаться с терпением собеседника — до сих пор от смущения пылают уши. Когда он закатывался такой вот речью, на него всегда оглядывались посторонние. За столиками закусывали мелкие иерусалимские чиновники, и с каждой очередной эскападой Революта эти люди вонзали ножи и вилки в куски мяса с людоедским звуком, чтобы заглушить револютовские интонации воющего истребителя. Как тетерев на току, он не слышал собственного голоса, следя лишь за ходом собственной мысли, не слышал, как русская речь в этом месте, священном отсутствием случайных посетителей, звучала как оскорбление. И зубной врач, который и привел Революта, чтобы обмыть новые вставные челюсти, виновато поглядывал на хозяина заведения, угрюмо орудующего лопаткой и огромной вилкой над раскаленным противнем с мясом, и бросающего в ответ взгляды исподлобья. Но Револют не давал своему собеседнику отвернуться и уладить взглядом атмосферу вокруг. Десять лет назад от этих историй начинало ныть в зубах, а теперь они превратились в старый забавный анекдот, которым можно развлекать зубного врача. Новые челюсти обязывали к новому произношению старых слов:

"Меня прежде всего насмешило, что вместо моего портюга, с дырками под мышкой, пиджака мне выдали нечто похожее на китель школьника младших классов. Только вот на лекции не нужно тащиться, это меня страшно развеселило. Я чувствовал себя начинающей проституткой: в том смысле, что меня пока интересовал сам процесс, ход следствия, а не его результат, в смысле — расстрел. И отделенный от суетности мира железной решеткой, как сейчас от России железным занавесом, я чувствовал себя избранным народом. Это я должен был диктовать скрижали завета, точнее, протоколы допроса сионских мудрецов, а дурак

следователь, которому в тюрьму приходилось ходить как мне на лекции в университет, должен был записывать за мной каждое священное слово. Именно из-за желания надиктовать что-нибудь, знаете, сверхположенное, я и лишился зубов. Но в начале я должен был создать атмосферу божественного молчания. В результате паузы с моей стороны, следователь не давал мне спать. Я был "лишен сном" и "лишен ларьком". Но правом на чтение в камере, то есть правом пользования тюремной библиотекой, я по странным бюрократическим причинам лишен не был. Чем хорош и любопытен для пытливого мозга советский застенок: любой логический абсурд оборачивается здесь каждодневной реальностью. Запрещала спать одна инстанция, книги обязывала читать другая. Но при этом мне было запрещено пользоваться каталогом этой лучшей в мире библиотеки, собранной за сто лет арестов, обысков и следствий. И поэтому мое чтение определялось или соседом по камере или просто тем, что наугад сунет в кормушку вертухай, разносящий книги. Мне страшно не везло: по странному совпадению, мне попался в руки сплошной Анатолий Франс. Первый же сокамерник предложил мне "Восстание ангелов". Потом, когда соседа изолировали, в кормушку сунули потрепанное издание, как помнится, "Боги жаждут" все того же Анатолия. Сколько я ни скандалил, мне заявляли, что права пользования каталогом я лишен, и вместе с порцией баланды с селедкой я получал очередное бессмертное произведение бессмертного Анатолия Франсуа Тюбо, творившего под псевдонимом Франс. Я, конечно, тупо прочитывал каждое сочинение этого гуманиста от корки до корки, сейчас, правда, ничего не помню, поскольку не давали спать десять суток подряд и прочитанное под светом слепящей лампочки смешивалось с симулятивным бредом. Постепенно у меня в голове сформулировалось подозрение, что в систематичной поставке мне в камеру Анатолия Франса скрыто некое шифрованное послание, что мне надо вычитать в этих книгах план побега или указания по ходу следствия от моих соседей по тюрьме. Я начал перестукиваться, но на деся-

тый день, очнувшись на секунду, понял, что выстукиваю цитаты из только что прочитанного Анатоля Франса. И тогда я решил, что все это подстраивает следователь, мой главный собеседник, странная фамилия которого так и засела навечно в моей памяти — необычная фамилия Снарф. И после десяти суток бессонницы я решил пойти навстречу Снарфу. На очередной ласковый вопрос "на кого работал, падла?" я объявил, что отныне и навеки готов назвать имя и адрес агента иностранной империалистической разведки, с которым состоял в преступной связи с целью подорвать завоевания социалистического государства. Следователь Снарф страшно обрадовался, предложил закурить, и тут меня понесло. "Имя?" спрашивает Снарф. "Анатоль Франсуа Тюбо", отвечаю я, "шпионская кличка Франс!" Адрес? "Франция, Париж, пл. Пантеона, Пантеон". Номер явочной квартиры? От этого вопроса я совсем обнаглел и ответил, глядя следователю прямо в глаза: "Пантеон, вторая ниша справа". Следователь и усом не повел: "Сообщники?" спрашивает. Я и брякнул: "Сообщники? Мирабо!" кричу. Адрес? Тот же! А ему все мало. Он требует имена пособников, соучастников и связных. Я не выдержал: "Якобинцев не выдам!" кричу. Кого? кого? Пришлось в конце концов продать Марата. Я еще забеспокоился: "Он же меня отправит за это на гильотину". Но следователь Снарф похлопал меня по плечу и успокоил: "Не пужайся: советская власть тебя по обмену не выдаст, в лагере сгниешь". В ту ночь мне дали проспать, и только я приступил с утра к чтению очередной депеши империалистического шпиона Анатоля Франсуа Тюбо под шифрованным названием "Остров пингинов", появляются два вертухая, вытаскивают меня из койки и тащат снова к следователю. "Ты у меня будешь в нише замурован!" кричит Снарф. "Ты думаешь, падла, если я четырех классов не кончил, ты меня на понт возьмешь со своим Пантеоном?! Ты какое, сука, право имел возводить поклеп на гуманистов в моем присутствии, да еще моей собственной рукой?" Это он начальству решил с гордостью сообщить о разоблачении шпионской сети, действую-

щей по указке из парижского Пантеона. Но взбесился он, главное, потому, что этот лист из тетради протоколов пришлось выдрать, а страницы пронумерованы, а значит всю толстенную тетрадь снова переписывать. Вот тогда я впервые и узнал, как теряешь сознание при ударе о твердый предмет под названием кулак. Потом ломают ребра. Но как ломают ребра, уже не чувствуешь, потому что откидываешь копыта, еще когда тебе выбивают зубы. Наутро я обнаружил, что от передних зубов у меня остались одни корешки. Впрочем, для тюремной баланды больше и не нужно. Так сказал другой следователь, когда увидел меня после тюремного госпиталя. Допроса, собственно, и не было: как только все зажило, меня выселили из камеры с вещами, я думал, что переводят в другую тюрьму, а оказалось, что ведут на медкомиссию. Там я изложил свою металогическую концепцию, и меня отправили вместо лагеря в тюремно-психиатрическую больницу с диагнозом, как выяснилось после реабилитации, мания величия: "пытался выдавать себя за соратника французских революционеров с целью быть захороненным в Пантеоне".

* * *

Согласно все той же револютовой металогике, человек меняется вместе со сказанными словами и в конце списка он уже не тот, кем был вначале. И поэтому должен, в свою очередь, заявить, что я никакой уголовной ответственности за Революта той поры не несу. Не говоря уже о том, что в момент монолога под оливой Револют был уже изрядно пьян. Он не помнил, куда делся зубной врач и когда он исчез. Вначале Револют то и дело замечал перед глазами сочувственную мину зубодера, его сдавленную зевоту, и скорбную улыбку в неподходящих местах. И главное, этот загипнотизированный скукой совиный глаз с рыженькой орбитой зрачков, не сдвигающихся с вашей переносицы ради вежливости! Он был явно из чужих кругов, не задействованный, и поэтому во время рассказа Револют жал

все больше на анекдотическую сторону своего уголовного дела, в знак благодарности за вставленные искусственные зубы. Но ведь зубы в конечном счете уже были вставлены, уже были у него во рту, а не в руках этого мецената из ко-стоправов, и поэтому доктор становился неинтересен в раз-говоре на правозащитную тему; и когда этот зубной доктор время от времени вскакивал, и поспешно извиняясь, убе-гал звонить из соседнего автомата, Револьт тут же о нем забывал и, расслабившись, глядел на город внизу, перед ним, под ногами, на стену и ворота, глядя на которые было уютно и сладко вспоминать другие стены и другие ворота на снегу, и эти другие стены начинали кочевать у него в го-лове, и он не заметил, как задремал под это покачивание от одних ворот до других. Заснул, уронив голову на локти, с дымящейся сигаретой в остатках жареных сердец. Когда же он снова очнулся, то с удивлением обнаружил себя в одиночестве перед начисто вытертым столом голубой пластмассы. Зубной доктор исчез с горизонта. К нему при-близился насуспенный хозяин заведения в женском фар-туке и молча положил перед ним записку:

”Почтительно извиняюсь, но решил удалиться, не бес-покая ваш сон”, и дальше что-то про завтрашний самолет в шесть утра, срочная стоматологическая операция в Аме-рике. И дальше: ”Горжусь, что помог восстановить ваше полное страданий прошлое в виде выбитых зубов. Когда будете писать Блюме Карловне, черкните, Бога ради, и от меня строчку: мол, помню, ценю”, и дальше приписка: что счет оплачен и за чаевые можно не беспокоиться. ”Ваш доктор Зевулон”. Револьт повертел записку в руках и по-том, по привычке, сжег в пепельнице. Солнце, хотя и стало опускаться, но било все так же по глазам уже косыми лу-чами; зато поднялся ветер и пепел от сожженной бумажки закрутился в воронку, уходящую вниз, к Стене Плача. Во-круг стены старого города бежал, выворачивая ноги, спорт-смен в шелковых трусах, как всегда в эти часы делавший пробежку.

ТЕТРАДЬ № 2

Кончалось полугодовалое существование, когда после каждого гостя мутило в желудке по причине легкости заглатывания алкоголя в сравнении с мучениями в пережевывании закуски. Еще вчера в гостях приходилось прикрывать рот ладошкой, при каждой беззубой улыбке, и даже отказаться, к возмущению и удивлению хозяев, от фирменного блюда дома — тертого авокадо на жареных сухариках. От одного вида этих хлебцев начиналась зубная боль, да и сам средиземноморский плод с оперным названием "авокадо" напоминал ему по цвету расстройство желудка.

"Какой позор, вы не любите авокадо?! нашего национального средиземно-иудейского плода?!" и хозяйка дома грозила Революту пальчиком. В доме офицера остроумия, профессора мат-лингвистики Матраскина полагалось отвечать нетривиально, и Револют уцепился в ответе за национальность авокадо: "К сожалению, мои зубы лишены национальных корней", обнажал Револют в ухмылке голые десны. Остроту приняли благосклонно, и математический Матраскин даже прищелкнул пальцами от удовольствия: он всегда безошибочно подбирал гостей. "Кстати о национальной кухне", как бы пережевывая, говорил мат-Матраскин, которому все казалось кстати. В такой манере он всегда приступал к очередному бонмо. "Мне сейчас пришло в голову, что хрущевский лозунг "догоним Америку по молоку и мясу" отражает антисемитские тенденции после-сталинской эпохи в виду неприкрытой некошерности призыва: "по молоку-и-мясу". Впрочем, корни надо искать, как всегда, у Гоголя: вспомним, хотя бы, его "свинью в ермол-

ке". Явно некошерная контаминация", и, надкусывая с хрустом хлеб, удивлялся: "Не понимаю я здешних русскоязычных писателей. Пора писать по моему рецепту: неогласованно. Одними согласными. Чтобы быть ближе к заветскому стилю", проглатывал Матраскин каламбур, не меняясь в лице.

"Заветский стиль держится на согласных, а советский — на инакомыслящих", доносила до присутствующих каламбуры мужа его не менее остроумная жена. "У каждой эпохи свои особенности. В каменном веке, я полагаю, презервативы были каменные. Этим и объясняются последующие землетрясения".

"Нет, лапа", поправлял ее Матраскин, "в каменном веке презервативы были бронзовые. Потому что секс всегда опережает свой век". Револют смеялся первым, поскольку выпил больше всех джину на пустой желудок. Кроме хрустящих хлебцев с авокадо ничего не подавали. Остроумные люди. Разговоры на тему исторической родины остроумно увязывались в этом семействе с порнографией, лишний раз подтверждая револютову мысль о том, что это, в сущности, для них одно и то же: слово "еврей" у здешних остроумцев вызывало необъяснимую, но вполне однозначную эрекцию духа, как слово из трех букв, неоднократно повторяемое, заменяло им постель.

"В своей неогласованной диссертации", бубнил в памяти о том суаре Матраскин, "я провожу логическое сравнение судьбы еврейского народа с судьбой чеховской Каштанки", и Револют тут же насторожился, потому что именно этой чеховской кличкой звалась его дворняга, стареющий московский пес, больше всех пострадавший от эмиграции в результате перемены правописания справа налево: собака не различала вывесок. Матраскин покосился на Революта. "У Чехова как? Каштанка потерялась. Она потеряла своего простого, пусть выпивающего, но честного труженика-хозяина. Столяра. И куда она попала? К дрессировщику, в цирк! Она забыла свое прежнее имя Каштанка, забыла свое пахнущее стружками прошлое,

променяла его на опилки цирковой арены и стала называться Теткой. Но ведь она, дворняга, в сравнении с цирковой болонкой, что плотник супротив столяра. И стоило ей, попав на арену, услышать с галерки родной, пусть пьяный, но с прежних времен до боли знакомый голос, зовущий ее до боли знакомой кличкой — как она, сломя голову, бросилась к прежнему хозяину, преодолевая препятствия битком набитых чуждыми рожами цирковых рядов. Так и мы, евреи”, и Матраскин поглядел на свою жену. ”Что такое советская власть, как не цирк с тюремными клетками и с дрессировщиком в виде КГБ? Не так ли и мы с вами, сменив имена на цирковые клички русского языка и попав, наконец, на арену политической жизни, вдруг вновь откликаемся на голос нашего прежнего Господина? на голос нашей исторической Родины?” и Матраскин, помолчав, снова захрустел хлебцами.

”А как ваша собачка? Не ностальгирует?” участливо спросила Революта супруга Матраскина. ”Слава богу, у вашей Каштанки нет склонности к изучению иностранных языков, в частности — человеческого: завадила бы всю Москву доносами на здешнюю жизнь — распугала бы нам всю репатриацию в Израиль. Впрочем, если захотите показать собачку психиатру, мой муж может порекомендовать своего хорошего знакомого, ветеринара из Синайской пустыни: большой собачник, лучший в мире дрессировщик, хоть и без рук”. Но Револют от собачьего психиатра вежливо и настойчиво отказывался: он не без основания подозревал, что твердя о неполноценности Каштанки, Матраскины переносят свое отношение к револютовой собаке на самого Революта. И как будто дразня Революта возможностью проверить свои самые дурные подозрения, Матраскины уговорили его в тот вечер продемонстрировать свои трансцендентальные таланты по угадыванию чужих намерений. Вечер и закончился этим дурацким и унижительным шутовством — угадыванием чужих мыслей, держась за чужую руку. Они, наивные люди, не понимают, что если держишь человека за кисть руки, биение пульса у поводыря в два

счета подскажет тебе, делаешь ли ты правильный шаг или ложный, "горячо" или "холодно". И Револют согласился на это дурацкое шутовство, чтобы показать Матраскиным: он, Револют, ни в чем дурном их не подозревает и зуба на них не имеет.

Загадывали по очереди. Играючи, Револют отгадывал задуманную очередной сомнамбулой страницу книги, в какую рюмку налить джину и какого джина выпустить из бутылки. Чудеса в решетке начались, когда очередь дошла до Матраскина. Скучая за дверью в ожидании, когда присутствующие в гостиной исхитрятся на очередную нелепость, которую ему предстоит разгадать, Револют старался не вслушиваться в телефонный разговор, доносившийся из третьей комнаты. Супруга Матраскина, уверенная, что Револют проводит в гостиной очередной трансцендентальный сеанс, брезгливо извещала свою телефонную confidentку: "и этого мета-психа зачем-то зазвал: выдул весь джин и везде разбрасывает свой вонючий пепел. Авокадо в рот не берет в виду отсутствия национальных корней. Он, видите ли, в отличие от нас не зубастый. Делает вид, что не от мира сего. Мы ему нужны исключительно для проверки гипотезы о том, насколько он от нас отличается. Он гуманист, а мы интеллектуальные люмпены". Револют уже хотел громко раскашляться, когда его позвали в гостиную. Войдя в комнату, Револют окинул взглядом физиономии, наступившиеся в ожидании, и взял профессора за руку; у Матраскина были маленькие, пухлые, слегка укороченные ручки, и биение крови надо было нащупывать, продавливая слой жира; на таких руках наручники должны оставлять глубокие следы. Когда Револют сжал его руку у кисти, профессор Матраскин брезгливо поморщился: "Вы так сжимаете мою руку, милый Револют, как будто я собираюсь вас ударить, в то время как я, насколько понимаю, лишь ваш поводырь, поскольку вы, насколько понимаю, в этой ситуации как бы слепой". Именно это и заставило Революта передернуться: как будто его здешняя жизнь развивалась по указке профессора Матраскина. Из-за внезапного раз-

дражения Револют никак не мог сосредоточиться и целых пять минут водил Матраскина по комнате, ища врага, ища убийцу, пока, наконец, не рванулся к окну, таща профессора за руку, и по застрекотавшему профессорскому пульсу наконец догадался: надо было поднять жалюзи. И когда лицо лизнула черная прохлада за окном, возникла отгадка: Матраскин запланировал его, Революта, самоубийство; потому что как только Револют высунулся из окна, кровь в жирной руке поводыря застучала как телеграф. Но в этом перестуке Револют через секунду почувствовал насмешку и понял, что идея револютова самоубийства пришла в голову его поводырю лишь в последний момент, когда Револют высунулся с головой из окна. Глядя на огни в черноте прятавшегося города, Револют мог поручиться, что подобная мысль промелькнула в голове у Матраскина, в уме было сказано слово, и это слово могло стать делом через короткий прыжок и рывок Революта в черноту. И правда восторжествовала бы, чужая секундная мечта, а мы ведь рождены, чтобы чужую сказку сделать былью, то есть своей смертью. Город внизу, прочерченный огнями на черных холмах, не существовал сам по себе: это были лишь зигзаги огней, которые издавна привыкли считать ночным городом, когда, на самом деле, города никакого не было, а были непонятные иероглифы, начерченные как некое указание. Указание не от профессора Матраскина, жирноватая кисть которого потела в руке Революта, но указание от того безымянного Профессора в черном небе, который пока не отпускал револютову кисть и угадывал каждое его намерение. Но смысла надписи зловещей Револют пока не отгадал и не мог сказать, каково было его собственное намерение: вылететь в окно самому или выбросить вместо себя Матраскина? И когда мы совершаем решительные шаги и прыжки из окна, не осуществляем ли мы чужую мечту о том, как сказку сделать былью? мечту не того Профессора, а очередного Матраскина? который на секунду размечтался за чужой счет?

”Я так и знал”, самодовольно сказал тогда мат-Мат-

раскин, опуская жалюзи. ”Для вашей прямолинейной логики мое задание слишком противоречиво: я загадал, чтобы вы открыли окно и плюнули. Но, как видно, моральные предрассудки для вас превыше внушаемого долга”. И Револют почувствовал себя оплеванным. Следующей на очереди сомнамбулой была хозяйка дома, и Револют, взяв ее за руку, сам довел себя до входной двери и, поколебавшись, вышел вон: такова была тайная мысль хозяйки дома — выставить его поскорей — и Револют эту мысль победно отгадал, даже не хлопнув напоследок дверью. Аплодисментов своей пронизательности он уже не слышал.

Терпимость Революта частично объяснялась тем, что в отличие от Матраскина он прибыл сюда с советским паспортом, и, хотя на него и косились по этой причине, выбрал он Иерусалим добровольно, заехав сюда как советский гражданин ученый с чтением лекций, а не как добровольно высланный иммигрант по историческим соображениям. Как объяснить всем сующим не в свое дело посторонний нос близким и родственникам, почему Револют выбрал Иерусалим в качестве столицы своей жизни? Этот город! Что за претензия из молитвы создавать себе место жительства? Город вязаных тюбетеек, сощуренных глаз и танкового звука закрывающихся и поднимающихся жалюзей и ставень. Город ревности и разлуки и мелких счетов, прикрывающих неопровержимый факт нереальности присутствия каждого. Город, который становится мертвым в полдень. Точнее, прикидывается мертвым, закрыв ставни и железные двери лавок и банков. Воздушный столб стоит над городом, закручиваясь по краям, так что всякий, приблизившийся к границе этого протуберанца, закручивается и втягивается внутрь: обратно его не выпускают. Этот невидимый воздушный ураган выдавил из гор вокруг искореженную воронку и нагреб на холмы кучи камней, накидал вывесок и прибил имена. В этом городе каждый приучен не замечать окружающее население. Каждый делает вид, что он сам по себе и один. Разговориться к человеком здесь можно лишь тогда, когда он забыл, что он — в Иерусалиме. Нужна была

сила слепоты, чтобы не замечать охрипших губ и прищуренных глаз, нужна была сила другой любви, чтобы выдерживать духоту близости, нужна была сила наплевательства, чтобы преодолеть давление неба. Нужны были деньги на коньяк. Нужны были новые зубы.

* * *

Вставные челюсти давали о себе знать. Дело даже не в том, что от них побаливали десны и во рту был металлический привкус. Как новые блестящие туфли при обтрепанном пиджаке, эта новая челюсть свидетельствовала о том, что сам он, Револют, изрядно обтрепался за прошедшие годы. И пиджак москвошвеевского пошива и сердце московского пошиба, все стало явно раздражать и тереть, беспокоить своей потертостью и ненужностью. И поэтому столь радостно поначалу был воспринят тот факт, что башмаки фабрики "Большевичка" продрались, когда он взбирался по каменистому подъему: это показалось прекрасным поводом вылезть из подержанной шкуры. Его старый потертый черный пиджак показался особенно неуместным, когда в тот день он втиснулся в автобус. Ведь вместе с новой челюстью револьтово лицо потеряло выражение обреченности, когда щеки провалились из-за отсутствия зубов. Как только лицо потеряло выражение обреченности, неуместен стал и пиджак, который придавал некоторую похоронную элегантность при обреченности лица. А сейчас он выглядел как провинциальный командировочный, приехавший за продуктами в столицу своей голодной родины. Исчезла остраненность внешности, и с этого момента Револют вынужден был сравнивать себя с окружающим населением.

А население в автобусе давило на него виногретом навороченных в кучу деталей: из-за света, не знающего в этом городе расстояний, он, казалось, был вдавлен в плоскую картинку, где, как на лабораторном стекле под микроскопом, распластались и черные пейсы, как будто приклеенные к щекам владельца, и расшитая тюбетейка на булавке у соседа, и автомат возвращающегося домой солдата

как будто вылезал из примостившегося рядом уха, а чья-то лысина переходила в женский локоть, в то время как на женской брительке примостилась чья-то раскрытая библия, и во все это вклинивался плач ребенка на детской тачке с колесиками; казалось, вот-вот тачка сложится и прихлопнет ребенка, над которым раскачивался бабий белый платок на голове рабочего-араба.

Бывало, Револьт входил в автобус как в кино: можно глядеть на происходящее, а тебя как будто и не видно. И вообще автобус ему нравился онтологически. Во-первых, замечательно было хотя бы то, что в здешние автобусы надо было входить как бы наоборот. В том смысле, что входить надо было с передней площадки, а выходить с задней, а не как в Москве — с передней выходить, а входить именно с задней. Первое время он, по привычке, пытался пробиться в автобус через заднюю дверь, но каждый раз наталкивался на удивленные лица сходявших с автобуса, а потом дверь вдруг закрывалась перед носом. И даже когда он приучился и привык входить через переднюю дверь, он продолжал испытывать некоторую гордость от того, что входит там, откуда его всю предыдущую жизнь приучали выходить. Там, где у одних выход, у других и начинается автобусная жизнь. Кроме того, доказательством свободы было отсутствие кондуктора: билеты продавал сам водитель, прямо на входе. Он успевал и крутить баранку и продавать билетки и выдавать сдачу одновременно: монетки различного размера покоились круглыми плоскими в подходящих желобках, и водитель надавливал на нужную ямку, а снизу выскакивала нужная монетка. Но все стало гораздо занимательней, когда он сообразил купить проездной билет. При входе в автобус водитель пробивал в проездном билете дырочку специальными щипцами, и если попадался контролер, то при первом же взгляде на дырочку он понимал, когда она была проколота — в эту поездку или в предыдущую. Долгое время подобная догадливость контролера оставалась для Револьта тайной, пока он не сообразил, что для каждой поездки предназначалась дырочка иной

формы. Тут были и разноконечные звезды, и кружочки с усиком вбок, похожие на гоголевского запорожца, и даже миниатюрные виселицы и пистолетики. И сидя в этом автобусе без кондуктора, прекрасно было сопоставлять цель конкретной поездки с формой выпавшей тебе дырочки. А в конце маршрута было уготовлено еще одно развлечение: чтобы открылась дверь на твоей остановке, надо было дернуть за веревочку, которая тянулась через весь автобус. Дернешь за веревочку, прозвенит медовый звоночек, над головой у водителя зажжется табло "открыть" и он открывает дверь. И несколько раз Револьт нарывался на сердитый окрик водителя, когда дергал за веревочку, только чтобы услышать медовый звонок.

Но сейчас нелепость пребывания новых челюстей во рту, при потертом черном пиджаке, превращала этот медовый звонок в похоронный перезвон, а весь автобус — в несущийся катафалк. И неприятности начались прямо при входе через переднюю дверь: он никак не мог найти этот самый проездной с многозначительными дырочками. И невероятно трудно было рыскать по карманам, потому что на плече висела сумка, а руку оттягивала только что полученная на главпочте посылка от тетки Блюмы Карловны. Револьт перекидывал эту бандероль на бечевке из одной руки в другую, старая аэрофлотская сумка, перекатываясь, спадала с плеча, а снизу подпирали желающие влезть в автобус, и водитель рычал двигателем и спрашивал "ну?" Тихо кляня Блюму Карловну с ее бессмысленными бандеролями, Револьт, наконец, наскреб достаточно монеток с ветками Палестины, чтобы получить розовый продырявленный билетик, похожий на миниатюру выездной визы Москва-Вена, и стал продираться навстречу густо намалеванной фреске из пассажиров, как будто сейчас стукнется об эту стену лбом.

Я так подробно описываю поездку в автобусе, поскольку подобные мелочи и были, собственно, единственными серьезными событиями в иерусалимской жизни Револьта. Но именно в этот день, в эту свою автобусную по-

ездку, Револют вдруг почувствовал, затерянный в этой толкучке, что светлое безделье первых дней, легкомыслие пришельца на новом месте, давно кончилось, а он и не заметил. Он стал пробиваться к задним сиденьям, поскольку они всегда быстрее освобождались и можно было сесть и листать юриспруденцию по дороге; но главное достоинство задних сидений в том, что тебе никто не сверлит взглядом затылок и не шепчется у тебя за спиной: разве что водитель машины, идущей следом.

Когда он в конце концов примостился между одним автоматом и двумя пейсами, за окошком, где мелькали грустные кипарисы, вдруг хлынул ливень, закрывший свет плотной кисеей, и непонятно стало, качаются ли пассажиры в автобусе, или же все происходит в ковчеге, где каждой твари по паре. И отделенный от пейзажа за окном, Револют догадался, что эта земля населена не только его собственной идеей, но и другими людьми, с которыми придется соседствовать всю остальную жизнь. Слева от него православный монах теребил бородку и сосредоточенно покусывал губу, углубившись в русскоязычную газету "Наша страна". А слева приютился тихо плачущий подросток: на нем, как на взрослом, была огромная черная шляпа и сюртучок, и черные кудрявые косички струились из-под висков по бледному с итальянских картин скуластому лицу с утопающими в слезах глазами. На коленях маленький господин держал огромный чемодан и сдавленно вздыхал, поглядывая в окно и не вытирая струящихся слез. Его, наверное, отправили на учебу в Иерусалим из родного издалека, и как бы ни был свят для него этот город, он плакал по тому асфальтовому двору на берегу моря, откуда его увезли. И Револют еще раз с удовлетворением утвердился в фиктивности трагедии отъезда и всей этой контрадикции "Москва-Иерусалим", когда для подобной трагедии достаточно перейти на другую сторону улицы и плач будет тот же.

Он полез в свою аэропортовскую сумку, которую взгромоздил на огромную бандероль на коленях, когда заметил, что на него уставилась пара наглых глаз. А на поворо-

те эта беспричинно улыбающаяся физиономия перегнулась с сиденья спереди и попросила у Револьта спичек. Если бы Револьт мотнул головой и сказал бы, что не курит, ничего бы не произошло. Но Револьт той поры не мог себе позволить и малейшего вранья, и хотя "Правда" и "Труд" все перетрут, он достал коробку спичек, и передав их просителю, сам достал свою пачку сигарет, сунув одну себе в рот. Парень закурил, а потом, протягивая через сиденье колеблющийся язычок пламени, взглянул на пачку револьтовых сигарет, зажатую в потной руке, и вдруг заржал, тыкая соседа в бок: "Эль-Аль! Видал? Аэрофлот! видал?" От его хохота спичка погасла, и Револьт так и остался сидеть с торчащей незажженной сигаретой во рту. Чего эту морду так развеселило? Вначале Револьт воспринял этот смех как презрительный: его сигареты были из самых дешевых в этой местности. Если в Москве, как помню, приходилось курить "Памир", считая, что ты на крыше мира по дешевке, то здесь, по тем же соображениям, Револьт держался сигарет "Эль-Аль", то есть, по названию местных авиалиний, действительно — аэрофлотские. От них несло лежалой соломой и окружающие старались отвернуть нос, но смысл сигареты в том, чтобы она была не дороже испускаемого дыма, а то, что этот дым напоминает по запаху тюрьму — тем слаще сигарета на воле. Револьт пытался понять глубокий смысл наглого хохота, но смех вызвало тривиальнейшее совпадение: "Аэрофлот! Аэро-ФЛОП!!" надрывался парень. И тут только Револьт сообразил, что на его сумке с ремнем через плечо сияли несмываемые белые буквы (латинские и русские параллельно) названия "Аэрофлот". Он уже так давно носил эту сумку, и надпись настолько въелась в глаза, что он перестал воспринимать ее как нечто значащее, и давным-давно забыл, кем эта аэрофлотская сумка подарена. Забыл, что это был подарок подружки Неты, одноделицы, перед отъездом всучила, прямо на аэродроме, он сначала презрительно отказывался, но потом выяснилось, что некуда было сунуть две бутылки водки и он, ворча, сумку взял.

Сейчас, под наглое ржание спереди, Револют стал сосредоточенно сравнивать надпись "Аэрофлот" на сумке с той, которая была на пачке сигарет: буквы выстраивались в тот же смысл, но шли в противоположную сторону. А парень с приятелем перефыркивался на своем чучмекском языке, которому Револют вообще не собирался присягать. Дурацкое, вульгарное, бредовое совпадение клейма на сумке с названием сигарет в кулаке вызывало у них приступ летального смеха, и бесило то, что этот беспричинный сомнительный смех стал заражать своей нелепостью весь автобус. Булькающий смех исходил даже из-под газеты "Наша страна" в руках у православного монаха.

Была слабая надежда, глупый расчет на сочувственный взгляд случайного попутчика по несчастью с черным чемоданом на коленях — плачущего мальчика с девчачьими косичками из-под висков: ведь его тоже посадила в этот автобус своя чужая идея и увозила от того, что не нуждается ни в каком логическом оправдании. Но украдкой и с надеждой брошенный Револютом взгляд был встречен смеющимися маслинками глаз, с которых высохли слезы: этот единственный свидетель защиты, не подозревавший о своей роли, хохотал детским захлебывающимся от восторга смехом. Пелена неожиданного ливня зашторила стыдливо окна хохочущего автобуса, где у всех — от парней в зеленых военных куртках с автоматами и до арабов в бабьих замотанных платках — из кармашка или из кулака торчал розовый пропуск в этот веселый автобус, мчавшийся лишь в одну сторону — твоей души. Как будто их выдавило большим пальцем водителя из разных желобков, как монету для сдачи, а потом каждого заприходовали одинаковой дырочкой, которой нужно придать соответствующий смысл: многоконечной звезды или виселицы? Но даже если этот вывод был ложным, само рассуждение приближало к истине, и получалось, что истина — это некая непредвиденная глупейшая шутка, пошлый каламбур, заставляющая очнуться от ежедневной скуки, протереть глаза и взглянуть в другое окно. Только толчки и покачивание свидетель-

ствовавали о том, что автобус поворачивает и влезает на подъем. Я вам племянник, вы же все мне — дяди. И когда автобус выбрался на подъеме из дождевой тучи, Револьт дернул за веревочку, прозвенел звонок и открылась задняя дверь, в которую в прошлой жизни надо было входить, а Револьт из этой жизни собирался выйти.

И он стал пробиваться к этой двери, работая локтями, наступая на ноги и давя плечом, потому что руки были заняты сигаретами и посылкой. Револьт выскочил из хохочущего балагана, когда автобус уже почти тронулся, и тут-то и произошла решающая потеря: сумку с надписью "Аэрофлот" прихлопнуло дверью, и автобус двинулся, обдав Револьта последними брызгами хохота. Тут духовные разногласия с автобусом приняли неприятный практический оборот: Револьт оказался запряженным в автобус, как уздечкой, ручкой от сумки. Сумка, проглоченная дверью, захватывала плечо оставшимся снаружи ремнем, и этот ремень тащил Револьта вслед за автобусом. Несколько секунд он пытался отчаянно сопротивляться, махать свободной рукой, бить кулаком по автобусу и звать к справедливости, но автобус разгонялся все быстрее, Револьт исчезал в облаке пыли и ему ничего не оставалось, как вывернуться из мертвой петли, распрощавшись с сумкой. Она так и уехала, неприлично помахивая торчащим из дверей ремнем. "Стоп! сумка! стоп!" жалобно и нелепо прокричал Револьт, преодолевая автобусное рычание. Отерев пот со лба, отряхнувшись от пыли, он дернул плечами, повернулся и зашагал в направлении неродного дома, то есть нынешнего адреса проживания.

Позже, когда зловещая цепочка непоправимых потерь замаячила перед глазами во всей своей логической стройности, Револьт неделю потратил на обход всех конечных станций, автобусных парков и гаражей, бюро находок и потерь, но всюду вопрос с черной сумкой с надписью "Аэрофлот" по-латински плюс с кириллицей встречался отрицательным покачиванием головы с прищуренным взглядом на диковатое профессорское лицо с новой челюстью.

Потеря была двойным ударом: прежде всего, поскольку это был подарок, да еще от кого — от содельницы Неты со словами на прощанье "не дай мне бог сойти с ума, уж лучше посох и СУМА" и с мокрым поцелуем в щеку. Но и это забылось. Непоправимость потери ощущалась прежде всего не из-за формы, а содержания уехавшей в автобусе сумы: отправляясь в город, Револют клал в эту сумку чтение на дорогу в виде уголовно-процессуальных книг союза советских социалистических законов. И в каждом томике была сложная система закладок, прослеживающая логику постановлений и указов в связи с уголовными статьями, касающимися умышленности, предумышленности и неумышленности преступления и всего того, что связано с разницей показаний во время следствия и на судебном процессе. В смысле: насколько признание является доказательством вины, даже если закон подобное доказательство отвергает. И вообще. И вообще потеря была непоправимой: никто теперь не пойдет за него в московский Камергерский переулок, где чернокнижники черного рынка продавали из-под полы мать свою родину в виде гулажных архипелагов, библии и корана. И, что главное, уголовных кодексов. Но кто вместо Революта станет в темном подъезде выторговывать у черной кепки свод законов по предумышленности: за какие деньги? да ни за какие деньги! Вот именно: он бы и сам не пошел к чернокнижникам, если б не чудом свалившаяся сумма денег. А сейчас, деньги-не-деньги, некому ходить, потому что распались кружки, раздружились дружки — потому что история любит прыжки.

* * *

Вспоминая, на какие деньги были куплены эти книги об умышленности, Револют стал подозревать, что уголовно-процессуальная сумка уехала в иерусалимском автобусе предумышленно, в качестве наказания за незаконно найденный в московском автобусе кошелек. Когда все деньги

в долг были истрачены на заказные письма с уведомлением о вручении в знак протеста против отказа властей, он и нашел, как нельзя кстати, этот кошелек, туго набитый рублевками. Деньги были нужны позарез, нужна была куча денег на заказные жалобы и на предстоящие проводы, на уклонение от приводов и соответствующие выводы. А значит он умышленно пересел на переднее сиденье пустого московского автобуса с привычного заднего сиденья, когда ехал на ту улицу, где получают разрешение на выезд из той страны, другой такой не знаю, чтобы читать лекции в иностранной державе. Он пересел на переднее сиденье, и устало глядел на тяжелый и потный затылок мясника-водителя, когда нога его резко дернулась, потому что наступила на нечто телесное и мягкое, похожее на убитую крысу. Скривив в отвращении губы, дергаясь взглядом и стараясь не привлекать внимания, Револют, почти не сгибаясь, дотянулся до предмета под ногой и сразу же отдернул пальцы, нащупавшие кожу. После минуты передышки, через одну остановку, он снова потянулся вниз и, уже не раздумывая, выхватил из-под сиденья тугой предмет — предмет оказался кошельком. Он был величиной с ридикюль или дорожное портмоне; желтоватая кожа вытерлась и готова была в нескольких местах продраться, как незаросшее темячко у детей: изделие явно прошлого века. Водитель, как ни в чем не бывало, продолжал крутить баранку, и Револют соскочил на первой же остановке. Он забежал в большой полутемный грязный подъезд и перед мутным окном у батареи трясущимися руками раскрыл кошелек. В нем аккуратной пачкой были свернуты деньги, сложены были рядком проездные билеты и еще аптекарский рецепт. Все это было перевязано аптечной резинкой: кошелек явно обронила чуть ли не дореволюционного возраста старушка. Но для Революта той поры деньги были обронены с неба, и такие лихие деньги или пропиваются, или на них покупается заветная мечта; и Револют пошел к чернокнижникам и закупил полное собрание уголовно-процессуальных сочинений.

Сейчас, двигаясь вверх по холму к своему месту жительства и горюя о заветных книгах, укативших вместе с сумкой в автобусе, Револют вспомнил то, о чем в свое время сразу же постарался забыть. Как он проходил мимо совсем иных крупноблочных домов, продвигаясь к своей московской квартире у Речного вокзала, прижимая локтем подпольный товар под пиджаком; сам же кошелек он выбросил в первую попавшуюся урну, не утруждая себя выкапыванием гривенников, застрявших в швах кошелька. Но билетики он не преминул использовать на метро. Он шел к дому не глядя, поскольку ему было уже наплевать, сколько посадят новых тополей среди этих белых коробок, а сколько лип выкопают, чтобы украсить другие ленинские проспекты. Потому что прежний дом превратился с отъездом во временную ночлежку и лишь идеи уголовно-процессуального порядка уезжали вместе с ним: все остальное уходило, оставаясь. Летал тополиный пух, залетал прямо в открытый рот, приходилось сплевывать пушинки с губ, как кровь в зубном кабинете. Потом этот пух собирался горстками по краям тротуаров и по контурам луж, принимая вид изморози. Его поджигали мальчишки. Надо было пройти простреливаемые насквозь дворы (тогда он еще не оценивал стратегического значения планировки жилых кварталов, как сейчас, в Иерусалиме), среди которых стояли тополя, обвислые и побелевшие, как флаги политической капитуляции. Облака пуха осаждались на земле клочьями тумана, и мальчишки поджигали спичками этот туман, и он вспыхивал по цепочке, предупреждая кого-то на другом конце вселенной. Револют уже готов был нырнуть в темноватый подъезд с застоявшимся запахом зимы, когда его потянула за рукав дворовая сумасшедшая. Она была одета в застиранный халат медсестры, в военизированную униформу санитарки и подпоясана была парусиновым брандмейстерским ремнем; рукава от халата были оторваны, а на ногах у нее были не сапоги, а совершенно домашние клетчатые на войлоке шлепанцы. На голове, закрывая лоб до самых глаз, было появ-

зано вафельное полотенце с лихим, свисающим до уха узлом, похожим на бедуинский. Или это казалось уже сейчас, когда он вспоминал этот эпизод глядя с иерусалимских холмов?

”Всех врачей сейчас в тюрьму сдали”, сказала она, заглядывая Револьту в глаза из-под низу, покачивая своим маленьким сморщенным личиком. Револьт вздрогнул, как будто кругом летал не тополиный пух, а снежная поземка. ”Да-да. Я точно говорю”, заторопилась она, заметив револьтов дрогнувший взгляд. ”Сейчас, правда, ”Правда” пишет, что не врачи виноваты, а разведки империалистических держав. Но меня-то наши врачи искалечили, а не иностранные. Над ними сейчас следствие идет. Врачи-убийцы. Они меня три раза мучениям предавали. Первый раз они меня казнили в пятьдесят третьем году. Они у меня тогда всю жизнь взяли и кровь на анализ из жил. Для доказательства своей вины. Все пальцы у меня от них вывернуты-перебиты”, и она сунула Револьту под нос пятерню искалеченных подагрой пальцев. ”Меня в тот раз сестра спасла, из деревни мне сметанки возила, но изуверы ее потом на смерть забили, как свидетеля. Это мне хорошие люди донесли после ее реабилитации. Она меня спасла, а сама концы отдала. Я ей все про врачей объясняла: они ведь в деревне живут во тьме невежества, не знают, кто врач, а кто русский. Вот. А как во второй раз стали меня мучениям предавать, то посадили в камеру с крысами, цепями меня к стене приковали, и подсадили в камеру разведчиков, меня насиловать. И насилуют меня разведчики и в хвост и в гриву, а крысы лицо едят. Но тут санитар в камеру ворвался, всех врачей раскидал: он хоть сам и санитар, но видно за советскую власть. Отвязал меня и как закричит: бей их, врачей, бей их, убийц! Я от его голоса воспрянула, поднялась, а он так и ахнул: гляди, жива! Тут Сталин и стал их всех уничтожать, уничтожать безо всякой пощады, однако Гитлер напал. Он, Гитлер, хоть и немец, но за врачей, поэтому и на Сталина пошел, врачей защищать, изуверов этих. И все власовцы с ним заодно, антисоветчики разных

пород и оттенков”. Револют попробовал двинуться, но не смог: старуха вцепилась ему в рукав. ”Ну, а как Гитлера победили, подумала я — пришло мое освобождение. Фигушки! Пенсию мою украли, изуверы. Это они хотят в третий раз меня казнить. Я пенсию по инвалидности от Сталина получаю, вместе с проездными билетиками на метро. Весь кошелек стырили, изуверы, ни одного билетика на проезд не оставили. Хотела к Мавзолею съездить, на Сталина поглядеть, поклониться: не дал ему Гитлер всех врачей на корню свести”.

”Теперь Сталин в Мавзолее больше не лежит”, не выдержал Револют искажений решений XX-го Съезда КПСС. ”Ленин все еще лежит, а Сталина уже нет”.

”Вот они зачем, врачи-убийцы, кошелек у меня стырили. Я своим бдением покой Сталина охраняла, а теперь ни копейки нет, ни проездного билетика к Мавзолею съездить. Сожгли, говоришь, в печке? изуверы! Меня от Мавзолея отвлекли, а сами его и стырили. Но дух, дух его сталинский остался? В здоровом теле здоровый дух! Придушить их пора, врачей-убийц, железной рукой партии. Ну, до свиданья, деточка”, и она захромала в своем белом халате сквозь поземку белого пуха. И в памяти застряли эти проездные билетики, перетянутые аптечной резинкой. До самого последнего дня перед отъездом Револют пытался наскрести сумму, подцепленную из кошелька, но в конце концов так и не нашел этой сумасшедшей санитарки: бабки во дворе сказали, что увезли ее на психовозке с санитарями, когда она стала срывать портрет депутата Верховного совета с доски почета домоуправления: он, как общалось в обращении к избирателям, начал свой путь скромным секретарем партийной ячейки в районной поликлинике. Деньги из кошелька так и не были возвращены, и тот факт, что купленная на них уголовно-процессуальная литература укатила в аэрофлотской сумке в неизвестном направлении, воспринимался сейчас как возмездие. Но Револют и тут ошибался: в другой жизни не бывает наказаний за преступления из жизни предыдущей.

Иначе все было бы слишком просто: согрешил и отбыл на тот свет — искуплять. Нет, все решали другие детали, которые до меня тогда не долетали. Слишком поздно ты заметил, что подметки стерлись об иерусалимский острый камень. Теперь готов идти по выбитым следам и отдавать всю душу Октябрю и Маю.

* * *

Башмаки продрались, когда он стал подниматься в крепость своего проживания на вершине холма, глядя в след умчавшемуся автобусу с аэрофлотской сумкой. В любую погоду подъем был целым монологом шагов, когда бормоча доводы за и против очередного вывода, надо было согласовывать шаг с очередным поворотом мысли на крутой тропинке, ведущей к вершине. Его логически удовлетворяла резкость иерусалимского света. Она была бескомпромиссна. Тут все делилось на свет и тень, и когда он передыхал на очередном повороте тропы, его каждый раз удивляло, что отбрасываемая им тень заострена не только точным повторением его профиля, но и окружена тeneвым кружевом: здесь отбрасывал тень даже сигаретный дым. Дом на вершине был построен уступами, вырастая из холма как умозаключение. Иногда, на очередном повороте, гигантский каркас сросшихся корпусов казался лишь контурами крепостей, нарисованных школьной рукой на картоне; но со следующим шагом рисунок разворачивался и превращался в декорации толстых стен иерусалимского тесаного камня, где бойницы маленьких окон, берегущих тень, были глубоки. Это подобие крепости было построено ярусами, и эти ярусы соединялись лестницами с арками сквозь каждый ярус, из этих ниш и с этих ярусов будет удобно отстреливаться, когда придет нарушитель внисторического антиобщественного спокойствия. Чтобы войти в этот дом, надо было подниматься по лестницам и ступеням, непреодолимым для арабского скакуна. Приятно сознавать, что есть на свете пуля, ищущая твоей шкуры. Ты те-

перь за все в ответе, и у пули в пистолете ты давно был на примете. Ты мишень, и значит есть преступление и наказание, враг и друг, добро и зло, истина и ложь и вообще все, что нужно для человека с логикой судебного исполнителя. Так мания преследования оборачивалась манией величия.

Эти четки силлогизмов шуршали в голове с каждым шагом и шорохом осыпающихся камешков, эта веревочка вилась вместе с тропинкой по ярусам холма. Холм шел в недалеком прошлом террасами, и каждая терраса была укреплена стеной камней и эти стены защищали друг друга от ветра. Ветер не развеивал слой почвы, тонкий живой слой на ревной скале. Но камни сползли и земля осыпалась, и оливы, под которыми раньше не было ни мертвых веток, ни калек, покосились, разрослись вкривь и вкось, и больше не давали плодов. Револют спешил в огромность своей квартиры, к карточкам, развешанным на кнопках по всей комнате, которые радовали взгляд одним фактом того, что все учтено. Пока не записан очередной логический вывод, он будет крутиться холостым ходом в голове, соблазнять несуществующими следствиями; но оказавшись на карточке, он был безопасным, мог соседствовать с другими выводами и следствиями, найти свое место и перестать быть револютовым, по револютовой же собственной теории, если провисел на стене больше суток. И тем самым прелесть пустоты в голове снова была гарантирована. До следующего вывода.

За третьим поворотом, перед началом лестницы к подъезду, показался остов разбитого автобуса, застрявшего и брошенного среди камней и весенней травы. Он оказался здесь в очередную войну или вслед за любой другой дорожной катастрофой много лет назад и остался тут на вечное поселение. Это был уже не автобус, а сплошной автобусный каркас, без колес и дверей: он порыжел от ржавчины, он изменил свою внешность, он ослеп и облысел, но он оставался автобусом, не ассимилируясь с окружающим щебнем и суглинком, оставался самим собой, несмотря на то, что вместо руля торчала лишь металлическая

жердь. Этот автобус без колес стоял накренившись вперед, с любопытством разглядывая предстоящий маршрут, раздумывая, катиться ли ему дальше вниз. Он покоился в дыме детских голосов, у которых была другая жизнь и другой напев; дети карабкались на поржавевшую крышу, а один из малолетних уже крутил несуществующим рулем в кабине с выбитыми стеклами. Там, сквозь пробитое днище автобуса, проросла в кабину дикая олива и шелестела своей металлической листвой над несуществующим рулем, напевая отходную заглохшему навсегда мотору. Как будто эта дикая олива, эта ветка Палестины, упрашивала взять ее в путешествие рядом с водителем за невидимым рулем, без руля и без ветрил. Логическая неопределенность подобных брошенных автобусов может привести, однако, к совершенно противоположному выводу: может быть, эта дикая олива, разросшаяся в кабине водителя, наоборот уговаривала этот автобус плюнуть на все, и провести остаток дней на этом крутом склоне, выполняя роль детской площадки для сорванцов? Конечно, уединение надо предпочитать одиночеству, но идиотизм изречений мудрецов и прописных истин в том, что никогда нельзя сказать, следуешь ли ты этой прописной мудрости или, наоборот, действуешь вопреки мудрой рекомендации.

”Бытие определяет сознание. Что чего, в конце концов, определяет? Сознание бытие, или бытие сознание? Из-за неопределенности русского синтаксиса ленинская мысль пошла в России своим путем”, бормотал про себя Револьт услышанное в гостях и остановился, чтобы отдышаться. Астма? Если астма, значит по наследству от тетки, когда ночью приходилось бежать в дежурную аптеку за кислородной подушкой; иерусалимский климат страшно полезен в случае астмы. В небе пели железные птицы, а под ногами пушились весенние одуванчики. Револьт ощутил неожиданно приятную теплоту, проникавшую сквозь подошву туфель, что-то щекотало, и пришлось присесть на камень у поворота тропинки, потому что трудно было удержаться от этой приятной щекотки и не зашебетать как младенец.

Усевшись на камне, Револьт стянул старый черный туфель и заглянул внутрь, в поисках камешка со щекотливой ролью. Изнутри на подошве туфли полагалось быть стершимся позолоченным буквам, складывающимся в название обувной фабрики "Большевичка". Но на этот раз глаза Револьта встретились с рваной дырой насквозь: тонкая советская подошва не устояла перед острым иерусалимским камнем. Из оставшихся на подошве букв складывалось, вместо "Большевички", позолоченное слово "Боль.." Чтобы убедиться в неопровержимости факта дыры в туфле, Револьт поднял ее к глазам и поглядел на солнце сквозь дырку в подошве; солнце стрельнуло сквозь дыру и обожгло зрачок, и тогда Револьт повернул туфлю вниз и поглядел сквозь дырку в подошве, как в микроскоп, на дома под холмом. Солнце уже подпало вершины холмов внизу и зелень выгорела и ее порыжевшая шерстка переходила в желтые камни домов-крепостей с бойницами окон. Сверху эти дома напоминали памятники; или нет, надгробия посреди зеленеющей травки на склонах. Револьт отбросил дырявую туфлю, и она покатила вниз, увлекая за собой камешки. Он встал и отряхнулся и оглянулся и увидел за спиной свой дом, свою крепость, нет — свою гробницу, точно такую же, как внизу, но только гигантских размеров. И Револьт показался себе очень маленьким, карликом, гномом, перед собственной гробницей, перед гробницей своей прошлой жизни гиганта.

Тяжелая бандероль оттягивала руку, и он почувствовал беззащитность своего местонахождения в этом открытом всем ветрам пространстве. Пустая квартира уже мерещилась как убежище, и Револьт, поленившись петлять по последнему пролету ступенек, взял направление напрямик через обрыв прямо к подъезду дома, забыв о правоте окольного пути. На этом коротком этапе и произошел второй инцидент с автобусом, и уголовно-процессуальное настроение ума решило, что именно в этом вся суть наказания и есть, как всегда воспринимаемая совпадение за причину и следствие. Мания величия подсказывала, что все

подстроено заранее. Нога не рассчитала крутизну склона и доверилась камню, на вид цепкому, а на самом деле осыпающемуся при резком шаге. Тем более, он неправильно сделал первый шаг, неправильно поставил ногу, забыв, что одна нога босая, что одна нога выше другой на величину каблука. Несколько секунд Револют изображал милиционера, распоряжающегося разносторонним движением на бурном перекрестке, а затем, помахав руками, решительно сел сестным местом на святую землю, так и не удержав на ней равновесия. И тут тяжелая бандероль в глянцеvitой коричневой оберточной бумаге дернулась в сторону, бечевка, зажатая в руках, лопнула, и в зажатом кулаке осталась одна упаковка, а все содержимое бандероли, оказавшееся томами одного цвета, покатилося и запрыгало на выбоинах, к шоссе внизу. Книги летели по склону, подскакивая, отделяясь от коленкоровых обложек, склеенных клейстером, как будто раздеваясь на ходу. Еще не сообразив, что произошло и вертя в руках смятую оберточную бумагу, Револют обнаружил письмо, приклеившееся к обертке: оно, видимо, приклеилось, когда цензура, проверив бандероль, снова заклеивала ее клейстером, как всегда вымазывая самые неподходящие места. Сжав письмо в кулаке, Револют стал осторожно съезжать вниз к шоссе за книгами, царапая руки о колючий кустарник и проклиная осыпающиеся камешки. Когда он, наконец, оказался на шоссе, то первым делом бросился не к советскому изданию неизвестного автора, разбросанному на асфальте, а к старой туфле, лежавшей поодаль, к туфле с дыркой, оставившей на подошве буквы, из которых складывалось слово "Боль..."; он раскаивался в собственной нерасчетливости: ведь туфлю можно зачинить и ходить в ней еще полжизни. Но когда из-за поворота с ревом выскочил автобус, сработал звериный рефлекс московского интеллигента и Револют первым делом бросился к книгам. Однако для того, чтобы спасти книги из-под колес автобуса, нужны были руки, а руки были катастрофически заняты: в одной руке Револют держал туфлю с дыркой, которую собирался за-

чинить; другой же все еще сжимал в кулаке оберточную бумагу с приклеенным письмом из посылки. И Револют никак не мог решить, какой из трех предметов преискуранта принести в жертву летящему с рычанием молоху. То, что автобус может стереть в лепешку прежде всего его самого, дошло до Революта лишь в последнее и чудное мгновение. Когда автобус явился перед ним как прямолетное стремление, все педагогические истории детства про встречу пионерки с фашистским бронепоездом промелькнули в памяти и Револют бросился плашмя на рельсы, а в данном частном случае — на асфальт. Падая, он увидел ошалевшие глаза и перекошенное паникой лицо водителя, в котором без удивления узнал того же, кто прихлопнул дверь и увез его аэрофлотскую сумку, а сейчас с непонятной расторопностью возвращался обратным маршрутом, хотя конечная остановка чорт знает где.

”Они все тут, впрочем, на одно лицо”, подумал Револют, прильнув к разогретому асфальту как ребенок к подушке, и вдруг ухом, прижатым к земле, услышал, что у этой земли тоже есть сердцебиение, гулкое и учащенное: ”Иерусалим все-таки”, решил Револют и лишь позже, все это припоминая, он догадался, что это было эхо его собственного сердцебиения, он слышал стук собственного сердца ухом, прижатым к земле, собственным ухом, но через эту землю. И автобус промчался над ним высокими колесами, вращением шестеренок и резким запахом обгоревших тормозных колодок, пронесся над, обдав бензином, как прошлая жизнь, которую он уже не помнил. Потом он подумал, что его уже не существует на свете, но мурашки прошли по спине от визга тормозов, как от скреба вилкой по тарелке, и через минуту водитель, плюясь ругательствами, тряс его за плечо. Автобус стоял у края шоссе и из него выглядывали любопытные кочаны голов. Спрашивать об аэрофлотской сумке было бесполезно. Револют, с перекошенной извиняющейся улыбкой, отряхнулся, и не обращая внимания на ругань и переспросы водителя, шатаясь, зашагал к разодранным томикам книг на шоссе, прихра-

мывая в съезжающей туфле на одной ноге. На коротком отрезке шоссе было учинено настоящее побоище: автобус, пройдясь по асфальту вихляющей петлей на тормозах, разможил тома книг подчистую, и глазу представляли шевелящиеся на ветру клочья обложек и разодранные тетрадки переплетов, как после обыска из кошмарного сна. Еще не отзвучала в ушах ругань водителя, еще под носом витала гарь визжащих тормозов, когда Револют, бессознательно прижимая драгоценную дырявую туфлю к груди, присел у обочины и стал разглаживать остатки уцелевших обрывков:

”Отведенная для одних лишь аристократов, гильотина показалась ему чем-то вроде несправедливой привилегии”, вычитывал Револют из обрывка книжной страницы, и дальше: ”Но выступая перед членами ”Общества друзей русского народа и присоединившихся к России народов” зрелый Ан. Франс без обиняков заявил: ”Россия — страна, где сбывается и невозможное. Это невозможное большевики совершают теперь и завершат”. Великий гуманист, лауреат Нобелевской премии, Анатолий Франс был похоронен, однако, без национальных почестей на скромном кладбище в Не”, и тут листок книжной страницы обрывался.

ТЕТРАДЬ № 3

Открывая дверь, Револют в который раз поразился, что все еще существует на свете некто, кто с нетерпением ждет его возвращения: за дверью радостно, визгливо и невоздержанно до неприличия скулила Каштанка, напоминая, что мы в ответе за прирученных. В Каштанке как будто инкарнировалась предыдущая собачья жизнь Революта до отъезда. Как только дверь приоткрылась, Каштанка, эта черная с павлиньим хвостом псина дворняжкой породы стала в который раз демонстрировать Революту знаки преданности, не понимая, что в доказательствах преданности нуждаются единомышленники, а не родственники. Но, возможно, Каштанка считала Революта именно единомышленником, а что по поводу их отношений думал сам Револют, ее хозяин, собаку мало интересовало. Встречая возвратившегося, она проделывала всегда один и тот же трюк: поджавшись, подскакивала до высоты револютовой лысины, и вывернувшись в воздухе, умудрялась лизнуть в нос.

”Ты ведешь себя, псина, как тот советский гражданин, который учился прыгать с места в высоту и затем резко в сторону на три метра, чтобы однажды, проходя мимо иностранного посольства, на месте ворот совершить прыжок на территорию враждебной державы на глазах у советских милиционеров перед входом. Но я, псина, не посольство иностранной державы, а ты не советский гражданин. Отвяжись, Каштанка!” отмахивался от поцелуев Револют, но Каштанка, принимая обращенный к ней монолог за еще одно проявление единомыслия, не успокаивалась: вытянувшись на спине и задрав лапы, делала вид, что умирает

от тоски, чтобы рука хозяина излечила ее своим присутствием во всех щекотливых местах от морды до хвоста. Однако на этот раз Каштанка сразу заподозрила что-то неладное: лизнув Револьта в морду, она уловила, кроме привычного запаха дешевого табака, еще и привкус необычного металла и вообще чего-то сфабрикованного и сфальсифицированного. Да и обычное "отвяжись, Каштанка!" в этот раз звучало именно так, как в тот вечер, когда единомышленник Револьт вдруг превратился в таинственного незнакомца, а дальше пошли чудеса в решетке. Тогда она считала все происходившее неизбежным результатом своего дурного поведения, потому что сколько ни задира лапки, в благодарность слышала одно и то же невежливое "отвяжись!". Каштанка в тот раз воспринимала этот приказ буквально и никак не могла сообразить, от чего же ей, собственно, отвязываться: никогда ее не держали на привязи и ошейник ей тоже был неведом.

* * *

Тогда, в ту ночь неприятных неожиданностей, прежняя квартира изменилась, наполнившись незнакомыми запахами и незнакомыми носами, из которых ни один ей не нравился. От толпы шаркающих по квартире людей пахло не привычным мелом университетских кафедр, а вокзалами и сапогами, и все эти незнакомцы говорили и говорили, обращаясь явно не к ней и вообще неизвестно к кому. Они обращались к самим себе, а не друг к другу, хотя время от времени один из этих бездельников пытался подлизаться к Каштанке, крутя пальцами хлебные шарики и пытаясь потом эти неопрятные комочки скормить собаке. Каштанка, естественно, рычала на наглеца, а хозяин чужим, далеко не голосом единомышленника, рычал в ответ: "Отвяжись, Каштанка!" — хотя Каштанка прекрасно чувствовала, что эти пришельцы раздражают и его, Револьта. В речах незнакомцев не мелькало привычных слов про митинг гласности молчанием в знак протеста против нару-

шения с рефреном вопроса "что делать?" и "кто виноват?" И не чувствовалось пленительной смеси запаха мороза и водки и звука постоянно хлопающей двери в подъезде и секундной тишины в комнате от каждого стука в дверь или шума мотора за окном. Да и сам хозяин по кличке Револют был не похож на того шумного великовозрастного крикуна с рассеянным взглядом и постоянным паролем: "слушай сюда!" — когда, перегнувшись через стол и одновременно почесывая Каштанку за ухом, говорил: "Известно ли вам, что по нормам положенности в лагере особого режима эзку полагается кроме койко-места еще и койко-сетка, а вовсе не нары, а значит можно подать иск на отсутствие койко-сетки?" И хотя Каштанка ни одного слова понять не могла в этом юридическом казусе, она сразу же издавала вой в знак солидарности с "отсутствием койко-сетки" и обходила стол на двух лапах, за что ей перепал то огрызок колбасы, то кусочек плавленого сырку, а то, порой, и ломоть котлеты из кулинарии по 6 коп. штука без панировки. Но в тот, апокалиптический, вечер никаких съедобных запахов вообще не чувствовалось: пахло пылью, молью и клеем, а по комнате сквозь топот ног перемещался различный неаппетитный сор в виде бумажек и бечевок. Сам же хозяин по кличке Револют занимался необычным делом: вытаскивал из разных углов пакеты и свертки, набитые бумажками, присаживался на корточки и рвал бумажки на мелкие кусочки. "Не надо заводить архива, над рукописями трястись", говорил он и швырял клочки в разные стороны, и Каштанка, скуля, подбиралась к хозяину, брезгливо нюхая разбросанные обрывки. Оба они, и хозяин и собака, глядели с одной и той же точки зрения на происходящее, потому что оба сидели на корточках; они уже не принадлежали к этой комнате, хотя еще и не вышли за порог, и время от времени бросали взгляд на мотающиеся по комнате ноги и со злорадной грустью понимали, что уже никогда не различат лиц на головах, эти ноги передвигающих. Чтоб меня не схоронили по ошибке с коммунистами на кладбище одном.

И сейчас, сидя в пустой квартире с окнами на Иудейскую пустыню, Каштанка, вслушиваясь в вой ветра, вновь почувствовала запах раскрытых чемоданов, моли и нафталина, шелест веревочек и бумажек на полу от сквозняка, и та, прежняя московская конура снова представилась ей, и возникла перед ней сначала вверх ногами, а потом, покачавшись, перевернулась и встала на ноги вся забытая разношерстная публика. И была она на этот раз не перед глазами, как тогда, в Москве, а пряталась глубоко сзади, у затылка, и чтобы ее увидеть, приходилось выворачивать глаза вовнутрь, и там, внутри черепной коробки собачьей памяти, высветлялись человеческие фигурки и, как сморщенные куклы, кивали китайскими головами скорбно, и скрипучими голосами разевали рты:

”У вашей собачки взгляд истинной прустиянки”, говорил утробным голосом незнакомец, застегнутый на все пуговицы, и хотя он и был прав в отношении прустиянства Каштанки, та зарычала и попыталась даже тяпнуть говорящего, когда его лживая рука потянулась к ее, вставшей дыбом, шерстке. ”А не взять ли нам к себе собачку?” обратился тип, отдернув руку, к своей соседке, которая запомнилась Каштанке огромными белыми коленями. ”Эта милая собачка будет напоминать нам о Революте и передаваться от отъезжающего к отъезжающему, как, знаешь, факел на эстафете. Ведь когда-нибудь и мы уедем, и если мы не возьмем сейчас собачку, что же от нас останется в памяти остающихся? А так — и нам будет чего оставить на память. Она хорошая собачка, но только когда кто-нибудь входит или выходит из дома, она тьявкает как помешанная. Полезно, между прочим, на случай обыска и ареста”.

”Да кому ты нужен с обысками”, огрызнулась его соседка со съедобными коленями. ”Будет тьявкать круглые сутки, это, по-твоему, и будет памятью о Революте? Он что, всю жизнь только и делал, что тьявкал? И что скажет мама?”

”Конечно, мы возьмем ее только с согласия твоей мамы. Мы сначала спросим твою мать. Я не думаю, что твоя мать будет против”.

”Оставь в покое мою мать”, дребезжал в ответ женский голос. ”Моя мать уже отказалась от очень породистой собаки. У нее был доберман, сука. В смысле, не кобель, а сука. А фамилия по владельцу — Рабинович. В том смысле, что на оценках по категории судья всегда вызывает собак по фамилии владельца. Когда подходила очередь нашего добермана, судьи кричали: ”Сука Рабинович, к судейскому столику!” Мою маму это страшно травмировало. И потом такие оскорбительные открытки из собачьего клуба: ”Приглашаем Вас в четверг на заседание членов Собачьей Ассоциации. Предлагаем для случки двух кобелей по выбору”. Однажды моя мать преодолела себя и появилась на собрании, а там жуткое неравенство в смысле представительства сук и кобелей в президиуме. Ну моя мать, как свободная женщина, поднялась на дыбы и заявила без всяких виляний хвостом: ”Как же это получается, товарищи? Если я, предположим, кобель, и мне нужна вязка, у меня нет своего голоса, потому что в президиуме большинство — суки?!” И заметьте, она ведь сама, условно говоря, сука, но у нее повышенное чувство справедливости. И ее, конечно, облаяли. Чуть не загрызли. А потом, когда началась лекция для собаководовладельцев в присутствии собак, при каждом шепоте в зале инструктор гавкал: ”сидеть!” Короче, у нее от этой собачьей жизни чуть не началась чумка”.

”У кого — у нее?” тупо переспросил ее спутник и тут же покраснел под строгим видом белых коленей:

”Я имею в виду возмутительную несправедливость: в Москве только три настоящих бульдога, да и те кобели. А вот сука — ни одной! Потому что настоящий бульдог водится только в Англии, а англичане ни одной суки за границу просто не выпускают, несмотря на права человека. И поэтому в Союзе невозможно найти ни одной бульдожьей суки настоящей породы, а все недоделанные отечественные, и для собаководов это настоящая трагедия. Вот достать бы самую невзрачную сучку, но настоящую, и у нас, знаешь, сколько бы своих расплодилось?”

”Можно было бы продавать в слаборазвитые страны

и обменивать на хлеб. Может, кто-нибудь из возвращающихся отъезжающих вывезет их из-за границы, как порох из Китая. Ну так как, возьмем собачку? Может быть, она очень редкой породы?” продолжал настаивать утробным голосом ее спутник, но в этот момент Револют поднялся с колен и, отряхнув пыль и бумажный сор со вспухших на коленях брюк, приблизился к беседующим. И Каштанка, почуяв, что речь идет о ней, встала рядом с хозяином и стала бить павлиньим хвостом по заляпанному сапогами паркету:

”Каштанка поедет со мной”, хрипло сказал Револют. ”Не правда ли, Каштанка? Она не китайский порох и не сука, которую обменивают на хлеб. А вы пойдете другим путем, чтобы не травмировать вашу мать национальностью моей собаки”, и указал оторопевшей парочке на дверь. Каштанка залилась визгливым лаем и произошел небольшой скандал, закончившийся примирением сторон и объяснениями, почему кто что когда неправильно понял. Но так или иначе судьба Каштанки была решена раз и навсегда. Собачья судьба.

Она смутно помнила пересадочную Европу сквозь прутья деревянной клетки, в которой провела всю дорогу, пока они не прибыли в этот странный город, где она обнаружила необычные рельефы и главное, невероятные запахи. Пахло придорожной пылью и лавром и полынью, как на кладбище летом, и когда они с хозяином по кличке Револют шагнули на эту обетованную землю, Каштанка бежала впереди, благословляя и леса и голубые небеса и в поле каждую былинку и в небе каждую звезду и эту узкую тропинку, по коей, нищий, я бреду. С изменением рельефа изменялась и походка, и от этих каменистых холмов становилась слегка прыгающей, с поднятием морды вверх, но с глазами, от слепящего солнца, вниз, что придавало скромности обоим. Главное, эта дрыгающая радостью походка привилась и хозяину: если раньше Каштанке приходилось семенить, то и дело останавливаться у каждого московского фонаря, потому что Револют вышагивал

медленным покачиванием, то теперь оба шли нога в ногу. Ее знаменитый хозяин, в черном пиджаке как будто только сейчас с университетского заседания или с поминок, шел, подпрыгивая, рядом с ней, одно плечо вперед, всегда улыбается и все это ему страшно нравится, но при всей улыбочивости удивительная цепкость выгоревших глаз, когда зрачки фиксируются четким приказом. Но это было видно ей, Каштанке, и больше никому, потому что с виду Револют передвигался походкой одуванчика, и Каштанка даже подслушала, как за глаза его так и стали называть: "а вот идет Одуванчик". И вправду, от его лысины, с пучком выгоревших добела волос исходило сияние; но какие бы вихри враждебные ни веяли над ним, этот одуванчик раскачивался недотрогой и с него не слетала ни одна пушинка: он качался, но не падал, а Каштанка, довольная, увивалась вокруг него.

* * *

Сейчас, когда мне остается сделать последний и решительный шаг на тот свет, я задним числом завидую им обоим, Революту и Каштанке, вспоминая, как они, в первые дни по прибытии в Иерусалим, шныряли от любопытства по всем уголкам и забегаловкам на треугольнике улиц вокруг пл. Сион. Каштанка, как обычно, становилась на задние лапы, чтобы дотянуться и заглянуть за очередной высокий прилавок из жести, и на нее презрительно начинали коситься плотные люди в кепках, панамках и ермолках, но тут же деликатно отодвигались, увидев голову-одуванчик, безошибочно узнавая профессора по фотографиям из газет. В заведениях пахло не привычными щами с половой тряпкой, но совершенно оригинальным духом перегоревшего оливкового масла; запах этот Каштанка переносила с трудом, но смело экспериментировала под руководством Революта с различными блюдами. От мяса "шаварма", которое крутилось на высоких штыках и обрезалось по кругу длинными ножами, сразу пришлось отказаться: в нем не

было родного привкуса крови. Плотный замес "хумуса" исключался из меню по гигиеническим соображениям: не только потому, что эта пища была похожа на московскую замазку для окон на зиму, но скорее оттого, что липла к шерсти, вымазывая собачью морду вдоль и поперек, а за салфетками надо было продираться через толпу голосящих людей, требующих повторных порций. И даже солнечные "чипсы", то есть просто-напросто палочки жаренной в масле картошки, разочаровывали своим непривычным вкусом, в котором не было ни намека на гриб за счет жареного лука, как в Москве. Но зато неожиданным сюрпризом стал стручок перца; в пасти начинался пожар, который тушился шариками "фалафеля" и бубликами, нанизанными и навешанными на шестах у прилавков, как кольца у жонглера: поймать в прыжке шарик "фалафеля" и надеть на нос бублик — не праздник ли это? Да и в еде ли дело? Какова бы ни была жратва в зубах, можно было наслаждаться одним только неисчерпаемым иностранным разговорником запахов, звуков и лиц, которые, казалось, не обнюхать и за десять собачьих жизней, а она, собачья жизнь, у нас только одна и дается один раз. Каштанка дурела от гортанных звуков и хруста челюстей, от шипения масла, в которое летели свернутые быстрыми пальцами шарики "фалафеля"; тарасила разбегающиеся глаза на трехногие цирковые табуреты, на лепешки под названием "пита", возвышающиеся стопками под руками продавцов, как банкноты у банкиров, и еще на голубые цветочные вазы с бумажными пальмами за горой желтых грейпфрутов. А кругом были развешаны разноцветные лампочки и китайские фонарики, качающиеся на ветру над жаровнями с "пиццей"; и дыхание прерывалось, когда, шагнув чуть в сторону от этого циркового балагана, выскакиваешь на провал воздуха, туда, где скрещивались холмы и вдруг исчезал город; и от этих провалов и отрогов воздуха странно билось собачье сердце, как будто в резко взлетевшем лифте, и охватывал страх, что больше не вернешься в эту толпу лиц, где загорелая кожа и провалы острых глаз казались маска-

радными масками с париками кудрявых волос: сдернешь и заулыбаются знакомые лица. И Револьт, ошарашенный поначалу, как и его верный друг Каштанка, праздным умом с восхищением глядел на продавца фалафеля, коротышку в черном берете, как на фокусника: как тот рассекает лепешку-питу с двойным дном, и отжав большим пальцем получившийся карман, как будто кропя тремя другими, мгновенно цеплял различные салаты с кругляшками фалафеля, и вновь прижав весь ассортимент большим пальцем, выставлял этот шедевр, как будто из волшебного рукава, на рифленую подставку, накрыв аккуратно салфеточкой. Ошарашенный логической безупречностью его движений, Револьт, получив свою порцию, старался подражать его логике, и отставив сумку с надписью "Аэрофлот" локтем за спину, колдовал ложечкой с длинной ручкой над жестяными соусниками с белой, красной и зеленой приправами, и в каждом соусе была своя особенная жгучесть и надо было этой жгучестью залить щели между содержимым двойной лепешки и ее стенками; Револьт учился этому краем глаза у соседей по забегаловке и гордился своей восприимчивостью и ловкостью. Каштанка уважала в своем хозяине эту видимость неуклюжести на людях и математическую ловкость, когда требуется, наедине с препятствием. Жгучий перец запивался полстаканчиком коньяка "Три семерки", 777 ("трагедия новоприбывших: они думают, что это советский портвейн той же марки", повторял Револьт, проглатывая стаканчик и добавлял, морщась: "апокалиптически!", намекая на цифру 666).

Бог ты мой, куда испарились эти цирковые впечатления от нового места жительства? когда каждый день, как у других колен? Почему Каштанка вдруг стала замыкаться в себе, отказывалась выходить на улицу, оправдывая свое уединение тем, что иерусалимские жители грубы и по слухам травят бродячих собак, подсыпая отраву в помойки. Но разве Каштанка была бродячей собакой? Разве она когда-нибудь заглядывала на помойки? Она ведь, скорее, дол-

жна была чувствовать некую избранность своей персоны, носящей в себе закваску невиданной здесь породы московских дворняжек. И разве забыла она, как необыкновенно и значительно было шагать со знаменитым человеком в ногу, поглядывая на такие, скажем, прямо-таки сверх-дорожные указатели: "Дорога на Вифлеем", или, к примеру, "К стенам Иерихона", а то и прямо "К Мертвому морю". И как, лишь недавно, она с восторженной гордостью присутствовала при встрече своего хозяина по кличке Револют со случайным собеседником, когда тот, потянув Революта за рукав, робко спрашивал: "Вы меня помните?" И Револют, остановившись посреди улицы, робко моргал, почесывая лысину, и отвечал, как будто припоминая: "Э-э-э? позвольте! позвольте? ну конечно!" и выгоревшими глазами радостно и неуверенно разглядывал собеседника, и этого было достаточно, чтобы привлечь его на свою сторону. Каштанка, глотая слюну от зависти, следила, как удачливо-уклончиво отвечал ее хозяин на вопросы, грозящие подвохом, заставляя собеседника через секунду поверить, что Револют его лучший друг. "Не пора ли сбросить на эту Россию десяточек увесистых атомных бомб: весь мир завоняла своим интернационализмом!" — говорил, к примеру, задумчивый встречный. Или наоборот возбужденно вопрошал: "Когда же сюда, наконец, войдут советские танки: сколько можно родную речь калечить этим перевернутым языком?" И Револют, внимательно выслушав вопрос или предложение, морщил лоб и сосредоточенно говорил: "Очень интересная мысль", и тут же, без перехода, принимался рассказывать в связи с заданным вопросом некую анекдотическую историю; связь анекдота с разговором понимал только он сам, рассказывал с жестами и сбивчиво, путаясь в деталях и забывая о морали, отчего прослыл в городе большим оригиналом: в середине собственного рассказа, забывая о собеседнике, вдруг доставал блокнотик и чертил там свою логическую формулу, неожиданно пришедшую в голову; с подобными манерами обычно наживают кучу врагов, но Революту все сходило с рук: ему про-

щали. Хотя и завидовали: ведь он проносился мимо них на велосипеде выводов и следствий, на страшной скорости и улыбаясь; и никто не замечал, что у этого гордого наездника ноги давно поранены и больше нет сил крутить педалями.

Как было сказано в одном из будущих разговоров, о которых пока говорить рано: "Вы, многообожжаемый Револют, надеетесь, что если вы будете любезно соглашаться с каждым, вам каждый свою душу выложит. А людям язык на то и дан, чтобы скрывать душевные помыслы. — А мне, преподобный отец, совершенно наплевать, что у человека на душе: меня интересует, что у пьяного на языке". Тогда он еще не догадывался, что не все кругом принимают всерьез его анекдотическую внешность Одуванчика, и что есть на свете кое-кто, кто кое о чем догадывается не хуже его самого. А мне не стоит забегать вперед, надеясь на то, что если я расскажу кое-что заранее, то не случится того, что уже произошло. А произошло то, что Револют стал известен всему городу, а сам людей не помнил: точнее, помнил каждого в особых обстоятельствах, в одной единственной компании, в обстановке того дома, где он впервые с человеком встретился; а когда тот же человек появлялся, скажем, на улице, или возникал, наоборот, перед его носом в домашней обстановке, в то время как Револют помнил его как уличного встречного, для узнавания необходимо было заново собрать всю эту велосипедную цепочку выводов и следствий, связанных с этим встречным, мимо которого он однажды в жизни проехал, а теперь не мог никак узнать. Чтобы узнать человека заново, ему нужно было всякий раз заново вспомнить, где они встречались и при каких обстоятельствах. Тот Револют, который встречал человека в новых обстоятельствах, был уже не тем Револютом, который встретил того же человека в обстоятельствах предшествовавших.

Но Каштанка была все той же, и ей, как и в Москве, нравилось сидеть под кафедрой университетской аудитории в Иерусалиме, где все так же пахло тем же мелом и пы-

лью от черных досок, но атмосфера была торжественней — поскольку не было той черной толпы вульгарных людей, рвавшихся на лекции хозяина в Москве, как на демонстрацию, когда можно было с места задавать провокационные вопросы лектору и получать провокационные ответы; нет, здесь было всего лишь несколько посвященных непонимающих (не считая Каштанки), слушавших Хозяина с открытым ртом и вытаращенными глазами, и от лекции к лекции их число сокращалось, пока не осталось двое, самых упорных. Центральный тезис своего цикла под названием "Классовая справедливость и раздвоение личности" Револют объяснял так: "Супруга Анна Аркадьевич Каренин, не забываете, бросилась под поезд, поскольку подошла к брачному кодексу с бесклассовых позиций и в этом ее антимо­ральный подвиг", — втолковывал он двум сонным усатым девицам, изъясняясь одновременно на языке библейских пастухов, скифов и викингов. "Ее урокам последовал и Раскольников Родион", селся Револют на своего конька; но лучше всего привести отрывок из стенограммы той лекции, после которой единственным слушателем этих силлогизмов стала лишь Каштанка:

"Револют: Итак, вначале его, Родиона, что мучает: разница между мыслью и действием, между словом и делом. Точнее, рубеж между ними, предел. Он, Родион, вначале объективный идеалист: он требует рая на земле, как советская власть, в общем, об этом мы уже много говорили, не так ли? Так о чем я? (нзб.) На земле. А на земле какой закон? Люди бьются за металл. Сатана тут правит бал. У него, Родиона, вначале классово-исторический подход к закону, я это подчеркиваю, подчеркните, кто записывает. На чьей стороне справедливость и закон? На стороне тиранов и наполеонов. Все на крови. На крови младенца цветет старушка-процентщица. И поэтому ради всеобщей справедливости надо общество бить его же оружием: ужокошить старушку-процентщицу, капиталистическую гниду, а потом спокойно строить рай на земле на вырученные деньги. Потому что вся разница между идеалом и дей-

ствительностью, единственное препятствие между словом и делом, сосредоточилась у Родиона, из-за его классового предрассудка, в старушке-процентщице.

Вопрос с места: Был ли Достоевский антисемитом?

Револют: (нзб.) в этом смысле развивает Льва Николаевича Толстого наоборот: Анна Аркадьевна Каренин Толстого отвергала классовые законы светского общества, типа "молчи, скрывайся и тай". Для нее есть Божий суд, он недоступен, так сказать, звону злата. Я не трудно говорю? Анна сразу поняла: позор, а значит нужно под поезд — чтобы смыть! У Родиона как бы наоборот: он сначала другого убивает, и только потом понимает, что позор, что он не ту границу переступил. Он действовал согласно классовым законам и не заметил, что при этом преступил свод абсолютных законов и уже не может вернуться к абсолюту, то есть к себе самому: все дозволено, а значит и нет ничего, себя самого нет. И тут поэтому нужно земное наказание: зуб за зуб, око за око. По идее, ему бы надо присоединиться к движению Анны Аркадьевны Каренин, и тоже сигануть под поезд — чтобы смыть! Преступление их по одной и той же, в сущности, статье: она убила идеал супружества, ссылаясь на обстоятельства замужней жизни, а Родион, ссылаясь на другие причины классового толка, убил символ гнивающего капитализма. И оба потеряли точку опоры. Подчеркиваю, и вы, слева, подчеркните пожалуйста: оба, и Анна, и Родион, пытались обрести рай на земле, преодолевая границу между словом и делом — она через самоубийство, а он через убийство — понимая эту границу классово, в то время как истинная граница на небе и знать ее нам не дано; как говорится: "Мне отмщение и аз воздам". Есть вопросы?

Вопрос с места: Преследуется ли в Советском Союзе национальная культура КУЛУКОВ?

Револют: (нзб.) твою мать! Калмыков? м.б. тунгусов?

Вопрос с места: Кулуков.

Револют: (нзб.)

Каштанка: Гав!.."

На этом вопросе о "кулуках" и закончилось чтение блестящего курса лекций о классовой шизофрении слова и дела. А весь скандал произошел из-за разницы в огласовке: на языке библейских пастухов и ближневосточных резидентов одно и то же слово можно было прочесть по-разному в зависимости от огласовки: как, скажем, сокращение Б-г можно по-русски расшифровать как "Бог", а можно как "Бег", и многие даже скажут, что и разницы нет никакой, поскольку от бога до бега один шаг с места в карьер, как между словом и делом, в смысле цитаты "бегите и обрящите"; именно поэтому, наверное, в настоящих сочинениях имя Бога не произносится, а заменяется сплошным авторским "я". Но я этого позволить себе не могу: нам даны в жизни сплошные согласные и мы их должны правильно огласовать, чтобы выразить свое несогласие. Каждый имеет в виду одно и то же, только произносит в своей огласовке. И Револют и друг степей калмык никак не могли догадаться о существовании мистических "кулуков". Кто они, куда их гонит? Пока, наконец, потерявший терпение голос с места не сказал: "Нет, никакие не кунаки, а именно кулуки, об их трагической судьбе много пишет русский писатель Сол Женицын", произнесла усатая слушательница имя нобелевского лауреата Солженицына так, как привыкла произносить имя другого нобелианта — Сола Беллоу. "Кулаки", стукнул себя по лбу Револют: "КулАки, а не кулУки!" — осенило его, и с этого момента он потерял всякий интерес к разговорам вслух о тех преступлениях, наказание за которое можно огласовать по-разному. Министерство образования предоставило ему стипендию для домашних изысканий, что, впрочем, было и почетнее и спокойнее. Его единственным верным и внимательным слушателем была и оставалась Каштанка: нанюхавшись новой жизни, она все чаще предпочитала домашнее уединение. Иногда, почуяв неясную угрозу в завывании ветра, блуждающего по пещерам отшельников на краю Иудейской пустыни, Каштанка вставала передними лапами на подоконник и выла в ответ, глядя на так называемый Дворец На-

местника на противоположном холме; в верхнем этаже прячущегося в соснах, периодически маячила у окна фигура не то Понтия Пилата, не то Представителя ООН, как будто ходящего со свечкою по комнатам: в действительности, это очередной чиновник следил из окна, чтобы пастухи-арабы не заводили на его территорию овец, пожирающих со страшной скоростью дорогостоящую траву прилежащих лужаек. Завидев внизу на асфальтовой тропинке махающего руками Революта, Каштанка бежала к двери квартиры и сменяла огласовку своих настроений на приветственный лай.

В начале их совместного пребывания в этой пустынной квартире с окнами на пустынную пустыню, Каштанку раздражало присутствие проходящих студенток, поскольку эти чуждоязычные вряд ли до конца вникали в силлогизмы Революта. Но Револют тоже в общем игнорировал их присутствие. Мыча и набарматывая себе под нос, он вышагивал карцерные расстояния своей комнаты, расшвыривая под ноги сигаретный пепел, и резко остановившись, срывал со стены очередную пришпиленную карточку с закорючками формул и логических выводов, хмыкал себе под нос и проговаривал свои следствия, глядя в немигающие каштанкины глаза, и Каштанка, в знак понимания, виляла хвостом. И среди шуршания собственных шагов, шелеста и хмыкания под нос, до него доходил звук повторяющегося вопроса очередной проходящей поклонницы, насчет того, голоден ли он или готов подождать? И Револют, морща нос с хмыканьем "угум?", прислушивался: бурчит ли у него в животе или еще нет, и неожиданно сталкивался с незнакомым и преданным взглядом очередной студентки, путая этот взгляд с каштанкиным. Пока его голова летала в облаках теоретического неба, его глаза и уши сталкивались с гортанной и птичьей речью этих девиц, сменяющих одна другую, как звуки из окна — из того мира, который навязывал свое присутствие своей открытой семейственностью. И только потому, что в этой открытости был соблазн затеряться среди родичей, от этого мира надо было бежать в не-

прерывное шагание по комнате, сторониться по стенам в подборки карточек, хотя никто и не навязывал тебе родственную близость, а лишь предлагал бутерброды на тарелке с голубой каемочкой, когда ты голоден. И эти бутерброды Револют уничтожал налетами и рывками с пробегом по комнате: в пальцах и бутерброд, и металогиическая выписка на карточке, и дымящаяся сигарета, и все это иногда путалось, когда доходило до губ. Очередная приходящая поклонница научной истины или теоретического несчастья кормила Революта по-птичь, почти из рук, вынимая погасшую сигарету из пальцев и подсовывая вовремя бутерброд. Эти бутерброды появлялись как в детстве, когда приступы голода заставляли его просыпаться среди ночи и рядом с кроватью всегда обнаруживалась тарелка с бутербродами, приготовленными заботливой теткой Блюмой: мальчишеская прожорливость устранила мальчишеский страх среди ночи.

Иерусалимские бутерброды, поданные чужой заботливой рукой, исчезали с беззаботностью очередного умо-заключения, переваренного в его мозгах. И от этого присутствующего отсутствия он пробуждался лишь тогда, когда до него доходил чужой причитающий лепет и короткий крик, а его нескладные руки, очнувшись, принимались измерять оказавшуюся под ним женщину, уточнять ее как математическую формулу, как самое дорогое расстояние между двумя выводами. И он, наконец, замечал ее, для него безымянное существо, улыбался ей своей широкой беззубой улыбкой, с удивлением прослеживая касанием пальца две точеные впадины там, где бедра переходят в живот, и сопоставлял их одной параллелью со впадинами под скулами и уголками приподнятых губ. И прорисовав ее мизинцем, убедившись в ее присутствии, он тут же начинал хитрить и, убегая в отработанную память, начинал накручивать нить очередного неподходящего анекдота, нить, по которой, довольный, убегал из только что обретенного рая, грозящего забвением вечному уходу к неведомым пределам. Он тщательно охранял эту позицию не-

причастности к тому, что минуту назад было одним телом с ним. А она слушала, приоткрыв губы, следя не за его речью, а за его лицом, положив локти под голову, натянув простынь до подбородка. Заметив, что она не смеется в тех местах, где он улыбается самому себе, Револют хмурился и говорил: "Тебе надо выучить русский язык. А впрочем, в этом, наверное, нет никакого самостоятельного смысла". И не замечал, когда она уходила, и в конце концов переставала приходиться вообще. Они все в конце концов перестали появляться, как будто в один прекрасный день догадались до неприятного смысла револютовой отстраненной улыбки, до сдавленного смешка в тот момент, когда ожидаешь вздоха. Потому что именно в тот момент, когда женщина убеждается в собственной неповторимости, у Революта на уме были такие приблизительно слова: "Она еще не кончает, а я боюсь, что кончу: надо напрячь яйца и не сдаваться". Его непредугаданная грубость. И не стоит думать, что эти слова придуманы мной пост-фактум: они мелькали в голове у Революта параллельно событиям; но только он делал вид, что подобные мысли не существуют, точнее существуют, но помимо его судьбы. Он был в тот период фаталистом, не понимая, что даже слово — это судьба слова в отклике, как и судьба — этот уход от постоянной диктовки тех слов, которые мы называем судьбой, и что судьба поэтому приходит вместе со смертью. И поэтому с такой безучастностью относился он к этому раю на земле короткого лепета и крика, сходящего на нет как плач. Не понимая, что из таких лепетов и складывается жизнь.

* * *

Так ведь в точности и происходило перед самым отъездом, и именно в тот период и появилась впервые на губах Революта эта самая усмешка. Умом мы жили и пустой усмешкой: не знали, что закончим перебежкой. И Россия ушла, незаметно усомнившись в необходимости своего присутствия для Революта. И вот однажды Револют, глянув

в окошко на людей, ходящих внизу под лозунгами, подумал: "С сомнением я взираю на окрестность: какая незнакомая мне местность!" Ведь в конечном счете, вечными вопросами мучается человек, считающий себя виноватым и когда совесть не чиста: мол, мог бы сделать так, а вот, дурак, поступил иначе, не так, а так, вот дурак. Человека мучает вина за соучастие, пока он соучаствует, пока он живет — и это смертный грех. Совесть нужна тюремщику, арестованному в совести нужды нет. Совесть — это упущенная возможность: опустить топор или не опустить, а голове казненного решать нечего. Вместе с решением об отъезде тюремная дверца совести захлопнулась и перестали доходить до слуха жаркие споры на собраниях с повесткой дня "что делать и кто виноват?" По вечерам, надвинув ниже кепи, чтобы не выдать холода очей, Револют ходил в гости, где вел себя вольно, зло и весело, потому что для него от России не осталось ничего кроме логики уголовного кодекса. И оставалось лишь сочинить под этот факт очередной каламбур.

На квартире у Неты, где Револют под очередной советский праздник скрывался от психовозок, он стал выходить к собравшимся с неопределенной улыбкой, выжидающей повода для очередного каламбура. Так, имея в виду Комитет Гражданских Прав, он задавал такой, к примеру, вопрос: "Чем отличается ваш КГП от их КГБ? А тем же, чем слово на букву П отличается от слова на букву Б!" Или, к примеру: "Я не согласен, что советская власть — это торжество марксизма. Советская власть — это торжество фрейдизма: наши органы — у нас в голове!" Гораздо звучали его предложения в связи с вопросом, что делать:

"Организовывать Союз Наплевальщиков! Под лозунгом "Плевать я хотел на это", что, собственно, не противоречит советской конституции. Правда, до войны, в сталинские времена, в трамваях висело предупреждение "не харкать!", но ведь культ личности разоблачен, не так ли? Переехав на Запад, я готов поднять международную компа-

нию в защиту нашего Союза Наплевалыщиков: моим первым политическим шагом на Западе станет плевков с Эйфелевой башни”.

От России оставался политический каламбур. И это переставало нравиться друзьям. Все меньше оставалось друзей, и их место занимали единомышленники. Но с единомышленниками не о чем было спорить ввиду отсутствия разногласий в мыслях. И мысль уходила и ее все труднее было вспомнить. Чтобы вспомнить, надо было восстановить в памяти прокуренные споры и возмущенное выражение лица собеседника: это лицо и было тем единственным вопросом, на который требовался немедленный ответ. И без этого лица не было ни вопроса, ни ответа. Револьт же давно стал вести одинокую жизнь, и при слове Москва в памяти начинала маячить теткина квартира, где он прожил полжизни: темный коридор, по которому проходишь в кухню ранним зимним утром, и на улице еще темно, и надо зажечь свет, и поставив чайник на плиту, взять в руки первую попавшуюся книгу, забытую с вечера, и читать, дожидаясь, пока свет за окном не выжжет электричество на кухне. На переключке дружбы многих нет. И он приехал в край осиротелый, в котором не был столько лет. 2000? 6000 лет? Выехал с советским паспортом читать металогические лекции металлическим голосом; какая тут может быть логика, когда припечатано сердце серпом и молотом? И окажется Израиль стар и груб, а противящийся вере просто глуп, и окажется, что долгая зима выжгла ярость безнадежного ума. И Неты нету. Последнее напоминание о Нете умчалось в сумке с надписью ”Аэрофлот”.

ТЕТРАДЬ № 4

Итак, Револют вошел в квартиру весь в пыли и ссадинах, босой на одну ногу, с грязной оберточной бумагой в одной руке и рваным башмаком в другой; и Каштанка немедленно почувствовала тот самый запах пыли и мусора, сопровождающий всякую разлуку, отъезд и смерть; и все это, а главное запах металла и пластмассы изо рта хозяина, заставили ее забраться под стол, прижав уши, а встречаясь с хозяином взглядом, скулить и отводить глаза.

“Что с тобой, дружок? Тебе не нравятся мои новые челюсти? не узнаешь?” спросил, как помнится, Револют, и попробовал потрепать собаку за ухом, но Каштанка зарычала или, по крайней мере, забурчала недовольно и подозрительно. И Револют, отдернув руку от неожиданности и вскочив с корточек, столкнулся с собственным оскалом в потемневшем окне, и самого себя не узнал. Не узнал он и своей голой квартиры, пустота которой до сих пор была необходима и успокаивала, ничем не отвлекая от велосипедных пируэтов мысли.

Чтобы продолжать делать вид, что все в порядке, надо было забыть и нелепый разговор про распятого человека, и автобусы, страдающие манией преследования, и потерю советского уголовного кодекса, и помнить лишь то; что рот набит новенькими зубами, а туфли всегда можно зачинить и даже купить новые. Но Каштанка знала, почему залезла под стол и рычала на хозяина: дело в том, что вошедший в квартиру босой и пыльный хозяин был похож на того Революта, который, сидя в московской квартире

на корточках, рвал на мелкие кусочки собственное прошлое, швыряя Каштанке обрывки и поднимая в доме немислимую пыль. И Каштанка не в первый раз залезала под стол: всякий раз, когда Револьт появлялся в иерусалимской квартире с письмами в московских конвертах, облако отъездной пыли снова подымалось, и Каштанка начинала чихать сквозь слезы и все заканчивалось рычанием. Но на этот раз Револьт попытался провести с Каштанкой педагогическую беседу, а потом, махнув рукой, бросил на стол только что вынутое из почтового ящика московское письмо с красно-голубым околышком авиапочты, и, как всегда, сделав вид, что этого письма до поры до времени не существует, стал готовить суп из пакетика. Стоял над газовой конфоркой, помешивая выщербленной алюминиевой ложкой густеющую булькающую жижу в кастрюльке, повернувшись сутулой спиной стареющего холостяка к Иерусалиму, который вдувался запахом песка, камня и сосен из затухающей черноты кухонного окна. И поворачиваясь за баночкой соли или перца, снова замечал враждебный, милицейский красно-голубой околышек московского письма, и снова возвращал глаза к кастрюльке, в которой распускались засушенные травы и метались вздувающиеся зернышки. И невидящим, остановившимся взглядом, как у всякого, кто занимается однообразным перемешиванием пустого с порожним, он стал различать в хороводах сходящегося и расходящегося месива, сквозь пар, другие, вываренные и просоленные временем лица, как в том зеркале, у которого всегда спрашивают: "Кто на свете всех милее?"

"Бедный Волик, не заболел ли ты?" — читал, без особого интереса Револьт, когда, не долго думая, подхватил попавшуюся под руки коричневую оберточную бумагу и плюхнул на нее, обжигая пальцы, кастрюльку со вскипевшим супом из пакетика. Плотная и глянцевиная оберточная бумага из-под уничтоженной автобусом книжной посылки была измазана бензином и дорожной пылью; а из-за того, что всю дорогу Револьт сжимал бумагу в кулаке, при-

клеившееся к ней письмо тетки Блюмы было не только истерзано, но и чернила на нем расплылись, как будто письмо было заплакано отправителем. Как и все близкие, тетка Блюма называла Револьта уменьшительным именем Волик, и в этом Револьт усматривал еще одно доказательство семейных попыток задержать его на стадии детской недоразвитости, когда родители ревнуют выросшего ребенка к его собственному возрасту и хотят удержать ход времени, продолжая держать сына за младенца, над которым они могли бы властвовать своей любовью, спутывая ему руки и ноги пеленками. В письмах тетки Блюмы таким младенчеством становилось пребывание Револьта в России, и сейчас она навязывала теперешнему, далекому и уже несуществующему для нее Револьту того Волика, которого она выкормила и вырастила и проводила до вокзала, чтобы никогда больше не увидеть. И обращалась уже неизвестно к кому, скорее к самой себе, к собственной прошлой жизни с ним. Она регулярно поздравляла его с советскими годовщинами и народными праздниками, не желая знать, что он уже ушел и от власти и от народа с его праздниками. Револьт особенно кривился, когда получал открытку с Новым годом, где на белой картонке была густо намалевана елка с пятиконечной сосулькой-звездой на торчащем вверх зеленом пальце. Она отсылала эти поздравления для собственной безопасности, конечно же, с аккуратно выписанным обратным адресом под черной чертой, чтобы там, в районе пятиконечных звезд знали, что несмотря на переписку с иностранцем, она чтит народные социалистические праздники нового года октябрьской революции первого мая. Маята! маята!

И так было всегда с тех пор, как однажды он проснулся от стука сапогов, и люди в серых плащах увели в ночь его родителей; а потом, по дороге в Бобрин-Донской, неведомо где на карте расположенный шахтерский городок, тетя Блюма Карловна, глядя его по голове, говорила, что родители уехали в "командировку". И он, дурачок, повторял это в школе, когда его спрашивали, где его родите-

ли, и в ответ на это учительница сначала высоко поднимала бровь, а потом нехорошо усмехалась, а все его одноклассники стали дразнить его "командировочный". От Бобрик-Донского у него остались в памяти лишь тетнины указания насчет того, что есть яичную скорлупу полезно, потому что это укрепляет кости; и еще развилка дерева, где он устроил шалаш и часто скрывался, прогуливая школу, глядя, как местный бандит, хулиган и второгодник Евгений бежит за своей матерью с топором вокруг дома, а та, оглядываясь, заламывала руки и кричала: "Евгений, сынок, руки не порежь, руки береги!" И еще как он и этот Евгений залезли в больничный сад и нарвали зеленых яблок, а потом у него начались рези в желудке и тетка решила, что у него аппендицит: как ей пришлось тащить его на спине всю длинную скользкую дорогу до больницы, а он так и не сказал ей, что объелся зеленых яблок, и что это просто расстройство желудка. Его как-то занимало все это путешествие ночью пешком, держась за шею тетки. Уже тогда он понял, что слова про командировку вранье, что от него скрывают, от кого он и кто он, а потом обратил внимание на свое особенное имя и решил, что он отличается от остальных товарищей по классу и значит (это было в то время совершенно логично и через "значит"), он "враг народа", и это точно, только пока не представился случай проявить себя.

Уже тогда он догадался, что в жизни необходима некая тактика и стратегия, с помощью которой надо оправдывать себя в чужих глазах и доказывать правоту окольного пути. И что жизнь можно изменить, совершив наглую выходку, которая оборачивается вовсе не тем, что полагалось по замыслу. Дело в том, что тетя Блюма Карловна учила его пионерской правде, и настаивала на том, что Револьт не должен просить одно и то же два раза, если в первый раз отказано. Однажды он подбежал к ней перед школой и попросил рубль десять на мороженое. Тетка посмотрела на него испытующе и медленно-педагогически произнесла: "Н-нет". Револьту было ясно, что не потому сказала

она "нет", что не было у нее ни копейки, или жалко ей было: нет, она сказала "нет", чтобы проверить результаты педагогических внушений. Революта это взбесило страшно, он повернулся на школьных каблуках и выбежал из комнаты. Выбегая, он с размаху хлопнул дверь: точнее, захлопнул ее со страшной силой. Но дверь не хлопнула: как раз в этот момент в комнату входил друг дома, Наум Александрович, он-то и придержал дверь. Дверь не хлопнула, а Блюма Карловна решила, что Волик просто выбежал из комнаты, строго следуя внушаемому принципу "не просить второй раз". Гордая своим педагогическим талантом и дисциплинированностью Революта, она бросилась за ним вдогонку и сунула ему не только рубль на мороженое, а еще и на кино кучу денег. Этот эпизод научил его тому, что уходя из мира, надо все-таки хлопнуть дверь, иначе твоему уходу никто не поверит; и во-вторых, мы можем замышлять одно, а совершаем при этом совершенно другое.

* * *

"Бедный Волик, не заболел ли ты?" скользил снова по чернильным строчкам Револют, прихлебывая суп из кастрюльки. "Уже который месяц нет от тебя писем, а ты ведь единственный, кто напоминает мне, зачем я еще живу на свете. Дошли слухи, что у вас снег бывает зимой, не послать ли тебе зимнюю шапку, но ты ее все равно выкинешь: знаю твою нелюбовь к головным уборам. В самый мороз ходил всегда без шапки, потому наверное и облысел не по возрасту. А лекарства вообще выкидывал: помнишь ли ты как я тебя выхаживала от тяжелой формы ангины, а оказалось, ты все таблетки совал под матрац, чтобы дольше болеть и не ходить в школу. Волик, Волик, не промочи ноги, целы ли еще те туфли, которые я тебе подарила перед отъездом, если нет, я вышлю новую пару". Револют покосился на драный башмак фабрики "Большевичка", брошенный посреди комнаты. "Вчера вся страна отмечала день 8 марта, в гости ко мне приходил Наум

Александрович, заведующий нашим ортопедическим отделением, принес мне в подарок к международному женскому дню букет мимоз. Я, конечно, поставила букет в вазу, но как только он ушел, сразу выбросила в мусоропровод. Уже который год он приносит мне к 8 марта мимозы, и всякий раз забывает, что у меня на них аллергия из-за астмы. Но с годами стало мне казаться, что вовсе не забывает он про мою астму, а делает это, хоть и не из зловредных целей, но из воспитательных: он считает, что мимозы незаменимое украшение и символ 8 марта, и что астма должна пройти, потому что она этому символу противоречит, и спорить с ним бесполезно. Аллергия, говорит он, явление нервов, и пока я не приму, мол, мимозу как символ 8 марта у себя в сердце, будут приступы астмы. Остается мне их терпеливо принимать, эти мимозы, а потом, по секрету от него, выбрасывать и говорить, что, мол, завяли твои мимозы, Наум Александрович! Но если б только астма: совсем стало плохо с позвоночником, нагнусь и не могу разогнуться. У меня, ты знаешь, эта боль в спине стала "тождественна", как ты говоришь, всей моей жизни без тебя, и все кажется, если тебя увижу, то боль и кончится, хотя Наум Александрович настаивает на физиотерапии. Но какая тут физиотерапия, когда живу я от часа до часу в ожидании, что случится чудо и все разрешится, и от этого вся жизнь превратилась в боль и поскорей бы кончилось все это. Когда вчера пришел Наум Александрович, решила испечь в духовке кекс заварной, нагнулась и не смогла разогнуться, пришлось ему делать растирание. Он меня, Волик, совсем задразнил: называет меня амебой и распустехой! Он говорит, что надо заниматься лечебной гимнастикой для престарелых и жить, сквозь годы мчась, здороветь, молодея телом, поскольку у нас иная жизнь и другой напев. Он говорит, что я боюсь прямо глядеть в лицо действительности и специально притворяюсь, что теряю очки: чтобы, мол, не замечать перемен, которые произошли в нашем обществе после разоблачения культа личности. И еще говорят, что боли мои в позвоночнике от того, что позвонки заросли по-

дагрической солью, мой позвоночник, говорит, превращается в соляной столб от того, что я оглядываюсь на содом времен культа личности, не замечая генеральную линию партии. И все он мне на это намекает!

Последнее время стал прятать от меня папиросы "Беломор": курить, говорит, вообще вредно, а женщина с папиросой напоминает ему Фаню Каплан, убийцу Ленина. И сказать такое мне, старой большевичке! Мы все курили папиросы в то волнующее время и погибли вовсе не от курения. Тем более, при моем скачущем давлении курение помогает: я считаю, как врач, что постоянный вдох и выдох, интенсивные при курении, уравнивают кровяное давление при меняющемся постоянно у нас давлении атмосферного столба. Так что совершенно неуместные сравнения стал он себе позволять. И знаешь, куда он запрятал в этот раз пачку "Беломора"? За фотографию моей мамы, твоей бабушки Берты. Говорила ли я тебе, что когда твоих родителей увезли в "командировку" (понимаешь?), она, старая суфражистка и революционерка, не выдержала и бросилась под поезд. На этой неделе, в выходной день, ездила на Ваганьковское кладбище, положить цветы на ее могилу, денег нет до сих пор поставить ей скромный памятник. Милый Волик, совсем я из ума выжила: приехала на Ваганьковское и никак не могла отыскать ее могилу. Целый день ходила, жарко было, совсем с ног сбилась, и отыскала только ночью, когда уже совсем стемнело, да и то до сих пор не уверена: та ли могила или чья-то еще. Трудно, конечно, отличить: нет памятника на могиле, и еще очки забыла, совсем слепая, но ведь это не оправдание; ведь помню я по числу дорожек, налево, направо, а потом четвертая налево, с правой стороны. Ищу, повторяю, а сама уже не уверена, раз сто проходила мимо и никак не узнаю места, как бес попутал, не советскому врачу такое говорить. Так и положила в темноте цветы на чужую могилу. Может, из-за забытых очков, но все кладбище по-другому выглядело. Вот сидела у чужой наверное могильной ограды и все одну мамину фразу вспоминала.

Это, кажется, в Кратово было, отец, до того, как в Америку уехал, работал там в аптеке, при аптеке была маленькая, помню, комната, рядом со складом. Смутно у меня до сих пор сохранился в памяти запах лекарств. Туда часто приезжали мои друзья по кружку марксистов и папа к обеду обычно приготавливал смесь, которую он называл "микстум-пикстум-композитум": смесь спирта и разных эссенций, крепкое и сладкое. Я настоящим мальчишкой была, бегала на реку с деревенскими парнями, а мама часто говорила: "Смотри, утонешь – домой не возвращайся!" И я эти слова вспоминала, сидя на Ваганьковском и про тебя думала. А рассказала это Науму Александровичу, а он, как всегда: "Что это значит: утонешь – домой не возвращайся?! Это нелогично и навевает пессимизм: домой никогда не поздно!", так и сказал. Я же знаю, что можно так, Волик, утонуть, что никогда уже домой не вернешься. Но разве ему это объяснишь? Мы про тебя часто говорим, но он всегда раздражается: "Здесь", – говорит, – "все протестовал и ничего не делал, и туда поехал тем же заниматься". И что ты, мол, мое прошлое, а надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним "микстум-пикстум-композитум", и что надо брать пример с великих гуманистов прошлого, таких, как Анатолий Франс. И мне на это трудно возразить, потому что это единственный прогрессивный писатель, которого мы оба уважаем, и часто читаем его вслух за чаем. Не устаю восхищаться его героическими протестами против всего состряпанного империалистическими кругами. Старайся брать с него пример. Наум Александрович утверждает, что, по его точным сведениям, перед смертью этот великий гуманист вызвал к себе не лицемерного священника, а представителя французской коммунистической партии, и попросил его посмертно **СЧИТАТЬ СЕБЯ КОММУНИСТОМ**. Посылаю тебе полное собрание его сочинений, ведь у вас там по-русски его, наверное, не достать. Может, когда-нибудь побываешь в Париже, положи на его гробницу в Пантеоне от меня букет цветов. Хотя ты ведь всегда больше любил глупые детские стишки, про какого-то там Тиш-

ку-парнишку, который из Бембы ушел пешком в Дрембу, а потом дорогу потерял, сейчас уже не помню, может он ушел из Дрембы в Бембу? Все ночью просил меня почтить, когда просыпался вдруг. Милый Волик, ты один у меня тепедь, а твой племянник Тимур, хоть и был моим внуком, всегда был от меня далеко, всегда забирался высоко, на свои церкви и колокольни, все реставрировал то, к чему нет возврата в нынешней политической ситуации, и вот слетел и убили с высоты. Куда он лез все время? В больнице он бредил, говорил про тебя, спрашивал: "Ведь на три дня он может приехать? На три дня, напишите ему". Целую тебя, твоя тетка Блюма".

Они не имели право шантажировать его своими слезами. Они, то есть близкие. Он ведь знал, по опыту тюремной жизни, что лучше не получать писем с воли вообще: от всякого письма тебя трясло — от невозможности вернуться туда, куда возврата уж нету, а когда вернешься, себя не узнаешь. Он не заводил архива, и не трясся над каждой весточкой. Нет, написав короткий и сухой ответ, изложив свои дневные маршруты и цены на помидоры, как будто отвечая на запрос административного надзора с пожизненно-условным сроком, он тут же уничтожал почтовое отправление, полученное из Москвы: рвал на мелкие кусочки, сжигал и пепел перемешивал. Хранить собственную переписку он отучился на пересылках и в лагере, глядя на доходяг, складывающих в самодельную мешковину все открытки и письма и записочки, полученные с воли; годами копивших эти свидетельства своей потусторонней жизни. Перебирали их в свободную минуту перед отбоем, перелистывали, слюнявили, касались губами, дышали и водили пальцами по строкам и закапывали слезами. До первой пересылки, когда письма шмонали, лезли в душу, а потом отбирали с долгой истерикой, царапаньем, матом и последующим карцером. Нет, эта форма близости знала лишь унижения, и всякий раз, порвав письмо, Револьт чувствовал облегчение.

Родственников он не любил, близости же сторонился.

Родственники всегда навязывали чувство вины, каждый раз, когда тебе нужно было идти в последний и решительный бой. Запихивали в душегубку, где отравляющий газ носит название Совесть: "Ты должен умереть вместе со мной, потому что если ты меня бросишь, тебя будет мучить сознание того, что если бы ты меня не бросил, я бы не умер, даже зная, что все мы умрем". У них была надежда на чудо, чудо обхода истины и гибели уловками совести. И эту душегубку они хотели расширить за рубежи железного занавеса, периодически напоминая о себе своими письмами. Не понимая, что тот Револют, который оставил их, уже не тот, кто отвечает им на письма, чтобы забыть об этих письмах сразу же после ответа на них, и стать вновь другим человеком, идущим на прорыв через колючие рубежи абсолютной свободы. Он полагал, что свобода — у него в голове, и стук чужого сердца за стеной мешает мыслить.

* * *

Ударом ниже пояса в письме тетки Блюмы было упоминание последних слов племянника Тимура, сказанных в бреду: "Но ведь на три дня он может приехать?!" Если тетка подогревала чувство вины на расстоянии путем подробного списка собственных бед, которым не помочь, то Тимур выедал револютову душу стоической нейтральностью, как будто разгадав Революта: разгадав, что нельзя ввязываться с Револютом в идеологический спор, что на всякую идею у того есть мат-ответ. Тимур выводил из себя тем, что всем своим видом и словом и делом демонстрировал фиктивность револютовых демонстраций "в знак протеста против"; он умело создавал впечатление, что ничего не произошло, не происходит, и происходить не будет, как будто на свете воли нет, но есть покой и доля, которая есть свыше данная привычка. Что значит другое поколение! Разница была всего в одну социалистическую пятилетку, но, согласно теории Революта, одно поколение — это те, чьи родственники, или же сами они были арестованы в

один год, а Тимур выпадал из этой этапной колеи. Ребенком Тимур был активнее; надо было всегда быть начеку: подкрадется и порвет не только логические выводы из предварительного заключения, но и все письма в высшие инстанции; у него с детства была склонность рвать бумажки. Револьт воспитывал в нем чувство воли, когда Тимуру не было еще и года. Оставив его наедине с Револьтом, тетка Блюма, возвратившись домой, заставляла Тимура орущим во всю глотку, и на ее укоры Револьт отвечал: "А пусть сначала научится письменно излагать свои мысли, а потом протестует!" Детей Револьт игнорировал, как, впрочем, не замечал никого, кроме своих единомышленников.

В револьтовых глазах племянник так и не дорос до звания единомышленника. Но племянник был, все же, тем редким лицом вне списка единомышленников, которое Револьт узнавал, случайно столкнувшись на улице. Привычка отвечать на вопросы следователя "не знаю, не помню" во время допросов перешла со страниц протокола в жизнь. И может быть потому, что Тимур выпадал из револьтова протокольного прошлого и настоящего, он был тем редким человеком, которого Револьт всегда узнавал с первого взгляда в случайных встречах на молчаливых улицах и в шумных домах. Но всякий раз не знал, что сказать, кроме: "Ну как, все реставрируем царизм?" и скалился своей беззубой улыбкой. Тимур работал в реставрационных мастерских: каждое лето ему приходилось разъезжать по всей стране, где он производил обмеры церквей, подлежащих реставрации. Надо было карабкаться по строительным лесам до самой маковки, сжимая в руках складной метр и обмерочные планы с чертежами, и под облаками заносить цифры размеров по особым шкалам в план. Тимур всегда жаловался на боязнь высоты и головокружение, и ему приходилось часами искать по окрестным деревням мальчишек-добровольцев, готовых залезть на церковь вместо него и, зазубрив по пунктам нужные обмеры, сообщить ему сверху цифры. Возвращался он из этих летних командировок пыльный и загоревший, но странно измученный, как

будто высохший. Зимние месяцы проходили в реставрационной конторе в подвалах Донского монастыря над Москвой-рекой: целые дни приходилось участвовать в распитии портвейна с сотрудниками, с обеденного перерыва до самого вечера, и поэтому в тех редких случаях, когда Тимур появлялся в доме Революта, он просиживал все разговоры, прислонясь спиной к шкафу у стола, и к концу вечера его неизбежно находили спящим и отводили на кушетку. "Опять назюзюкался", говорил Тимур огорченно и беспомощно, просыпаясь однако, как часы, к последнему поезду метро, и всегда уходил, несмотря на уговоры остаться переночевать. "Может останешься? завтра с утра кофейку?" — деланно нейтрально спрашивал Револют. "Надо мне с тобой обмозговать одно письмецо в высшие инстанции в связи с гонениями на молитвенные собрания хлыстов, а?", безнадежно уговаривал он Тимура, заранее зная, что тот отрицательно покачает головой и пробурчит-пробормочет: "Это не для меня. Не по моему ведомству. К тому же завтра надо с утра в контору", и, прижавшись лбом к револютову плечу вместо прощанья, тихонько закрывал за собой входную дверь. "Обломов ты, тюфяк!" — кричал ему Револют с балкона, глядя всякий раз, как Тимур пробирается в потемках к автобусной остановке, прижимаясь к стенам домов от дождя, туда, где на углу раскачивалась лампочка газетного киоска. Сверху, с блинчиком кепки за затылке, он казался особенно пришибленным.

Впрочем, это сейчас, давая показания пост-фактум, пытаешься обелить соучастника, а тогда, в той жизни, тимуровская хорошо вооруженная скромность и твердо обеспеченное в себе сомнение вызывали ничем в сущности не обоснованный, но справедливый гнев трудящихся по наблюдению за соблюдением чужих прав. "Чего ты молчишь? Может, ты все-таки скажешь что-нибудь вопреки тому, чего ты знать не желаешь?" — не выдерживал Револют, разгуливая вокруг шумного стола. Но Тимур в ответ сначала оглядывался, не понимая, к кому, собственно, обращаются, а потом безответно мигал белесыми ресницами. Этот мигаю-

щий взгляд спокойных глаз сводил на нет все противоречия и рекриминации, которые нагромождала револютова юрисдикция. Этот взгляд заставлял подозревать, что на свете есть некая другая жизнь, другая логика, в которой концепция отделения Партии от Государства просто не существовала, поскольку не было ни партии, ни государства. Как будто Тимур мыслил на другом языке, где не было слов для прокрустово-прустианских поисков утраченной справедливости, поисков, при которых несправедливость ставилась в один ряд с "они и ООН". И понемногу Револют стал его побаиваться. Если бы Тимур был чуть помладше, он, может быть, не накопил бы еще того страдания на церковной макушке-маковке, которое делает человека неуязвимым к чужим логическим судорогам; но он, с одной стороны, уже вышел из того возраста, когда можно быть лишь слушающими глазами; а с другой стороны, был слишком мягок и уклончив, чтобы начать противоречить и опровергать револютову диалектику: Тимур не позволял ни одним словом прицепиться к тому, что говорится, и тем самым не давал втянуть себя в старый спор. И с какого-то момента тимурова сочувствующая полубессмысленная улыбка стала вызывать у Революта раздражение: как вызывает раздражение женщина, с которой поначалу завязался бурный флирт, а потом ничего не вышло, и ясно, что уже никогда ничего не выйдет, а она все ходит и ходит, считая, что ее принимают на неких иных основаниях, когда она — на самом деле — совершенно не к месту, но с ней нужно считаться и ей улыбаться. И вот однажды Револют окончательно махнул рукой на Тимура, рассчитал его в уме, сделал соответствующие антипартийные выводы и, плюнув через левое плечо, стал смотреть на него сквозь пальцы. Что же касается родственной привязанности, то она срабатывала лишь наедине и в виде безразличного вопроса: "ну, как, реставрируем царизм?" В шумной же компании Револют искал случая его задеть и сказать то, чего не мог позволить себе с глазу на глаз. В большой компании это выходило в виде двусмысленной шутки, сказанной вообще, хотя и по

личному поводу, но к Тимуру, казалось бы, не обращенной. И лишь однажды, когда все, казалось, катится по маслу черт знает куда, Тимур вдруг вздохнул и сказал, после очередной революционной булавки, совсем вроде не к месту: "Как же так получается, что если тебе плохо, но ты не жалуешься, то тебя никто не пожалеет? и если ты молчишь, то тебя никто не услышит? а когда ты умрешь, то сам никогда не услышишь, кто о тебе плачет?" — и Револют не знал, что сказать. И, как со всеми близкими людьми, своей любовью замутняющими ясность принятого для себя решения, Револют перед отъездом приложил старания, чтобы поссориться и с Тимуром. Сделать это было нетрудно, поскольку перед отъездом разговор для Революта превратился лишь в повод повторять свои давно отрететированные экспромты: ухватиться за слово и пуститься, как кошка с банкой на хвосте, в теоретический разгром собеседника, заглушая самого себя собственными словами.

* * *

В очередной раз того нескончаемого вечера перед отъездом, когда он сидел на корточках и рвал на кусочки собственное прошлое, а кругом ходили ставшие чужими единомышленники, Револют поднял глаза и увидел стоявшего перед ним Тимура. И поскольку Тимур глядел на него сверху вниз, Револют не смущался униженности собственных речей, обращенных снизу вверх:

"Только ты не смотри на меня взглядом своих бессловесных друзей, как ты называешь своих приятелей. Ты же остаешься с ними: с людьми лаяться, с волками по-человечьи выть", взглянул Револют вверх, как всякий, сидящий снизу, и Каштанка тому свидетель, поскольку стала прислушиваться: ей всегда казалось, что речь идет именно о ней.

"Но я не делю человечество на собак и волков", пробормотал Тимур.

"Тогда следи за собственной терминологией. Кого

же ты, интересно, имеешь в виду под "бессловесными друзьями?" Бессловесный друг — это, как известно, собака. Я не знаю, к собакам или волкам ты причисляешь самого себя, но на всякий случай, не забудь сделать прививку от бешенства, или, там, от чумки. Впрочем, нет, забыл: тебе со своими бессловесными друзьями необходима прививка только от чумки, потому что в качестве человека ты уже получил свою порцию укулов против бешенства. Ты помнишь? Ты помнишь, как нас укусила бешеная собака? Он не помнит. Я знаю, почему он не помнит", обращался Револют уже как будто ко всем, поскольку собирался сказать нечто неприятное и несправедливое именно Тимуру: "Неужели он не помнит бешеной собаки, соседской таксы профессора Прока с нашей лестничной площадки? Конечно он не помнит, потому что я знаю, как с собаками обращаться, а он знает только, как обращаться со своими бессловесными друзьями, вот его соседская такса и покусала, и он это постарался забыть. Но укулы от бешенства делали нам обоим. Не так ли? Потому что в Москве вдруг распространилась среди собак эпидемия бешенства в жутких масштабах. Естественно, во всех газетах призывали население к бдительности и инструктировали, кого не трогать, а кого сразу хватать, если без ошейника, и на мыло. Как я сейчас понимаю, главным образом для того, чтобы отвлечь трудящихся от плохой доставки продуктов населению. Кроме того, это складно увязывалось с делом врачей, магией отравления и доведением пролетариата до бешенства наемниками империализма в белых халатах. Но не в этом дело. Дело в том, что среди населения поднялась жуткая паника. Все стали писать доносы на соседских собак, путая при этом, кто, собственно, бродячий: сосед или его пес. Каштанка, между прочим, уцелела благодаря лишь совестливости нашего соседа-алкаша. Все кругом обсуждали водяную болезнь, как у человека начинаются судороги от любого дуновения ветра и, главное, даже от стука в дверь. Наш сосед по коммуналке выбежал раз утром в коридор и кричит: вчера, мол, напился, с опохмелки лежу в крова-

ти, в голове гудит, вдруг слышу топот, ну прямо по мозгам, оглянулся и вижу, ваша Каштанка по коридору ходит; я ей ору: "не топай!", а потом думаю, а вдруг у меня от бешенства повышенная чувствительность, и припоминаю, что я вчера по пьянке какую-то суку в парадном тискал. О чем я, собственно?"

"Про уколы в живот", напомнил Тимур нехотя.

"Ну да, уколы. Я же их не заслужил, я был вне подозрений и еще не дорос до почетного звания врага народа. Но кое-кто из соседей застукал Тимура на том, как его тыпнула такса с нашей площадки. Донесли и на таксу и на Тимура, а в результате и вся наша семейка попала в черный список: по шестьдесят уколов от бешенства каждому из нас в живот. К каждому уколу тетя Блюма покупала кучу шоколада: чтобы как только кто из нас закричит, сразу в рот шоколад. А на последнем уколе мы поспорили: тот, кто стерпит укол и не проронит ни звука, тому весь шоколад. Я закусил губы, сжал зубы и не издал ни звука. Сестра вынимает иглу шприца, поворачивается к Тимур, и тут мы видим такую картину: он обхватил своими детскими ручонками огромную плитку шоколада, самую большую из всех, и пытается одним приемом засунуть ее себе в рот. Представляете? У него глаза на лоб, шоколад уже из ушей лезет, а он все пихает плитку себе в рот, сейчас лопнет — чтобы мне не досталось ни кусочка!"

"Но ведь это неправда", вдруг жестко проговорил Тимур в тишине смутившей всех паузы. "Это ведь не меня искусала эта самая такса, а именно тебя, и именно мне написали уколы из-за тебя, и это ведь ты, а не я пытался одним глотком проглотить всю плитку шоколада на нас двоих — ты, потому что я вообще не кричал во время уколов. Я вообще никогда не кричу от боли. Зачем ты все перевираешь?" И Револют вдруг покраснел и даже поднялся с корточек. Теперь их взгляды были на одной высоте.

"Для истины", отрезал Револют. "Я перевираю для истины. Мне важны сами показания и слова протокола, а от какого лица все это говорится, мне плевать. Рассказал бы

сам, а то все время молчишь в платочек и мне приходится рассказывать про тебя от своего имени. И во время некоторых судебных процессов говорить подобную ложь — в этом и есть правда. А то, что ты этого не понимаешь и пытаешься сейчас меня в этом уличить, является уколom ниже пояса. Потому что именно ты не хочешь отказаться от своего шоколада: тебе все кажется, что детство продолжается. Ты никогда не хотел признать, что все мы покусаны одной и той же бешеной собакой”. Но как ни изощрялся Револют в логическом остроумии, слова ”зачем ты все перевираешь?” продолжали стучать в висках, как эхо от выстрела, выстрела холостого, но сделанного племянником впервые — в сторону Революта.

* * *

Этот выстрел так и не стал дуэльным. Они так и не поссорились. Или Тимур сделал вид, что ссоры никакой не было: он писал регулярно, извещая о подробностях своего однообразного быта, которого Револют, прожив с Тимуром бок о бок в одном городе, никогда толком не знал. Но все чаще в своих письмах Тимур превращался в некоего другого, тайно спорящего с Револютом человека, гораздо старше своих лет; писал он не так, как говорил, а думал, видно, не то, что писал:

”Я продолжаю пребывать среди своих бессловесных друзей. Легче, наверное, находиться в постоянном ожидании, легче носить за собой двери или, как ты, опоясаться и заручиться чужой новизной. Вчера посещал одну дружескую пасхальную вечеринку. Ели пасхальный кекс ”Советский”, пил пасхальное, конкурирующее с вашим иерусалимским, ”Алжирское”. Как я тоскую по блестящим людям! Среди каких-то ватных чучел живу. Во время последней реставрационной командировки по обмерам разговаривал с одним старичком в монастыре; старообрядец, иконовед, говорит ”иконки, лики”, рубит дрова и возит их на детских санках, старается подальше потаскать, увеличить

путь. А я вижу теперешнего отшельника как мотылька, то есть вовсе не затворника в монастыре, дрова таскающего, а наоборот, как человека, который все приемлет — и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду, но прикрывается мундиром и службой в большом городе. Об этом я твердил всю ночь, и всем, по-моему, порядком надоел. А под утро, когда выходили из гостей, обнаружился обозначившийся на рассвете гипсовый барельеф на арке: пятиконечная звезда, но пятым отбитым концом вниз. Под этой звездой с обломанным острием вниз я и живу. На почетном снегу, у кочующих стен. На пути к метро за нами увязался пьяный и всю дорогу орал нам в спину: "Как же мне, рябине, к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и ломаться". Это какой-то припев к моему неотъезду. Ловушка не в том, что я не могу уехать, а в том, что я уже уехал. Человек, перед которым однажды встал вопрос об отъезде, уже уехавший. Чужбина — это необязательность всех связей, кроме личных; а значит я — на чужбине. В этих личных связях — капкан спасения, но даже они, или именно они рвутся и беспощадно сжигаются, и их пеплом засыпан мой стол. Выяснилось, что обойма без одного патрона способна только ржаветь. А когда в обойме и остался-то всего один патрон, впору пускать его себе в лоб. Каждый последующий день не продолжает предыдущий, но уводит от него; но лишь поэтому жизнь смеет продолжаться, иначе можно сойти с ума. У тебя же каждый день был новой идеологической загадкой. Когда ты успел зачислить себя в офицеры-вербовщики, а меня в завербованные клопы? Когда и какой кровью я питаюсь, и как ты мог кричать на меня, помнишь? "Жилец решил переселиться в другой номер гостиницы, а клоп из матраца кричит: изменник, предатель!" Как ты мог! Твоя кровь может быть и шестиконечная, но я остаюсь стоять под этой аркой, под этой пресловутой звездой: она тоже шестиконечная, но только у нее обрублен один небесный кончик. Меня теперь интересует, как человек уживается со своей судьбой. Влезает в тесную рубашку, и не задохнется и суставы не выворачивает".

Нет, он не успел проверить, как человек уживается с собственной судьбой в смиренной рубашке: однажды в Иерусалим пришло письмо от тетушки с извещением, что Тимур упал, обмеряя очередную церковную колокольню, и через сутки скончался в больнице. Письмо, которое я сейчас процитировал, пришло уже после его смерти, и, оставшись неотвеченным, продолжало храниться, дожидаясь okazji на тот свет. Узнав о смерти племянника, Револют сначала почувствовал облегчение: это избавляло его от необходимости регулярно отправлять по этому адресу иерусалимские энциклики. Он забыл, что со времени его отъезда прошли годы, что Тимур, этот грустный мальчик, стал постаревшим и полубольным, а он все его громил и разносил в пух и прах, обвиняя в двурушничестве и нерешительности: если, мол, так предан, чего же ты неспособен принести себя в жертву и приехать? Но в действительности он и не думал о его приезде, это был мета-логический разгром, сам же адресат превратился лишь в повод для отправителя произносить те слова, которые больше некому было сказать. Да и кому, право? Люди, которых он видел из окна, ходили в черных сюртуках и в черных шляпах под самым ярким на свете солнцем меж грустных кипарисов с вечной книгой в руках. И у них подобных вопросов о том, как ты оказался в узком промежутке, не возникало. Люди же, с которыми он встречался, задавались одним, в сущности, вопросом: правы ли люди, которые уже одели черные сюртуки, черные шляпы и белые чулки, или неправы? И поэтому, когда от племянника перестали приходить письма, Револют вдруг обнаружил, что тот был его единственным серьезным собеседником. Остальные предпочитают афоризмы: "Как бы мне, рябине, к дубу перебраться", не понимая, что вся неразрешимость вопроса не в том, как перебраться, а в том, с кем ты себя отождествляешь: с рябиной или с дубом?

ТЕТРАДЬ № 5

Так рассуждал Револют, обращаясь к Каштанке. Суп остыл, а подогреть его было лень, и вообще важен был сам факт наличия супа, а не то, что ты его ешь. На письме тетки Блюмы Карловны остался выжженный круг от поставленной на письмо кастрюльки. Надо было как можно быстрее избавиться от этих улик прошлого, то есть побыстрее разорвать на клочки тетушкино письмо и сжечь, пепел перемешивая. Но для этого надо было на него ответить, а чтобы ответить, надо было, чтобы не попасть впросак, вскрыть и другое письмо, мозолящее глаза околышком авиапочты: вдруг новые показания опровергнут доводы прокурора? "Не могу избавиться от чувства вины перед заслуженной сотрудницей ортопедического отделения нашей поликлиники", стал читать Револют, распечатав конверт и обращаясь к единственной собеседнице, Каштанке, которая в этот момент доедала суп. "Блюма Карловна всю свою нелегкую трудовую жизнь была горячо предана..." почему "была"? — задумался Револют, и тут Каштанка, забыв про суп, заскулила. Все письмо было написано в прошедшем времени и представляло собой лично написанный Наумом Александровичем некролог револютовой тете. Этот некролог он подписал по привычке своим полным званием отдела, но написано оно было в какой-то потаенной спешке, когда забываешь, кому пишешь — любовнице или государственному прокурору, и брошено это письмо в почтовый ящик с оглядкой, наверное, мимо щели, потому что, видно, упало на асфальт и на нем был отпечаток чужого сапога, а обратного адреса не было выставлено. Револют все

еще машинально читал, что скончалась Блюма Карловна от кровоизлияния в мозг. Кровоизлияние наступило, когда она упала, сильно ударившись головой об лед. Об лед она ударилась, когда пыталась догнать отъезжавший от остановки автобус и поскользнулась, потому что была гололедица, а дворники не скололи вовремя лед, а только присыпали его солью с утра, но как раз около остановки осталась тонкая корочка на шоссе. И на письме, как будто следами от этого подтаявшего ледка, были пятна от слез Наума Александровича. Револют отвернулся к окну, чтобы не видеть чужих слез.

Этот вид из окна перед закатом, когда исчезают люди и остаются пустые холмы с надгробьями домов, памятники по собственным поминкам, и между ними ходят тени, потому что когда один луч пробегает сквозь жилые надгробья, его пересекает громада другого кургана, как тень на похоронах от невидимых свечей. И Револют видел между ними бегущую Блюму Карловну, вот она поскользнулась, дернулась сначала вверх, а потом вниз, ударом головы об лед, и взметнулось драповое пальто, блестящее после сорока лет ежегодной чистки, и облезлая меховая горжетка запуталась вокруг шеи, а ноги дернулись вверх, ноги обутые — во что? — в туфли фабрики "Большевичка", в чем же еще ей быть обутой! Никакой другой обуви она и не думала покупать. Только обувь фабрики "Большевичка": она постоянно указывала на то, что только на "Большевичку" можно всегда целиком и полностью положиться, что туфли этой фабрики служат ей по двадцать лет, и хотя не слишком следуют моде, но зато имеют правильную ортопедическую форму каблука и легкость, что незаменимо при их семейном плоскостопии, а главное — байка прочно хранит тепло, в отличие от этих новейших искусственных прокладок, и при наших морозах в них, как в валенках. Она на них положилась, а они-то и подвели своей скользкой подошвой. Потому что слишком была с ними связана: и дома и на работе, чуть ли не спала в них, когда ночная смена в поликлинике. Да были ли они, собственно, такие

уж надежные? Они ведь не выдержали иерусалимского кремня, те, которые тетка подарила специально перед отъездом: туфли были черные, покрытые лаком и слепили глаз иерусалимским солнцем, выдавая свою устаревшую сущность; они были до анекдота остроконечные, недаром большой палец был всегда натерт. Слава богу, теперь пальцами можно было спокойно шевелить, поскольку туфли наконец порвались к чертовой матери, вспомнил Револьт, и вдруг вздрогнул от взрыва за окном. Взрывы раздавались каждый час: недалеко была расположена меловая каменоломня.

На этой каменоломне он подбирал, прогуливаясь, мелки, чтобы потом крошить их о черную доску на стене, меловой крошкой и пылью измазывая себя с головы до ног и Каштанку до хвоста. И сейчас он, невольно отряхнувшись от этой вечной пыли, обнаружил, что измазан вовсе не мелом. Он обнаружил, что весь в ссадинах, что одна штанина порвана на колене, а другая вся в желтой пыли, что лицо измазано автобусной копотью. Он в тот момент снова потянулся к письму, и отдернул руку: до него, наконец, дошло, что он, собственно говоря, спорил с умершим человеком, спорил с близким на том свете, откуда не ходит почта, но растет заочный открытый счет. Он снова увидел себя в столбе пыли, оседающем после того, как умчался автобус, и в одной руке порванный башмак фабрики "Большевичка", а в другой обертка от книжкой посылки, с приклеившимся письмом тетки. Увидел и ее, мчавшуюся за автобусом, и скользящий каблук фабрики "Большевичка" по льду. И себя, скребущего туфлей той же марки иерусалимский курган, и как эта незнающая изъяна подошва продирается так, что была большевичка, а осталась боль. Как будто автобус, который она так и не догнала, пытался сбить его, Револьта.

"Не усматриваешь ли, Каштанка, в этом странную закономерность?" прищурился Револьт. Я думаю, с этого момента, именно в ту секунду и началось его помешательство (я теперь не сомневаюсь, что это было серьезное помутне-

ние рассудка, все, что произошло позже, но сейчас уже ничем не поможешь). Именно это и учуяла Каштанка, собаки ведь чутки к наводнениям, землетрясениям и другим стихийным бедствиям. Ей явно стало не по себе, потому что повела она себя необычно: никогда не желавшая подчиняться дрессировке, она вдруг заскулила и совершила недоступное: она встала на задние лапы перед Револютом, передние лапы сложила просительно, как человек ладошки перед мусульманской молитвой, и вдруг жалостливо замахала ими, как будто прося и умоляя его успокоиться, пыталась допрыгнуть до его лица и лизнуть в нос. "Не веди себя, как все мои близкие, моя милая", сказал ей Револют, и потом добавил: "Впрочем, я каким-то странным образом вышел из-под их надзора: их просто нет на свете. Впрочем, трудно найти улики моей причастности к их преждевременной смерти. Да и не может быть никаких улик. У меня полное алиби: ведь туфли порвались после того, как тетка скончалась, после, а не до. И тому есть доказательство: достаточно взглянуть на почтовый штемпель на извещении от Наума Александровича; шло его письмо неделю, быстро, но все же неделю. А мои туфли порвались только сегодня, то есть на неделю позже. То есть я не послужил причиной ее смерти, не мое наплевательство на фабрику "Большевичка", а просто-напросто безалаберность и халатность дворников, не посыпавших лед песком с солью. Сначала она скончалась, а потом продрались мои подметки", еще раз повторил он, себя убеждая и себе не доверяя. Ему казалось до этого, что он страдает манией преследования, что за ним гонятся автобусы и в них вместо лиц свиные рыла, а тут выяснилось, что у него не мания преследования, а рассеянный склероз. Или kleптомания: незаметно для самого себя украсть чужую жизнь и бросить ее в первую попавшуюся урну.

* * *

Он уже давно стал отмечать пропажи. И тем был доволен: они пропадали, эти улики собственного прошлого,

и вместе с ними исчезала память о людях, с ними связанных. Отпадали, как яичная скорлупа, отпадали буквально, исчезали из кармана, терялись, портились, рвались — все эти носильные и постельные свидетельства московской канители. Он, в конце концов, и становился другим, сменившим собственную шкуру. И началось это с потери удостоверения новопривывшего. Он так и знал, что потеряет это удостоверение: нельзя не потерять того, что считаешь бессмысленным. Или потерять, или позволить, чтобы у тебя украли. Ищи потом в бюро находок! Но, как человек, уважающий законодательство страны проживания, Револьт посчитал своим долгом заявить о пропаже удостоверения личности, чтобы им не воспользовался враг. Для того, чтобы заверить заявление о пропаже, надо было явиться в мировой суд, на Русском подворье, напротив "красной" (московской патриархии) православной церкви, сияющей белизной среди гигантских сосен. Надо было миновать башню имени русского князя, и обойти железную решетку, где в гигантской яме покоилась археологическая знаменитость местного значения — гигантская, метров в десять колонна, почему-то расколотая посередине, как будто строили храм, и она вдруг расколосась, и ее бросили. Называлась она "пальцем Голиафа". У этого гигантского отрубленного пальца примостилось здание центральной полиции, а за ним и стояло здание мирового суда: с гигантскими галереями, переходами и дверьми без номеров и наименований. Приходилось в каждую стучаться и просовывать голову, убеждаясь, что попал не туда.

Он чуть не опоздал: клятвоприемщик появлялся ровно в полдень, ни минутой раньше, ни минутой позже, заносил в список клятвоприносителей, и если ты опоздал, приходи через неделю в то же время. Перед Револьтом стоял священник в черной рясе с газетой "Наша страна" в руках, а за ним араб с белой бабьей накидкой на голове. Для клятвы всех ввели в специальную клятво-приемницу. Там были двойные двери и сквозь одну из них проглядывала зала с небольшой кафедрой. Когда они уселись на стулья,

подул ветер, и из этой залы стали влетать в комнату ожидания бумажки, чьи-то, наверное, клятвы, и все застыли, решив, что клятвopиeмник — человек-невидимка. Но он появился из противоположной двери, застав всех врасплох, и оказался щедушным нотариусом в очках с железной оправой, в пиджаке и без галстука, с отложным дачным воротом рубашки. Револьт следил, как нотариус, ловко выбрав одну из трех книг левой рукой, предложил ее священнику, и потом, правой рукой с пером наготове, подмахнул его заявление. Потом был араб: он положил руку на другую книгу и тоже в чем-то поклялся. И тогда до Револьта дошло, что ему придется клясться на Библии, на Ветхом завете. Священник на Евангелии, араб на Коране, а ему на Ветхом завете. И какой рукой — правой или левой? Надо было надеть ермолку и говорить одну только правду? И когда подошла его очередь, он не знал: на какую вечную книгу положить свою бrenную ладонь для бессмертной клятвы? Пока не понял, что не может поклясться в истинности своей клятвы ни на одной из клятвopиeмных книг человечества. Клятвopиeмщик никак этого понять не мог, и предлагал для верности пригласить по желанию или раввина, или муэдзина, или священника.

”Так какая же она, ваша совесть?” — спрашивал клятвopиeмщик. ”Своя”, отвечал Револьт. ”Но у нас к настоящему моменту в распоряжении только три святых книги со своей совестью, может быть вы можете поклясться на какой-нибудь четвертой?” Так как под четвертой книгой Револьт понимал уголовный кодекс, клятвopиeмщику пришлось объяснить, что в этой местности Религия не отделена от Государства, и поэтому тут четвертой книги не бывает. Револьтова клятва так и не была заверена, и на всю жизнь он перестал быть новоприбывшим. Револьтонианская позиция не допускала подобного положения вне закона, и Револьт обратился в министерство внутренних дел с требованием вернуть ему советский паспорт, с которым он и въехал в эту страну без четвертой книги. Мотивировал он свое требование тем, что документ новоприбывшего

был выдан взамен советского паспорта, и поскольку не отыскалось ни одной законодательной процедуры для возвращения утерянного документа, логично ему носить в нагрудном кармане то, что было удостоверением его личности до получения утерянного документа. В министерстве иностранных дел его долго убеждали, что советского гражданина он давно лишен секретным постановлением Верховного Совета СССР. Револьт, однако, парировал этот аргумент тем доводом, что, мол, если даже срок действия документа и прекращен решением советского органа, сам документ свидетельствует о том, что он, Револьт, удостоверился в прошлом как Револьт и, следовательно, таковым может идентифицироваться и в будущем, согласно этому советскому паспорту, даже если этот документ и потерял силу как свидетельство гражданской принадлежности. С ним не стали спорить и паспорт вернули. Не с этого ли все началось? В поисках утраченной четвертой книги. Потом еще была потеряна записная книжка с московскими адресами и телефонами: ее подарил коллега по кафедре логики, он позже узнал, кстати, что его арестовали и дальнейшая его судьба неизвестна (он еще тогда удивился: был такой строгий неучастник, такой диссертант и многодум — и вдруг впрягся в ту же телегу, вдруг выбежал на площадь, ушел в глухую несознанку во время следствия).

* * *

И вдруг все это стало выстраиваться в железную цепочку, и в ней невозможно было разобраться без четвертой книги: этот проклятый автобус, лязгнувший дверью, увез с собой уголовно-процессуальный кодекс, и Револьт стоял теперь в облаке пыли, глядя вслед удаляющемуся грохоту своего морально неустойчивого прошлого:

”Не принимаем мы с тобой, Каштанка, следствие за причину, а улики за преступление? Тетушка скончалась до того, как порвалась подошва. Но нельзя забывать и статью об умышленности преступления. И кто знает, ведь как раз

неделю назад, в тот момент, когда она ударялась головой об лед, я помню, подумал, что надо выбросить эти туфли. Они раздражающе блестели. И потом от них на большом пальце волдырь. Я еще, помню, ругнул тетку Блюму за ее подарочек. Когда она ударялась головой об лед”.

Но может быть, ее смерть была как раз началом избавления от этих проклятых туфель? а не наоборот? А что тогда с Тимуром, он же выкинул тимуровские часы ”Победа”, тоже ведь единственная о нем память. Но с часами никакой умышленности не было. Загорая на берегу Мертвого моря, он оставил их на камне, и их затопило приливом. Потом пришлось высушивать их на песке. Нас было много на челне. А когда вернулись на автобусе в Иерусалим, под стеклом были замутненные пятнышки на циферблате. А потом они стали ржаветь. И часы ”Победа” встали. Морская соль выела сначала клеймо и от ”победы” осталось слово ”беда” на циферблате. Конечно, неприятные были часы, марки ”Победа”, с желтоватым циферблатом, и вообще их тиканье напоминало о победе марксизма. И о том, что кто-то будет жить при коммунизме. Есть время советское и антисоветское, и еще время справа налево, и у каждого времени своя часовая мастерская и сидит свой часовщик и следит, идешь ли ты в ногу с его временем. Идешь ли назад к победе рабовладельческого строя, или вперед к поражению коммунизма, или обходишь эти победы справа налево?

”А вдруг у них есть целый штат сомнамбул, с лазером и кагановичем в голове, и они улавливают мои враждебные намерения, а потом направляют этот усиленный зловредный луч в сердца моих близких?” Так начинался сдвиг в голове. За окном стал стучать отбойный молоток, и в лицо ударил луч прожектора: это началась ночная смена на стройке за окном, на далеком расстоянии, в пустыне. Он ведь далеко ушел от намерений, которым приписываются антигосударственные преступления, и вдруг, когда улики этого соучастия уже стерлись в памяти, и жизнь превратилась в королевское бонмо ”Государство — это

Я”, ему вдруг стали приписывать преступные намерения против его же близких. Только потому, что каждый человек, оставшийся там, стал отождествляться со всем враждебным государством, со всей Россией. Стучало ли сердце в грудной клетке или отбойный молоток в пустыне за окном?

Если бы рядом с ним у окна стоял бы сейчас Тимур, подобного вопроса не возникло. Вопрос возник тогда, в Москве, когда они с Тимуром стояли на балконе: Револют и Тимур, а под ними весь Советский Союз. Это было прощальное стояние на балконе восьмого этажа. В те прощальные вечера разговоры на балконе почему-то не учитывались. Каждый помнил свои разговоры в ванной, где запирались, чтобы обсудить будущую петицию или прошедший допрос; разговоры в кухне, где обсуждалось, почему Петя бросил Машу; разговор в большой комнате, о том, что происходит в голове у Политбюро, если голова у Политбюро есть. Но разговоры на балконе сознательно забывались. Он был высоким, этот балкон, и разговор был высоким, а память помнит смешное, а не высокое, если живешь все время по верхам. На балконе не разговаривают, глядя друг другу в глаза или избегая взгляда собеседника. На балконе выискивают истину, глядя в зажженные глаза далеких окон; это не разговор, а двойной монолог, своя исповедь с расчетом, что ее услышат не только тучи над городом. Ты исповедуешься с расчетом на ответную исповедь, на то, что подслушают твоё намерение и, сделав вид, что оно, намерение, не твоё, а его, твой собеседник выдаст то, что боялся сказать самому себе:

”Моя цивилизация была убеждена в том, что советская власть спустилась с другой планеты. Мы были крестоносцами земной свободы. Но когда выяснилось, что если написать Луна, то выйдет все равно Китай, нам нужно уходить. В подполье или на тот свет”, сказал Револют и стрельнул окурком в темноту, где новостройки горели марте-новскими печами. Окурйк летел вниз, плавно завихряясь на резких кругах ветра мартовской оттепели. За спи-

ной, за дверьми балкона кричал чей-то пьяный женский комсомольский голос: "В России нет свободы личности! — А у вас, у вас лично она есть, свобода личности? — Я же вам сказала: нету ее в России! — Так у вас лично ее нет? — Нет! — Теперь вы понимаете, почему ее нет в России?" И потом, солидные хрипловатые мужские голоса из другого угла квартиры, может быть из окошка ванной, которое тоже выходило на балкон: "Ты напрасно так спешишь за Револвтом. С нового года денег за отказ от гражданства брать не будут. Надо будет в зале заседаний Политбюро сделать двойное сальто вперед, и тогда бесплатно отпускают. — Нет, не так: надо будет сделать сальто вперед, а потом двойное сальто назад. — Но Ленин учил нас делать два шага назад, один шаг вперед". Или просто прыжок с балкона. Балкон — это площадка на краю. Револвт поежился от темного холодка, пробежавшего по спине, и хотел уже было сделать шаг назад и разогнать всех этих единомышленников за спиной. Шаг назад, ногой шевельнуть балконную дверь и ты снова в этой диалектике. В самой свободной на свете тюрьме. И снова будет составляться длинная петиция в знак протеста против того железного исторического процесса, который, если в него поверить, создает столько замечательных сочинений в знак протеста. И тут у него мелькнула та мысль, которую он сразу постарался забыть: что все шло к этому разговору на балконе, что ради этого самого последнего разговора вся отъездная шумиха и навёрчивалась. И тут Тимур сказал: "Ты ведь не веришь, что все кончилось. Я в это не верю. Не верю в то, что ты в это можешь поверить. И если я и борюсь с чем-то, то с этой твоей душевной непробиваемостью человека, знающего всю подноготную. А ведь разоблачать-то некого". Это было еще одним укором и ударом ниже пояса: это выбивало табуретку из-под ног. Револвт поглядел тогда на Тимура, забравшего голову в плечи, и понял: понял, что тот никогда не поверит ему и навсегда останется вот так покуривать под ночными тучами над пропастью с шумным разговором за стеклянными дверьми; и что револвтовы прыжки имеют

смысл только до тех пор, пока Тимур стоит молча на балконе; и все это будет длиться до тех пор пока они не прыгнут вместе. Или легко толкнуть плечом, подхватив за ноги, и не ты, а он полетит проверять существование загробной жизни, и не было этого разговора, а только сплошная историческая необходимость, против которой надо и дальше будет протестовать и идти как муравей на гусеницы танка: жить не по лжи, жить не как все. И он и уезжал, чтобы жить не по лжи и быть не как все, кто задыхался от удушья на партсобраниях или от хваткого ветра площадей в знак протеста. Как легко было бы скинуть одного человека с балкона и жизнь снова вернулась бы к своему прекрасному непримиримому противоречию. И в этот момент Тимур повернулся к нему и сказал: "Хочешь, я вместо тебя прыгну?"

* * *

Он выбросил часы с маркой "... беда", когда они перестали тикать; выбросил из окошка, стараясь попасть в мусорный бак на колесиках внизу. Они звякнули, и бак грохочнул, он попал тогда точно. Теперь он плакал, кусая губы, вертя в руках башмак с дырой на подошве с маркой "Боль...", и слезы капали сквозь дырку. Он стал задыхаться, чтобы подавить крик, задыхаться, хрипя, как тетка Блюма, когда у нее был приступ астмы. Она тогда лежала на подушке, с испариной на лбу и желтым лицом, кадык ее подымался и опадал, как будто там ворочалась мышь, а нос был задран; и маленький Револьт с ужасом глядел на ее ноздри, откуда лезли черные волоски. Она сжимала жилистой рукой его руку, и облизывая пересохшие от измученного дыхания губы, просила его сбегать в ночную аптеку за кислородной подушкой. Ему было жутко бежать в эту ночную аптеку за рынком, где дядька с такими же волосатыми ноздрями щипал его за щеку и говорил безобразно и картаво, ломая речь, и Револьт не понимал, что он говорит, но кивал головой и улыбался, а потом, подхватив

подушку под руку, старался побыстрее захлопнуть дверь этого врача-вредителя. Потому что в школе было давно известно, что жена этого аптекаря оказалась народной врагиней и отравительницей, и значит, этого изготовителя ядов тоже скоро заберут куда надо, чтобы стало жить еще лучше, еще веселее. И все спрашивали про тетку: она ведь тоже врач, не так ли? а значит, скрытый вредитель, не так ли? Бежать с подушкой через рынок от фонаря к фонарю, обгоняя собственную тень, было страшно. Подушка была черная, до предела надутая, и колола острыми углами: она была огромная и часто вылетала из рук, и упав, лежала так, как будто сейчас подпрыгнет и вцепится тебе в горло черным крантиком из жесткой резины, от которого отходил черный червяк трубки с раструбом, чтобы прижимать этот раструб к губам и дышать из этой черной подушки отраву. Тетка хватала эту подушку и присасывалась к раструбу, и пальцем показывала: "крантик! крантик открой!" Револьт открывал крантик и глядел, как в свете зеленой лампы начинал двигаться вверх и вниз теткин кадык, когда она всасывала жадно отраву из подушки, а потом, напитавшись, отирала лоб рукой и улыбалась. Подушка валилась на пол, сморщенная, как будто из нее высосали кровь, черная и с пятнами потных рук, и тетя благодарно смотрела на Револьта и тянулась к нему повлажневшим ртом, чтобы поцеловать. Револьт выворачивался от тяжелого запаха лекарств и пота, но она притягивала его за шею, и когда дотрагивалась губами до лба, он бежал в ванную и долго отмывал лоб, потому что ему казалось, что она его заразила высосанным из подушки "сжатым кислородом", непонятным и кислым. И он сжимал пальцы в кулаки, и давал себе клятву в следующий раз, пробегая от фонаря к фонарю, открыть крантик и выпустить весь яд, которым она, напитавшись, наверное отравляла советских трудящихся в поликлинике. Он уже давно подозревал, что тетка врач-вредитель, и по ночам не спал, понимая, что сам тоже обречен: ведь это он и никто другой находился с ней в сообщничестве, носил эти черные подушки с крантиками.

Он уже давно подозревал, что тетка скрывает от него разные тайны; например, куда делись родители? И давно стал отмечать, что тетка что-то делает с книгами: чуть ли не каждый месяц она перебирала библиотеку, усевшись ночью с ножницами в руках. Однажды он вышел из алькова за занавеской, где они спали с Тимуром, и увидел, как тетка сидит на кровати с ножницами в руках и что-то вырезает из огромных одинаковых томов. Наутро, вернувшись из школы, он, встав на табурет, достал эти замусоленные красные книги и, раскрыв их, увидел, что на титульных листах, в одном и том же месте прорезаны квадраты. Красивыми буквами на титульном листе сияли громкие имена, а потом вдруг вырезанный квадрат, через который проглядывал чей-то нос на фотографии с другой страницы. То же самое происходило с фотографиями в толстых красивых изданиях: среди улыбающихся усатых и бородатых людей в кепках и шляпах от некоторых почему-то оставался лишь ус или недорезанное плечо. Дырок в этих книгах становилось все больше с каждым годом, исчезали целые страницы, и только всегда оставались лица Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса. Револьт выяснил, что все эти вырезанные квадратики тетка каждый раз собирает в специальный тазик, и однажды подглядел, как она поднесла спичку к груди этих вырезок и они запылали, освещая ее спутанные после сна седые волосы; морщины у губ, освещенные пламенем, меняли лицо так, как будто она злорадно улыбалась. У Револьта в тот момент не было никаких сомнений, что она злая колдунья; тем более, он заметил: как только тетка вырывала портрет великого человека из отрывного календаря, в газетах сразу же сообщали о том, что они разоблачены как враги народа, и Револьт понимал: это дело тетких рук, ее колдовства над тазиком в кухне. Когда они переехали в Москву, и тетка стала его провожать и встречать из школы, он каждый раз пытался убежать от нее и потеряться. Но она не выпускала его руку из своей; лишь однажды, когда они толкались в булочной, Револьту удалось вырваться и забежать за угол дома. Выскочив сле-

дом из булочной, тетка осматривалась по сторонам, ища его глазами. Но он хорошо укрылся за водосточной трубой. Он следил сквозь щель между водосточной трубой и стеной, как тетка Блюма мечется у входа в булочную, хватая за руки прохожих, а те, не останавливаясь, идут дальше, надвинув шапки-ушанки на глаза. "Волик! Волик!" — кричала тетка. Она бы его никогда не нашла, но он, дурак, неосторожно прикоснулся губами к водосточной трубе, а мороз был жуткий, и губы прилипли, он дернулся и отдрался от трубы с кровью, и заорал благим матом. "Волик! Волик!" — вскрикнула тетка и бросилась к нему, но поскользнулась на раскатанном, прибитом ногами снегу, и ее ноги смешно вздернулись. Револьт хохотал с разодранной губой и с замерзающими на щеках слезами. Но ведь он был несовершеннолетний тогда, он не отвечал за свое преступление или хотя бы за преступное намерение, и вообще срок давности, дети не отвечают за своих отцов, конечно, но отвечает ли человек за свое детство?

* * *

Прожектор со стройки лизнул револьтово лицо, потом выхватил холмистый горизонт, и тени на стенах встали лагерными нарами, а прожектор лагерной вышкой. Я помню этот момент наступления безумия, когда время сдвигается и превращает забытые разговоры в разговор с самим собой в данную секунду, сжатую в вечность. Когда все становится сегодняшним событием. Как будто вечность обретается вместе со сдвигом ума. И если отъезд — это смерть, то небесный часовщик так подвернул время, что в настоящем ты глядишь из прошлого на самого себя мертвого в будущем.

"Но времени тоже нельзя доверять: оно ведь разное по ту и эту стороны железного занавеса. Для меня события там происходят только потому, что я узнаю их из писем: событие наступает только тогда, когда я о нем прочел. Как только порвалась туфля, я получил письмо, вскрыл его, и

тетка сразу скончалась, именно после того, как порвалась туфля, после, а не до. А дату письма можно вообще не принимать во внимание: время тут и здесь разное — наше западное будущее скоро станет советским прошлым. Даты же вообще подделывают почтовые цензоры. Я их разоблачу”, шептал Револют, раздирая беспощадно на куски конверт с голубо-красным околышком, в поисках магического штемпеля с датой. И тут на пол скользнула газетная вырезка, и Каштанка, нюхнув ее и видимо почуяв давно забытую советскую типографскую краску, попятилась, поджав хвост, и зарычала.

”Управление Комитетом Государственной Безопасности г. Москвы при Совете Министров СССР с прискорбием сообщает о смерти старшего следователя УКГБ, полковника СНАРФА Т.А. В ходе усиливающейся волны посягательств империалистических разведок на рубежи нашей родины”, читал Револют, но дальше можно было и не читать. Когда этот Снарф Тихон Анатольевич выбивал ему зубы за разоблачение агента империалистических держав Анатоля Франсуа Тюбо, по кличке Франс, полковник этот был еще младшим лейтенантом, и значит за эти годы реабилитации он далеко продвинулся вверх по лестнице, ведущей в подвалы КГБ. И вот, вчитываясь в этот очередной некролог, Револют захохотал: надо было пройти тюрьму и психбольницу, эмигрировать в страну с языком справа налево, чтобы догадаться, почему он в конце концов выдал в руки органов безопасности именно Анатоля Франса. Просто потому, что, читая фамилию следователя Снарф вдоль и поперек и справа налево на каждом протоколе допроса подсознательно выходил из него неизбежный Франс! снарф! Обратная сторона все той же медали: доносить следователю на него же самого. ”Это газетное сообщение просила передать Вам Блюма Карловна перед своей кончиной: вместо завещания, так и сказала. Не Ваш, Наум Александрович”, — расплылась на полях газетной вырезки авторучка этого вестника дурных новостей. И уже задействованный маниакальной логической цепочкой, мозг Революта

пытался соединить упущенное звено со смертью следователя, и снова он увидел себя на дороге, где валялись развороченные томики великого гуманиста, того, кто позвал к себе перед смертью не священника, а секретаря коммунистической партии, и для кого даже гильотина казалась привилегией для аристократов, и который верил, что Россия — это страна, где свершается то невозможное, которое завершат большевики.

Он облизнул губы и почувствовал во рту вкус крови, как наутро в камере после допроса. Он провел языком во рту, и язык лизнул по вставным железкам. Вставные зубы! Вставная челюсть, которой он еще недавно так гордился, была ключевым звеном в его тюремной цепи. Кто теперь узнает, где могилка твоя? И не поможет справка о реабилитации. Не стало никого на свете; еще вчера были выбитые зубы, как последнее свидетельство того, что у него была другая жизнь; но и эти зубы подменили; был свидетель в лице следователя, но и он исчез с лица земли одновременно с уничтоженным Ан. Франсом и со вставленными челюстями. Что он болтал, поедая жареные сердца? этот, вставляющий искусственные зубы в чужие рты? "Горжусь, что помог восстановить ваше полное страданий прошлое в виде выбитых зубов". И еще передавал привет Анатолию Франсу, и еще просил напомнить о себе тете Блюме, про которую он врал, что она спасла его от флегмоны во время дела врачей. Но тетка никогда не работала зубным врачом, она всегда работала ортопедом, она выправляла кости, а не зубы, она недаром боролась с плоскостопием, а не кривозубием. Прикрылся тетушкой, чтобы навязать бесплатные вставные зубы. Этот проклятый зубодер. И ведь исчез он вдруг, скрылся в Америке, в Новом Свете, Америка — это загробная жизнь, и из этой загробной жизни и появился этот зубодер: сделал свое дело и улетел на тот новый свет. Это была железно спланированная в верхах провокация: заменить его прежние корни дешевыми новыми зубами, чтобы изолировать его, посадить его в изолятор, отделенный от всех, с кем он мог еще спорить и разговаривать. То есть, именно

этого он, Револют, и хотел, чтобы не осталось никакой улики прошлого, чтобы дали наконец покой и волю. Но какой ценой? Именно к таким и приходит доктор Зевулон и, потирая руки, говорит: "ца-ца-ца, сердце не горит, почки не фильтруют, печень не вырабатывает, надо организм очистить от накопившихся ядов, а причина какая: зубки, зубы нужны крепкие для пищеварения". Они всегда угадывают, что твоей душе угодно, они всегда готовы оказать эту услугу, а за ценой разве дело? Сочтемся славою, ведь мы свои же люди: тетка мне, я тебе! я вам племянник, вы же все мне — дяди! Всю вину он берет на себя, а кровью испачкаетесь вы. У вас все лицо будет забрызгано кровью после такой операции. Они только ждут того, чтобы у тебя появилось такое намерение к некому обновлению и новой жизни, которой мешают старые друзья и веселые соседи, и они это намерение быстро претворяют в жизнь. Там за железным занавесом они подглядывают за ним в почтовый цистоскоп, читают его тайные мысли, и подсылают доктора Зевулону. Автобус прошлой жизни лягнул дверьми и проглотил его Священное писание, его Третий завет; завет уголовных законов прошлой жизни умыкнули прямо из рук: не значит ли это, что оставленная Револютом жизнь за кордоном лишилась своего уголовно-процессуального прошлого? Или, наоборот, стала диктовать свои статьи Революту на чужой территории? Если. Если только вся логика была верна, а для этого надо было проверить одно недостающее звено в цепи: последствия того факта, что старые законы уехали в потрепанной дорожной сумке с надписью "Аэрофлот". Не дай мне бог сойти с ума: уж лучше ПОСОХ И СУМА И ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА СОВЕСТИ.

Итак, во всей этой, выстроенной стройным безумием цепочке совпадений, отсутствовало одно звено: судьба Неты в связи с утерянной аэрофлотской сумкой. Револют бросился по коридорчику к телефону, срочно звонить в Париж, сопоставлять и выяснять, но остановился посреди комнаты: телефон Неты вдруг выскочил из головы. точнее, ее парижский телефон выскочил из головы, а вместо

этого накручивались перед глазами цифры московского, уже никому не нужного, несуществующего номера, и казалось, не давали памяти пробиться к цифрам парижского номера. Он бросился назад, достать телефонную книжку, и вспомнил, что телефонная книжка тоже утеряна. Он стал кружить по комнате, пытаясь восстановить телефонное сочетание троек и нулей, как всегда увязывая эти сочетания то ли с рифмовкой, то ли с некой круглой суммой, которая получится, если сложить две крайних цифры, а потом вычесть две средние, то получится — что? или, нет, надо по рифмовке, что-то вроде: "а-вз-во-семь-авва, отче!" а дальше что! — и тут Револют, грязно выругавшись матом (его припадочные приступы грубости), оступившись, наступил на хвост Каштанке. Та взвыла и, заскулив, попятилась к двери. Она не узнавала хозяина.

"Что же ты под ногами путаешься?" гаркнул Револют, а потом, спохватившись, сбавил тон. "Я же не виноват. Мне надо в район Эйфелевой башни, дружок: проверить одно пренеприятное умозаключение. А ты путаешься под ногами. Нам придется на время расстаться: мне необходимо в Париж, а тебе придется в Синай, к дрессировщику. Меня долг зовет. Перезимуешь?" И Револют стал набирать телефонный номер Матраскиных, пока Каштанка, перебравшаяся к окну, выла на прожектор, освещавший далекую стройку в пустыне.

"Он без ног, но дрессировщик выдающийся", тараторил Матраскин, выдавая по телефону адрес ветеринара из Синайской пустыни.

"Как это — безногий?" волновался Револют за судьбу Каштанки. "Как же он без ног дрессирует?"

"А как без рук можно дрессировать?" иронизировал Матраскин. "Вам бы лишь придраться. Все вам не так. У вас что-то за ночь нервы разыгрались. Когда я сказал, что дрессировщик безрукий, вы это приняли как нечто само собой разумеющееся. А когда выяснилось, что он без ног, вы уже отказываетесь доверять человеку. Вы скептик. Может, он вообще глазами дрессирует. Кто это, кстати, за-гипнотизировал ваш язык?"

”Язык?!” переспросил Револют. ”У меня язык пока на месте”.

”Ну да. Но у вас появился иностранный акцент. Вы букву ”тэ” произносите по-английски. Я имею в виду: шепелявите по-русски”.

”Это не язык. Это новые искусственные зубы. Вставные челюсти. Я к ним еще не привык”, проболтался Револют, не понимая, что из его искусственных зубов вырастет новая зубастая сплетня. И мне ничего не остается, как опровергать эту сплетню: с иностранным акцентом.

ТЕТРАДЬ № 6

Дрессировщик оказался с руками, но на костылях, и разъезжал в кресле на колесиках по Синайской пустыне, последней для Революта перевалочной станции на пути к страшной мести. Он расставался со своим единственным и последним серьезным собеседником: Каштанкой. Бедная Каштанка! Она сидела в корзине, накрытая тряпкой, и от подавленности и тошноты даже перестала скулить; лишь иногда, высунув морду из-под тряпки, глядела на Революта взглядом авраамовой жертвы. Накрыть ее тряпкой рекомендовал ветеринар и дрессировщик: когда животное не видит поворотов и спусков, сказал он по телефону, ему легче представить себе, что движения вообще не происходит. Но Каштанку тошнило, и тошнило, как отметил Револют, именно тогда, когда они проезжали мимо очередного святого места: каждое святое место находится или на повороте или на подъеме. Револют лишь прикрывал тряпкой каждый просительный собачий взгляд. Он вообще переменялся за эту ночь: как-то высох, и небритая щетина на щеках оказалась седой и старила его. Осознав за ночь свой страшный дар, он сейчас старался ни о ком и ни о чем не думать, а глядеть в окно, развалившись на широком кожаном сиденье "мерседеса". Оно было гигантским, это такси, восьмиместным нездешним аппаратом, с дизельным урчанием мчавшимся по пейзажу, не слыхавшему даже велосипедного звонка последние несколько тысячелетий. Сначала промелькнули улики переселения народов: посреди картофельного поля росла елка, а посреди апельсинового сада возвышалась береза, которую привила здесь мичу-

ринская ностальгия. Но потом исчезли последние напоминания о ностальгии. И вжатый в огромное сиденье огромного черного мерседеса, нереального среди нереального пейзажа, и глядя в затылок насвистывающему водителю, поглядывающему на дорожные знаки, заброшенные как будто с другой планеты, Револьт подумал, что пустыня — это не песок и камни, а меняющаяся пустота, которую ты можешь заполнить своим зрением, и что однажды проведя здесь 40 лет, уже нельзя смириться ни с какой жизнью, потому что нормальная жизнь будет подавлять глаз своей данностью и закрепленностью — после этого, подчиненного тебе миража пустыни.

Дорога пошла резко вниз, огибая петлей пропасть, бывший кратер, а может, место падения гигантского метеорита. Края пропасти запеклись на солнце, и она не темнела глубиной: впадина высвечивалась одинаково, как будто была покрыта увеличительным стеклом, и можно было шагнуть в нее, ее не заметив. Они выскочили на боковую шоссею, и замелькали пыльные кусты неизвестного происхождения. И вот, за облезлым эвкалиптом заиграли на солнце сияющие пенопластом домики, готовые вспыхнуть от прикосновения солнечного луча, как спичечный коробок. Когда машина, обдав себя пылью, затормозила, из ближнего спичечного коробка выкатилось нечто двурукое на костылях — или просто рябило в глазах от слепящего солнца. Существо в два прыжка оказалось у машины: к автомобильному стеклу приблизилась и повращалась в разные стороны пара черных глаз без зрачков, и пуговкой расплющился нос. Потом, чудом удерживая костыли, безногий рванул дверцу машины, и Револьт вместе с корзиной вывалился наружу на слепящее солнце. Безногий, широко улыбаясь испорченными зубами, поглядывал на него пулеметами глаз. Плечи у него были настолько мощные, что, казалось, держится он не на костылях, а на двух надутых воздушных шарах по бокам стриженной головы:

”А псина где?” захрипел он голосом чревовещателя. ”Мы ее тут быстро абсорбируем. Кружку дадим на

цепочке, миску с ложкой. Пластмассовые, чтоб не вздумала предпринять попытку самоубийства. Быстро привыкнет. Животное в цирке быстро обвыкает. Я-то в цирке родился, в цирке и умру, опилки-навоз. Цирк! Докатились! Я, как в тюрьму попал, в камеру вошел, опилки-навоз, сразу понял: цирк! И здесь тоже опилки на арене из молока с медом. А то бы не выжил. Где ж ты, милый, облевался?" И Револют машинально провел у себя по губам тыльной стороной ладони, но безногий уже подхватил корзину и нес Каштанку к домику из пенопласта, передвигая костыли одними плечами.

"Каштанкой, значит, звать? В Тетку переименуем, будешь у нас Теткой. Что же ты, Тетка, так облевалась?" бормотал он, топая к домику, не оборачиваясь. "Вот так на моих глазах Бухарин облевался, когда парашу выносил. Я ведь с ним тоже сидел. Я со всеми сидел. То да се, первый классик марксизма-ленинизма, а потом как вертухаи устроили ему на каждом шмоне штейн-трапе: а ну, классик, жопу оголи, а ну ноги раздвинь, он сразу перестал скандалить. У меня много таких воспоминаний, а то все кричат: Солженицын, Солженицын! Меня бы спросили. А он ведь что: все узлы вяжет? Узел первый с барахлом, узел второй, опилки-навоз. Я так и сказал: вы мне в дом этого барахла больше не носите!" Он рванул дверь домика, и сразу же, из глубины раздался визгливый крик:

"Аз воздам!" и снова: "Мне отмщение и Аз воздам!"

"Прошу!" сказал безногий, и его костыль взлетел указательно к двери. "А я за вами: после тюрьмы не люблю, чтоб за спиной вертухаи топали".

Сквозь металлические жалюзи, похожие на стиральные доски, пробивались полоски выстиранного голубого неба, но сразу пылились в полутьме, смешиваясь с воздухом, пропитанным запахом опилок и навоза. В углах поблескивали клетки, раздавалось урчание, и надо было продвигаться осторожно, чтобы не попасть в пасть к очередному дрессированному крокодилу.

"Аз воздам! аз воздам!" снова прорезался гортанный

и визгливый крик. "Ну, поприветствовал и хватит", сказал безногий и, подцепив костью тряпку, набросил ее на клетку, в которой, как оказалось, кричал попугай. "Он у меня из произведения Льва Толстого "Анна Каренина" выучил один эпитаф. Из этого произведения я один эпитаф уважаю, а дальше наши дороги расходятся: Толстой к Новому завету устремлен, а мы прежнего держимся, эпитафа, так сказать. Читали библию? Замечательная книга, а? Я спрашиваю, великая книга или не великая? Или отмалчиваться будем?"

"Я стал сомневаться в анонимных протоколах, неподписанных обвиняемым", сказал Револют и подумал, глядя на дрессировщика: "Сейчас убьет".

"Избегаете прямых ответов, опилки-навоз, уклоняетесь, штейн-трапе! Так вас Матраскин рекомендовал! А как фамилия-то? По какому делу сидел? Я, правда, этих новых штейн-трапе с законодательством не понимаю, но слышал в соседнем лагере про одного такого, звали тоже вроде Революта, по-революционному: все к закону жался. Когда мент отсылал его к нормам положенности, он подавал иск. Если иск конфисковался, он тут же письмо прокурору. А письмо прокурору и вскрывать-то не положено по нормам положенности, не то что конфисковать! Так иск попадает в суд, потому что был и исходный номер и входящий, а жалобу нельзя рассмотреть без определения суда. А как только есть определение суда, сразу можно кассационную жалобу подавать! А тогда, как ни крути, заведено судебное дело с номером, и как на волю выйдешь, можно дело затребовать, через прокурорский надзор, и сделать его общественно-гражданским, а не внутри-лагерным, опилки-навоз! Выносить сор из барака — такая была цирковая программа, а? Как же это мы раньше не встретились? Револют! Так это другой разговор; я-то думал, ты из этих всяких математиков, опилки-навоз!" — и он хлопнул Революта по плечу. "Теперь, значит, в Иерусалиме? Я тоже. Ну, не прямо в Иерусалиме, но ведь земля тут вся святая, каждому дому — свою Стену плача! Много всякого дерьма в руко-

водстве, но я так считаю: может, там кто и опилки с навозом, но на них миссия избранного народа, штейн-трапе!" Он развернулся, и через минуту бутылка и помидор, и то и другое потрескавшееся и со щербинками, возникли на столе. Стульями служили ящики из-под консервов. "За закуску прошу пардону, все отдаю животным. Первое дело поддать овса коню, правильно я говорю? Я вот тут, видишь, собачек тренирую, для пограничной службы, аппелистость у них развиваю, чтоб рубежи нашей родины на замке были. А пусть послужат, а мы вот выпьем настоечки, моего изготовления, опилки-навоз!" и он разделил помидор. Вместо вилки была предложена иголка из-под шприца, гигантских размеров, видимо для прививки против лошадиного крупа. "А склянки-то, скляночки, ах забыл!" вдруг всполошился безногий, уже потянувшись к лекарственной бутылке черного цвета с самогоном.

"Да ничего, может, мы так?" нелепо заскромничал Револьт.

"Это как это — так? Только не в моем доме. У меня первое дело гости. Гостеприимство мой закон. А ну-ка вот", и пошуровав рядом со столом, он вытащил пробирку, подернутую следами каких-то анализов. "А я так, из горлышка. Лагерная привычка. Ну? На ковер, опилки-навоз!"

Жидкость запершила в горле, шибанула в глаза и отдалась в желудке смесью опилок и навоза, в висках потяжелело, кровь прилила к лицу, и полуослепший, Револьт потянулся к своей половине помидора. Потом, как будто из бездны, на него снова уставились пулеметные глаза безногого. Эти глаза были как странное наказание за то, что он решил избавиться от бессловесного друга:

"Ну, как пошла, коверная? Ничего настоечка, а? Семейный рецепт: из опилок гоню. Мои родители, французской хоть и закваски, а как в Россию попали, сразу догадались: как гастроль кончили, сразу все опилки с арены — и самогон гнать! А здесь с опилками — туго. Это я сегодня, по случаю гостя, одно деревце на опилки изрубил. А так

ведь только по благу: опилок на животных не хватает. Не растет дерево. А растет — тени не дает. Разве опилки будут качественные, если дерево тени не дает, когда мягкости в сердцевине нет! Продукт должен быть не только натуральный, но и для желудка привычный, а тут огурца малосолевого не достанешь, чего об опилках говорить! Не признаю я здешние их оливки с маслинами и эти разные там араки. Я тут фикус посадил, чтоб тень давал. Вырос и отмахал, здоровенный такой. А потом вдруг взял и засох, вот наказание, а за что? Ну, коверные, по второй?” — и он помаhal бутылкой вокруг, как будто приветствуя тостом невидимых своих дрессируемых подопечных и приученных. ”Пока не остыла, семейная. Ее нужно пить, как шталмейстер следующий номер в цирке объявляет: не горлом, а всем животом, прямо животом заглатывать. Да знаете ли вы, что меня в животе у кита арестовали?”

Выключился наружный свет, и Револют почувствовал себя в этой полутьме, как арестованный в чреве кита. Он знал, что ему придется выслушать этот рассказ. Потому что кончилось время его службы на посту вершителя своих законов, и теперь он отправился с посохом и сумой и должен выслушивать всех фальшивых пророков по пути. Он перестал быть подследственным; а взяв на себя роль следователя, приходилось внимательно слушать и вести протокол. Сколько праведных убийц и шарлатанов честных!

”В чреве кита меня арестовали”, повторил безногий, занюхивая самогон щепоткой опилок. ”Не живого кита, живого кита я бы загипнотизировал: он бы захлопнул у меня пасть, предотвратив арест. Нет, тут не живой кит был, а чучело. Это чучело мои родители, французской закваски, в Россию на гастроли вывезли. Из-под самого Парижу. Они у меня хоть и французской закваски третье поколение были, но известно с какой национально-цирковой арены по происхождению. Семисвечкины, цирковая фамилия. Это псевдоним такой, штейн-трапе: чтоб с одной стороны про субботний семисвечник самим не забыть, а с другой стороны — огни цирка, опилки-навоз! Какой

цирк был, какой цирк: шапито, а кругом парк дофина, листочки, опилки. Семисвечник сияет над шапито, а перед шапито — чучело кита, гордость семьи. Каждый вечер из чучела кита вылезали различные животные и танцевали народные танцы на задних лапках. Я сам, сопливый мальчонка, бесстрашно клал голову в пасть крокодилу, хорошая выучка на всю дальнейшую мою жизнь, опилки-навоз! Крокодил плакал от восторга, публика ревела от возбуждения, семисвечник пылал напоминанием: вот, мол, вам, не отказываемся от нашего циркового прошлого. А тут в России революция. Эмансипация, штейн-трапе: эгалите, фратерните, либерте. Наслушались речей Анатоля Франса. Кто был ничем, тот станет всем, опилки-навоз. И мои предки, революционной французской закваски из национальных меньшинств, решили: надо аттракцион в Россию везти. Потому что они, с одной стороны, Семисвечкины из российской черты оседлости в оригинале и, значит, мы вместе в бой пойдем; а с другой стороны — революция требует хлеба и зрелищ. Ну как тут не рвануть в освобожденную Россию с чучелом кита, чтоб из него вылезали различные животные и танцевали фрейлехс под звуки интернационала? Потому что под Парижем кит раскрывал пасть без всякого исторического значения, а там, по расчетам, станет раскрывать пасть с исторической миссией. Кто же знал, что там другая политическая арена и другой цирк, и из своего чучела свои дикие животные так и прут?! и все выдрессированы по другой системе под руководством другого передового учения? и аз воздам?! С компаньоном порешили так: расходы по транспортировке кита с цирком платит он, а доходы делят фифти-фифти с последующим возвратом дорожных расходов компаньону. Опять же ошибку допустили: когда выходишь на дорогу с фонарем идеи впереди, надо за все быть расплатившимся. Потому что счета небесные нельзя с земными путать. Взяли мы с семейством шапито, свернули, завернули в него чучело кита, обезьяну, попугая посадили сверху, а крокодила на веревочке, и пересекли границы страны Советов по цепочке: наш народ ведь всегда по це-

почке ходит, штейн-трапе, только направление иногда путается, справа налево или слева направо, в страну советов или страну заветов. Правильно я говорю?

По первому этапу принимали нас как зарубежных товарищей, по пролетарской солидарности. Вот говорят тут: почему уехали, почему приехали; а я, как смышленный не по годам малец, уже тогда просек: как жарко всегда сердцу, когда стучит в него пепел солидарных с идеей и погибших за нее, а ты на их место пришел, себя с идеей отождествил, и уже не сольный у тебя номер, а прямо под куполом всемирного неба ходишь по веревочке, а внизу мелькают народы и государства, не замечающие, что ты над ними, а они под тобой. На первом нашем этапе гастролей, как раскинем шапито, сразу представитель первой в мире пролетарской справедливости произносил речь о солидарности, опилки-навоз. Первым делом он сам весь в коже и сапогах входил в шапито, а за ним уже тянулось передовое крестьянство из рабочих и солдаты из депутатов. Пахло опилками и навозом, аплодисмент стоял такой, что можно подумать: никуда и не уезжали, а с другой стороны — правильно сделали, что уехали. И папаша мой, поэт в душе и философ, внес в аттракцион новое понимание. Главный номер у нас такой был: из чучела кита выходил крокодил, крокодил держал в пасти наполовину заглотанного удава, из пасти удава высовывалась обезьяна, а обезьяна за хвост держала попугая. Папаша научил попугая кричать: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и весь аттракцион, получалось, изображал империализм и его приспешников-паразитов на теле пролетариата, которого (то есть попугая) они пытаются заглотнуть, однако в своей хищнической борьбе за рынки сбыта заглатывают друг друга. То, что пролетариата изображал попугай, никто не замечал при размахе революционного энтузиазма. Все деньги с выручки уходили на совместное участие в революционных праздниках и других пролетарских датах. То есть, проще говоря, пропивали все в знак солидарности. Компаньон из-под Парижа слал встревоженные депеши насчет выручки и долга за транспорти-

ровку, опилки-навоз. Но наша семья Семисвечкиных стала склоняться к мысли, что деньги — они буржуазный пред-рассудок, а главное — на какой идеологической арене устраивать аттракцион. Согласно же марксистской диалектике, возвращаться к компаньону с пустыми карманами не было никакого резону, потому что долговая тюрьма, штейн-трапе, да и на обратную дорогу денег уже не было, и потому надо было дальше двигаться вглубь России после каждой революционной попойки.

Вот мы и забирались все дальше вглубь, во глубину сибирских руд. И годы с нами шли, и коверные менялись, и шпрех-шталмейстеры на местах, а с ними и революционные лозунги. Уже перестали встречать нас приветственными речами про зарубежных товарищей и попутчиков пролетарского интернационализма, а наш иностранный акцент стал вызывать среди местного населения всеобщее бегство, да и семисвечник стали приглашать на всякий случай, ради экономии электричества, потому что советская власть есть раскулачивание плюс электрификация всей страны (а не чужого семисвечника), помноженная на коллективизацию, поделенную на левый уклонизм с квадратным корнем из правого оппортунизма. В результате этой арифметики нам на дорогах стали попадаться деревни, где люди ели друг друга и облизывались при виде обезьяны и попугая. Поначалу стали мы отмечать прибытие в каждый революционный пункт на пути к светлому будущему самогоном, сваренным из опилок. Но потом и опилки кончились. Не говоря уже про деньги на обратную дорогу в Париж из-под Уральского хребта. Трупку стало тошнить, обезьяна и другие участники аттракциона, начиная с попугая, встав в позицию, выплевывали друг друга и подавленные разбредались по клеткам. Последнее антре наступило в городе Петропавловске. В горсовете долго документы слюнявили и сравнивали носы с фото, а потом человек в кителе без погон сказал: "В нашем городе цирка быть не в состоянии". Но одно выступление, однако, разрешили: по случаю дня солидарности с голодающими народами Африки. Папаша

убедил его, что животные напомнят о джунглях и зловещем лице колониализма. В первый ряд посадили местное руководство, опилки-навоз, во главе с лысым в кителе. Тут это антраша и началось. Попугай не выдержал торжественной обстановки, потому что последнюю неделю питался одним самогоном с сибирских лесозаготовок. Его, видно, с опохмела мутило. Как только выстроились в пирамиду, попугай наш как заорет: "Сосиски сраные! Сосиски сраные", — это он у человека в кителе перенял: тот так "социалистические страны" произносил из-за поврежденной в революции челюсти; а может, попугай просто от голодухи про французские сосиски вспомнил, а остальное перенял.

Весь раек притих, а он не унимается, попугай: "Сосиски сраные!" долдонит, а потом вдруг как заорет: "Аз воздам!!!" И тут обезьяна, от неожиданности, что ли, и проглотила оратора нашего. И пошло: удав как почувствовал судороги в животе у обезьяны, сразу и стал ее по-настоящему заглатывать, а как дошло до пасти крокодила, тот удава и перекусил пополам; папаша бегал сначала от одного к другому, уговаривал, но все дрессированные зверюги оказались жмотами, кулаками и капиталистическими хищниками, жрущими друг друга, только крокодил заплакал. Лысый в кителе, из руководства, поднялся весь красный и как заорет, животом подминает и кричит: "Вы на кого это намекаете, агенты буржуазии?! На раскулачивание намекаете? на коллективизацию? а, может, того, на хлебные заготовки?!" И удалился. А вечером крокодил издох от обжорства: все у него в пузе перепуталось политически; а мы отсиживались в туловище кита, потому что вокруг самум поднялся или дождь с градом, не помню, опилки-навоз. Сидим в чучеле и трясемся: сейчас придут. И они пришли: все слаженные такие, как ковровые. Документы стали проверять и спрашивать, как пересекли границу первого в мире пролетарского государства, чьи агенты, и по чьей указке занимаетесь пропагандой, направленной на подрыв: "Ты у меня посидишь в животе у кита, цирковой артист", кричал

на отца их ведущий, "ты у меня опилки будешь жрать". И больше я своих родителей не видел. А маму-то, маму во сне видал, потому что в чучеле в углу забился, а там все перегородки и слепую кишку наизусть знал, с детства, я и забился в закуток, мы там в детстве играли в прятки. Кругом этот сибирский самум, или как там по-ихнему, бушевал, хамсин по-нашему, и я заснул.

И снится мне, что лечу я на воздушном шаре сквозь ураган и смерч. И подтягиваю направляющие стропы, а руль у меня из рук рвется, как страховочная лонжа у коврового, когда под куполом цирка канатоходец дернулся. И думаю, ну сейчас грохнусь. И понимаю я, штейн-трапе, что тут решительная минута выбора; и вдруг через все небо молния, и застыла и не гаснет: и вижу на двух концах неба два семисвечника пылают, а молния между ними — огненный канат, а по нему моя мама в розовом трико и в золотом парике, и машет то ли мне рукой, то ли для собственного баланса. И машет ручкой, и кричит сквозь ураган: "Не туда ветрило вертишь!", а я гляжу то на один семисвечник пылающий, то на другой, и думаю, куда же мне ветрило вертеть? А мама в розовом трико волнуется и снова кричит: "Не туда ветрило вертишь. Верти в ту страну, где сто двадцать человек глотают друг друга, не отличая правых от левых уклонистов, туда верти ветрило и показывай семейный аттракцион!" и исчезала она, а семисвечники все полыхают. И странно мне все это показалось, почему вдруг семисвечники и с чего это на аттракционе с глотанием мама настаивает: она ведь была у нас эмансипированная женщина, всегда была против семисвечников, и по проволоке ходила до замужества и семейного аттракциона с глотанием; и в Россию отправилась исключительно из-за безумной любви к папе моему, она против этой гастроли была в принципе и кричала, что вернется к карьере на проволоке.

И тут слышу, склонились над корзиной моего воздушного шара, где я сижу, два человека в крылатых шлемах и такой разговор ведут: "Передать мальчика нужно по

инстанциям, а то подзалетим”, говорит один голос. ”Так разве он виноват, малолетка?” отвечает другой. ”Так ведь он по тому же делу”, говорит тот, первый. ”А тебе откуда известно?” спрашивает другой. ”А зачем он на наш пароход современности забрался? Если б не он, была б тишь да гладь, Вождя и Учителя благодать. А теперь не иначе как все погибнем”, настаивал первый. ”А может, наш пароход революции не из-за него через чистку проходит, а потому что мы сами перед Вождем и Учителем виноваты”, сомневался второй. ”Он хоть и малец, а семья их уклоняется от указаний Вождя и Учителя, вот с нашей деревней такое и происходит, друг друга есть начали”, настаивал первый. ”А если не из-за него? невинного младенца рыбам скормим?” засомневался второй. ”А может, он от указаний своего Бога уклоняется, а нам нагоняй от Вождя и Учителя? Ведь не нашего он Бога-то?” догадался первый. ”А если нашего, если не своего, а нашего именно Вождя и Учителя, и тогда общая вина, а мы его рыбам скормим?” сомневался второй. ”А в детских лагерях не в море соленом, позаботятся, обувку дадут, одежку, кружку с миской. А если он не нашего Вождя жертва, то его Бог о нем и позаботится”. Открыл я глаз и вижу двух мужиков в ватниках и в комиссарских шлемах. ”Не вашего я Вождя и Учителя”, сказал я и потянул одного за ватник. ”Ну вот”, сказал первый. ”Чего — вот?” сказал второй.

Я с тех пор по тюрьмам их не встречал нигде. А в лагерном бараке мне все больше родное парижское предместье снилось. Бегу я, мальчонка, в коротких штанишках и панамочке, штиц такой, бегу мимо нашего шапито в парк дофина, какой парк! Деревья шелестят, рекой пахнет, опилки кругом, иглы хвойные. И вот уже памятник Жансену, силуэту, который первый на воздушном шаре над землей взлетел. А на памятнике он барельефом в перспективе из-под купола в корзине приземляется, а под ним, опять же выпуклым этим барельефом, толпа радостных любителей аттракциона его встречает. Он из корзинки ручкой машет, а они ему, выпуклыми каменными шляпенция-

ми свое парольдонер вымахивают. А я мальчонка, штиц такой, всякий раз, когда пробегал мимо памятника, я Жансена тоже панамкой поприветствую, и дальше, дальше, к ангару, где выставка первых воздухоплавательных аппаратов. И дирижабли и стратостаты там, с канатами, напряглись все, надутые, как пузо кита, сейчас взлетят, не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна. А кругом облака, и с горки, где смотровая галерея, весь Париж виден, как с цирковой галерки. Не пустили они меня в Париж, сантимники. Как я из лагеря на свободу вырвался и пересек границы народов и государств, и вступил на французскую таможду, так мне сразу французик из Бордо, надсаживая грудь, тут же и сказал: уголовники французскому народу не нужны; у нас, сказал, своих отечественных хватает. Знали б они, как я по ночам в лагерном бараке с каждой нары где одеяльца кусок, где от простыни в каждую смену месяц за месяцем годами по сантиметру отрезывал, по уголку, и сшивал и сшивал, сколько лет, с каждой нары. Цирковой номер был задуман такой: сошью по кусочкам воздушный шар, выберу ночку потемней и чтоб ветер в нужную сторону, пришью часового на вышке и с вышки полечу, полечу и приземлюсь в парке дофина, рядом с Жансеном, и мне с памятника будут шляпами махать. Помахали они мне не шляпой, и не паспортом, а кое-чем еще, чем французская нация знаменита.

Разве предполагал я такое, когда в одних лагерных подштанниках, ветер свистит в нужном направлении, крался через зону к вышке, а воздушный шар через плечо свисает: чтоб часового пришить и сразу, штейн-трапе, лететь к Жансену. Если б не цирковая выучка, шею б сломал. Потому что после оттепели вдарил мороз, все дерево ледком прихватило, руки скользят, вышка качается, и даже зубами не уцепишься, потому что в зубах нож самодельный, чтоб часового пришить. Безо всякой страховки, даже без ловитора ползу под купол. Но разве француз поймет, что значит без ловитора на таком ветру? Он и слова-то такого не знает. Это по-цирковому ловитор, от слова "ловить":

тот, кто на одной трапеции, ловит того, кто ему навстречу летит с другой трапеции. А мой ловитор — часовой с автоматом, и мне на него надо прыгнуть, и в полете вынуть нож из зубов, и ему под лопатку. И я прямо на арену и прыгнул. Но ветер был пропеллерный! Воздушный шар у меня за спиной мешком висел, а тут как надулся, и, пока я перелетал из-под купола на арену с часовым, меня ветром подхватило, шар раздуло и понесло, и понесло! И несет, вижу, совсем в неправильном направлении: не в сторону Парижа, а наоборот в зону. Проектора накручивают, а выстрелов не слышно: неужели, думаю, меня за тучу приняли? и что будет, если я за флагшток с красным знаменем над зоной зацеплюсь? Но зона, замечаю, пролетает под ногами и остается за спиной, ветер просто ураганный, неужели, думаю, скоро Париж?! И был бы я, ко всему шпо, у Жансена через сутки политически законным беженцем, а не уголовником. Если б не христианская религия. Потому что сразу за зоной деревня. А посреди деревни — церковь с колокольной, опилки-навоз! Из-за этой колокольной у меня теперь к христианской религии двойственное отношение: потому что, с одной стороны, я об землю не убился из-за этой колокольной, и это положительно; но с другой стороны, из-за той же колокольной до Жансена не долетел. Зацепился я, короче, за эту колокольную воздушным своим шаром, и повис на ней вместо колокола! И так зацепился, что весь оказался в мешке, одна нога наружу торчит. А попка-часовой у себя на вышке даже носом не повел, бурю с мглой матом кроет. А под утро снегом меня стало заметать; ну, думаю, всю зиму тут провишу, а к весне снимут уже мороженое мясо, если вороны не склюют”.

”Все врет. Или не врет? Где-то я это уже слышал. Еще в детстве”, ворочалось в отяжелевшей голове Революта и, наконец, всплыло: ”И вас выстрелом с колокольной сняли, не так ли?” всполошился он, припомнив барона Мюнхгаузена.

”А вам кто рассказал? Матраскин, что ли? Болтает он много и путаник. Ну да, выстрелом и сняли. У меня из

мешка нога торчала, всего присыпало, а нога торчит. На рассвете часовой стал ворон стрелять, мою ногу за ворону принял, одним выстрелом и снял. Качнулся я и слетел прямо в сугроб. Не убили, но ногу простреленную ампутировали, и не жалко: все равно была отмороженная, ночь провисевши. И сроку надбавили за попытку побега. Я им доказывал, что меня ветром занесло, прямо с нар, потому что в бараке сквозняки — не поверили. Увидали нитки на мешке, где, говорят, иголку брал, и дали новый срок. Но без ноги я к общим работам был не годен, на деревяшке ходил. И поставили меня на кормежку служебных собак, немецкие овчарки, колонну разводят на этапах. Они, вертухаи, не знали, какая у меня во взгляде сила”, и он вытаращил дула пулеметов на Революта. Удостоверившись, что тот вздрогнул, безногий удовлетворенно продолжал:

”Я на нее, овчарку, погляжу, и она у меня руки лжет, а ей ведь, суке, горло перегрызть, как куриную косточку. И стал я у овчарок систематически развивать аппелистость. Через месяц выстроили нас на этап, в другой лагерь перевод. Тут и настал мой выход, антре с моим главным цирковым номером под куполом лагерного неба с вышкой посередине. Шагает колонна сквозь вьюгу, я позади на деревяшке шлепаю. И как исчезла вышка окончательно с горизонта, я воздуху набрал в легкие и как заору: ”Аз воздам!” В память, значит, о проглоченном попугае. ”Аз воздам”, кричу, и никто ничего не понял, да и не услышал из-за вьюги; то есть это охрана не слышала и Каменев с Зиновьевым в колонне, не говоря уже о Бухарине-доходяге. Услыхали одни овчарки, я у них не даром аппелистость развивал. Глазом не успели мигнуть, а уже все охранники по протяженности всей колонны лежали на снегу с перегрызенным горлом. Как человек с автоматом, она ему в горло зубами. Магия слова, плюс, конечно, аппелистость. Аз воздам, вот она сила библейской речи! Куда Зиновьев с Каменевым побежали, я не заметил; а сам я через поле к опушке, с опушки в чашу, шел дней сорок, ногу отморозил, и вышел на железную дорогу, к полустанку. А

на полустанке ночной поезд. И я на одних руках с одной ногой деревянной, а другой отмороженной, через окошко в чье-то купе. Плюхнулся прямо на нижнюю полку и чувствую под собой пассажира. Хотел сразу задушить, потому как разбудил его, и вдруг он: "Да я тебя знаю". Откуда же, думаю, ты меня, старая большевистская сука, знаешь? А он мне говорит голосом нашего родного семейного загубленного попугая: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" И оказался этот мой попутчик тем самым первым представителем пролетарского государства в кожаных куртках, который, опилки-навоз, перед шапито Семисвечкиных толкал речь про попутчиков солидарности на первых шагах всей труппы в направлении из Парижа в Сибирь. Постой, паровоз, не стучите, колеса, напеваю я. Признал он меня, и бутылочка у него нашлась.

А мы-ка еще разок по пробирочке, нашу семейную, чтоб не остывала, животом ее заглатывай. Стал я ему про прошедшие годы мозги заливать, но глаз у него меткий, а голова у меня бритая, да и нога отмороженная, не говоря про деревянную. Но он ничего не сказал, опилки-навоз. А когда бутылку прикоңчили, он мне и говорит: "Самое светлое в моей жизни воспоминание: шапито ваше, перед которым я с речью выступаю. Все остальное омрачает период культа личности. Нога у тебя, вижу, отморожена, а климат нашей родины все крепчает. У меня же рак желудка от большой совести. Еду на лечение в столицу, но она ведь, Москва, слезам не верит. Весь желудок раком съел, а как начнут к партийной совести взывать и мозги промывать, захлебнешься. А ты еще молодой. Может, увидишь светлое будущее. Когда встанешь на два протеза и начнешь свое победное шествие к коммунизму. Я вот к чему клоню", говорит, "бери-ка ты мой паспорт и живи под моим именем в другом тихом месте жизни, пока час не пробьет. Мы ведь с тобой на одно лицо, а то что у тебя стрижка тюремная, то я до нее, до тюрьги, сам не далек". Обнялись мы, взял я его паспорт, а его самого в окошко выкинул. То есть он сказал, что его все одно по дороге рак съест, и я ему помог

до окошка добраться. Долампочкин он был по паспорту. И стал я с той поры Долампочкиным. Был Семисвечкин, а стал Долампочкин. Такие дела. И валялся я в купе, и нога отмороженная стала у меня ныть и воспаление началось, а с ним начался и бред.

Как будто стою я один на железнодорожном полотне, ночь, только ветер гудит в проводах, а я, мальчонка, приближающемуся поезду семафорить обязан. И семафор-то испорченный — самодельный картонный круг с дырками, а в дырках цветная слюда, а за кругом фонарь для подсветки. Такую "пушку" я мальчонкой в шапиту крутил. А тут ветер рвет у меня из рук картонный круг с дырками, и фонарь то потухнет, то погаснет. А момент критический: потому что уже несется по рельсам с горизонта паровоз на всех парах и искры из паровозной топки. Я приник к прожектору "пушке", начинаю крутить самодельный круг с дырками, и фонарь раздуваю, чтоб не погас, чтоб направить паровоз на нужные рельсы. И вдруг вижу, что он на мою ветку, на мои рельсы сворачивает. И все больше становится, и вместо топки у него пасть на боку. И тут различаю я, что это не паровоз на меня несется, а весь наш семейный аттракцион, потому что на ките-паровозе и обезьяна, и попугай, и удав, и крокодил, и все рты раскрыли и хотят меня проглотить. "За что?", кричу, и понимаю, что никто не слышит меня, и я накручиваю свой диск с дырками и пытаюсь его разноцветным лучом с рельс свести. И тут больно мне стало, и понимаю я, что это уже не кит, а нога моя раздулась до неба и хочет меня проглотить, и замечаю, крокодиловы слезы блеснули. И уже не знаю я, от кого мне спастись, такая боль, и вдруг жалко мне стало свою ногу, которая меня проглотить хочет, ведь она же моя, нога-то, и она уже до горизонта разрослась, во всю Россию, и стало мне жалко Россию. И тут семь лучей из дырок моего диска-прожектора вспыхнули, и на небе запыльхало семь свечей, и от них через все небо нитка огненная, как молния, а на ней моя мама в розовом трико и в золотом парике, грозит мне пальцем и кричит: "Не туда светом све-

тишь!” Да куда же, кричу, мне вертеть да светить? А очнулся я в областной больнице: ампутировали мне отмороженную ногу по причине гангрены. Прямо с поезда сняли. Я к маменьке родной, голодный и босый, боюсь показаться на глаза. И понял я, что обрыдло мне все, штейн-трапе, и лучше, чтоб ничего на свете не было. Сначала, чтоб весь белый свет исчез, а потом и самому в опилки-навоз”. Долампочкин нависал над столом, летя на своих плечах-шарах, грустный и тяжелый, как туча перед дождем. И неясно было изнутри, день снаружи или ночь.

”И выехал я из больницы без обеих ног, в инвалидном кресле на колесиках. Колеса руками верчу и все думаю: в правильную сторону верчу или в неправильную? А потом подумал: а может, вообще никуда вертеть не надо? Паспорт у меня выправленный, чистый. Сблизился я с местными инвалидами и стал в ихнем кооперативе работать: компасы собирали для школьных географических кабинетов. На прокорм хватает. Но где манеж и арена, залитые электричеством, плюс запах опилок, помноженный на навозный дух, что и есть в результате цирк? Стал ко мне один безрукий подкатываться: уловил, небось, мою тоску по аттракционам. Он сам без рук, но у него был талант ногами гладью вышивать, а его не использовали, выключен был из творческой деятельности. И организовал он движение инвалидов. Вот все кричат: самиздат, тамиздат, хроника, Корженицын, и этот еще Мармеладов с водородкой в кармане, а почему движение инвалидов замалчивают?! А у нас целое движение было, хоть и не все могли двигаться; но у кого ноги были, те по всем инвалидным центрам СССР разъезжали для наблюдения за нарушением. К примеру, удалось нам вовлечь в движение глухонемых от рождения: почему их не используют в радиовещании? Многие из них откликнулись на наш призыв. Мы же, безногие, сидели на месте, были мозгом движения. А я, по паспорту-то не бывший во все зека, а настоящий старый большевик (а ноги, значит, потерял в борьбе против кулацких и нацистских захватчиков, только я не помнил, в результате, мол, контузии,

при каких обстоятельствах): мою подпись всегда хорошо иметь под письмом в высшие инстанции. Стали мы эти письма писать, про дискриминацию инвалидов меньшинств, и что мы, мол, могли бы влиться, а нас выталкивают на тротуары жизни просить милостыню, или у пивных ларьков забывать свое классовое сознание. Писали письма в ГБ, ЦК, ООН, Красный Крест, Красную Звезду Давида”.

”В Организацию Африканского Единства писали?” оживился Револют. ”В целях солидарности с теми, кто потерял члены, отъеденные африканскими людоедами?”

”Упустили. Хорошая задумка, упустили. Но и без этого размах движение приобрело всесоюзный. Ко мне обращаться стали как к шпрых-шталмейстеру. Единственный недостаток: не могли с инкорами связаться; за ними бегать надо, а говорить у нас толком могли только безногие. Однако и без инкоров все признаки движения были налицо. Даже госбезопасность стала своих двойных агентов подсылать; однако, провинция: мы их быстро разоблачали — у него как будто руки нет, рукав на булавке, но настоящий безрукий так булавку никогда не приколет, руки-то не видно, но пиджачок отогнешь, а у него рука сжимает кольт. И на этом этапе понял я: пора ковра сворачивать. И тут еще один цирковой номер меня к этому подстегнул.

Жил я с одной, сам понимаешь, бабой, в домике мамаше ее, как бы теща мне была. Ну я, конечно, поддавал с товарищами по движению, забывая свое классовое сознание. Это даже отчасти движению и вредило, потому что один местный член-корреспондент уклонился от подписи под нашим письмом по причине того, что во время нашего визита к нему на квартиру от нас сивухой несло: ”Нельзя, — сказал, — дышать в лицо свободе винным перегаром”. Но это я ему в лицо дышал винным перегаром, а вовсе не свободе. Но дело не в этом. Теща-мамаша не за то боролась, а исключительно за трезвость в доме. И вот посоветовалась она с бабками во дворике: как, мол, зятя от зелья отучить? А те ей посоветовали: поймай, говорят, бродячую собаку, выпусти из нее кровь в бутылочку, и дай

зятюку выпить стаканец, вредную страсть как рукой снимет. Она так и сделала, налила собачьей крови в бутылку из-под портвейна "Три семерки", поставила в холодильник, и меня стала ждать во дворике. Но соседский сын, любимец мой. будущий инвалид, весь разговор слышал, подскочил ко мне в кооператив и все рассказал. Я же в обещанный перерыв заскочил в магазин, купил портвейну той же марки, с заднего хода зашел домой, бутылку в холодильник подменил, и обратно на работу. Теперь слушай. Возвращаюсь я с работы, меня теща встречает как родного: садись, говорит, зятек, устал небось, безногий, выпить, говорит, с работы надо мужчине. И ставит на стол закуску, стаканы и — эту самую бутылку "Три семерки". Я виду не показываю. А ты, говорю, теща, со мной не выпьешь, что ли? Она головой отрицательно качает, улыбается, а сама, вижу, вся трясется. Ну, я этого портвейну, то есть, по-тещиному, собачьей крови наливаю себе полный стакан. Теща на меня таращится. Я стакан к губам поднес, поглядел на нее внимательно, и, не сводя с нее взора, выпил залпом до доньшка. Она сидит, не вздохнет, не выдохнет. А я глаза выпучил, головой замотал, застонал, заскрипел, весь передернулся, потом застыл; слез с табуретки, встал на четвереньки — благо что задних ног нет — да как гаркну: "Гав!" Она от ужаса с табуретки и ковырнулась. И больше не встала: разрыв сердца.

Винюсь, не удержался от циркового номера, уж очень натурально гавкнул. По моей раскладке за этот номер мне грозило пять лет за непредумышленное убийство при самом либеральном прокуроре. Но я со своей биографией и чужим паспортом никакого суда позволить себе не мог. И в этот решающий миг опасности, влив в себя фальшивую собачью кровь, вдруг осознал я: ведь я дрессировщик, опилки-навоз, и, может, попугай и обезьяна, и удав и крокодил, может они и на низкой стадии исторического развития, но я, дрессировщик, с ними должен быть, потому что и деды и прадеды мои с ними всегда были и с ними правда была. Так я тещу под табуреткой лежать и оставил, на по-

путный поезд сел, и без всякого вызова и повестки, свои протезы надев, пошел к светлому будущему. Вспомнил я свой дар: как подхожу к очередной государственной границе — какую овчарку взглядом загипнотизирую, а какой шепну откровенно: "Аз воздам!" — и свободно минуя все рубежи. И шел я так на костылях и протезах обратной дорогой своего семейного аттракциона, и минуя очередной рубеж, опилки-навоз, скидывал с себя часть одежды, порвавшейся о колючую проволоку, плюя через левое плечо. Так и пришел я в Вену голый совсем. И подался прямо во французское посольство как потомственный французский гражданин: просить политического убежища. Но они мне кое-чем на это просьбу помахали и кое-что на меня положили с прибором, кинули через забор одежонку из милости разве что: моим цирковым антраша не поверили, тут, сказали, и так советских агентов как собак нерезаных. Иди, говорят, в "Джойнт", там всяких берут. Когда добрел я до этого "Джойнта", прикрывая свою брентную плоть французским шмотьем, и разобрался, что к чему и куда ветер дует, всплыло у меня в памяти пророчество моей мамы: "Иди в ту страну, где сто двадцать человек не отличают правой руки от левой", и я так понял: в ту страну, где пишут справа налево, а иначе как же понимать? А там еще каждому новоприбывшему в это самое старое место в мире дают государственные ссуды. Я на эти ссуды холодильников и гарнитуров не покупал: пропить всегда есть что. Я купил себе крокодила, удава, обезьяну и попугая. И вот столько денег загреб своим семейным аттракционом, что до сих пор с мыслями собраться не могу. Теперь у меня в глотающей цирковой пирамиде все, кроме попугая, изображали арабских производителей нефти, заглатывающих друг друга. А попугай, значит, кричит: "Аз воздам!" как первое за две тысячи лет сионистское государство, каково?

Показывал я этот аттракцион, показывал, со всего мира приезжали смотреть, как они друг друга глотают из-за нефти. И — ничего! Ну ничего, просто опилки-навоз, и никакого раскаяния, одна война судного дня. И обрыдло

мне. И виденья больше нет. Не показывается мама, не машет больше с огненной проволоки в нужную сторону. К чему же пророчество было, спрашиваю, если пользы от него нет нигде никакой? Ошибка произошла там”, и он ткнул костылем туда, где был потолок. ”Ошибка произошла там со справедливостью. Зачем же послал Он всю нашу семейку показывать аттракцион с глотанием в Россию, в ту страну, где и так все друг друга глотают? И зачем меня туда потащили? Меня при этом не спросив. И вот после всего, после всех моих аттракционов, продолжают во всем мире глотать друг друга. Как же это получается: или пророчество лжет, или я чего не так понял? Для чего весь цирк было устраивать? Чтоб я свою жизнь всякому прохожему как анекдот излагал? И знал ведь я, что не помогут никакие аттракционы, я ведь человечью породу еще в лагере изучил. Ведь я чего, хотел только на воздушном шаре улететь к куполу, пока ноги целы. Ног теперь нету. Вот я тутовое дерево посадил: быстро выросло, на юге все быстро растет, даже тень. Думал, черт с ним, с пророческой миссией, одно тутовое дерево, другое, собачек тренирую, опилки пойдут, самогон буду гнать. Сидел в тенечке, размышлял о каверзах истины. Тяжело на себе нести бремя истины, опилки-навал. Вот сидел я под тутовым деревом, глядел на гору Синай. Вот с нее Моисей скрижали завета снес. А потом они раскололись из религиозных соображений. Но ведь никто не подумал: какая она высокая, гора эта Синай. И что ему тяжело было нести эти скрижали, они же каменные. Только я, безногий, могу это понять: он же хромым был. И раскололись они, думаю, потому что уронил он их, не было сил нести с такой высоты бремя истины. Потому что все про грех думают, и никто про страдания того, кто истину несет. Из-за них, грешных, надрывается. И из-за них-то пророчества и не сбываются. Ему народа всегда жалко, этому Вождю и Учителю, а носитель истины без ног остается. И вот все чаще задумываюсь я: а не пора ли эту невинную матушку-Россию хорошенько пропесочить? Ведь из-за нее все у меня и началось. И, может, недо-

показывали мы ей свой аттракцион? с глотанием? Вот наберусь я тут сил, овчарок натренирую для защиты нашего государства, и двинусь: двинусь на Россию, крокодил удава будет глотать, удав обезьяну, а обезьяна же попугая, а попугай как крикнет...”

”Аз воздам!” вдруг раздался гортанный визг попугая из коридора. Безногий перескочил в кресло на колесиках, и рванул в коридор: ”Чего это он? Ему же под тряпкой кричать не положено”. Выбравшись в коридор, они обнаружили, что тряпка с клетки была сброшена, а дверь в дом распахнута настежь. Револьт сразу догадался: ”Каштанка!” — позвал он, однако дом и пустыня отвечали эхом лишь его собственного голоса. Каштанка сбежала, сдернув с клетки тряпку; попугай в этом доме функционировал еще и как сигнал тревоги: тряпка была привязана к двери, и как только дверь открывалась, тряпка спадала с клетки, и попугай кричал свое ”аз воздам”. Недаром Каштанка так долго пряталась при отъезде и вырывалась из рук, не хотела лезть в корзину и покидать Иерусалим. Она возвращалась домой. Надо было ехать за ней вслед, и уже гудело такси, вызванное в обратную дорогу. Весь вопрос: в обратную дорогу — куда?

”Куда ж направляетесь?” спросил безногий. Он подъехал в своем инвалидном кресле к краю пропасти и склонив голову, глядел на засохшее тутовое дерево. Косые лучи как будто изгибались вечерним ветром пустыни, чтобы обогнуть его голову в берете. Он всматривался в рубежи той страны, где сто двадцать человек не отличают правой руки от левой, обдумывая арену для будущего аттракциона.

”Тяжело на горе жить. Потому что воздух разряженный. Трудно дышать. Но видишь дальше”, сказал Семисвечкин. ”Я тут посижу. Я вашу псину за километры выслежу и загипнотизирую. Отзовется. В Россию с ней пойдём. Может, и вы присоединитесь? Мне ковровый нужен, а если хотите, и шпрых-шталмейстером можно, а?”

”Нет”, решительно сказал Револьт. ”Мне нужно к

Эйфелевой башне, проверить недостающее звено”, и он уселся в черный мерседес.

”К Жансену, значит? И напрасно: у нас один общий путь. А от себя не убежишь. Сокрыто же это у Меня, запечатано в хранилищах Моих. Мне отмщение, и Аз воздам. Но только не сплетничайте про меня, не будете обо мне сплетничать? А за псину не волнуйтесь. Псина вернется”.

”А вы никогда ничего не теряли?” спросил Револют, вспомнив, по какой причине привез он сюда своего лучшего бессловесного друга.

”Где?” переспросил безногий.

”Ну, в жизни”.

”Терял? Да две ноги вот потерял. А так, все остальное всегда при себе ношу, потому что гол как сокол, одна душа непривязанная. Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь”, — пробурчал дрессировщик, пожевывая лавровый листок. ”И чего вы там забыли-то, на Эйфелевой башне?”

”Вот это и предстоит вспомнить”, уклонился Револют от ответа, а вспомнил напоследок совсем другое: ”Тутовое дерево! как же с тутовым деревом — ведь засохло? И не жаль тутового дерева?” Но ответа услышать не успел или не расслышал, потому что черное такси заурчало и осторожно двинулось вниз, огибая пропасть под заходящим солнцем. Из окошка такси Револют наблюдал, как луч солнца как будто поджег голову Семисвечкина и как его кресло стало съезжать вниз, в пропасть, к черту на кулички. Или же это автомобиль заруливал вниз, а кресло, постепенно исчезая за выступом, как будто валилось в пропасть, пока, наконец, берет дрессировщика, в последний раз вспыхнув солнечным нимбом, не исчез с горизонта. Только звякнула бутылка из-под самогона, отброшенная безногим.

* * *

Квартира, в которую он вернулся в поту и пыли, встретила его черной пустотой. Он хотел позвать Каштан-

ку, но подавился собственным голосом, когда понял, где она осталась: в пустыне. И слова гордого отныне не смеет вымолвить язык. Не зажигая света он разделся и стал заворачиваться в одеяло. Он всегда подтыкал одеяло под бока и подвертывая его под ноги конвертом, а на голову клал подушку, или закрывался под одеяло с головой, как в психоизоляторе, чтобы укрыться от вечно горящей электрической лампочки. Но на этот раз одеяло вдруг сократилось, и когда он подтягивал его к подбородку, вылезали наружу ноги, а когда удавалось подвернуть одеяло под ноги, вылезала голова. Он усаживался и расправлял одеяло, и казалось бы, оно принимало прежние размеры, но как только он снова укладывался, одеяло опять предательски укорачивалось. Что может быть жалче картины одинокого стареющего человека, пытающегося расправить одеяло в пустой холодной квартире? Он поднялся с раскладушки, нащупал ногами туфли и отправился за сигаретами. Сделал в темноте два шага и вдруг налетел на что-то, больно ударившись коленом. Щелкнул выключателем и увидел в слепящем свете, что налетел в темноте на цветы в огромной корзине. Корзину передал на той неделе почтальон, сказав, что цветы на адрес соседней квартиры, но соседей нет, и не мог бы Револют, спросил почтальон, передать эти цветы соседям, когда они, соседи, вернутся. Но Револют про цветы тут же забыл и сейчас понял, что они простояли вот уже дней десять. Выйдя на лестничную площадку, он дошел до соседской двери; она пестрела прилепленными записками: соседи, видно, так и не возвратились. Вернувшись в квартиру, он стал рассматривать цветы, которые оказались искусственными в виде венка, и в них торчала записка, написанная на непонятном восточно-европейском языке. Напрягая свои лингвистические способности, Револют разобрал слово, немецкое мертвое слово "штербен", и понял, что это похоронный венок неизвестно по кому в память. Он сидел на раскладушке в трусах и тупо глядел на этот венок, когда глаза его остановились на околышке московского конверта. Извещение о смерти тетки, на которое он так и не дал ответа.

”Уважаемый Наум Александрович Кьеркегор”, стал выводить шариковой авторучкой Револьт на оберточной бумаге, к которой, с обратной стороны, приклеилось письмо Блюмы Карловны. ”Я знаю, что Вы считаете меня легкомысленным и потому опасным эгоистом. Но, если я и эгоист, то абсолютно не легкомысленный, и хочу Вас спросить: кто из нас отказывается от этического во имя абсолютного долга? Я Вам прямо скажу, и Вы, как человек простодушный, то есть простой души человек, меня поймете: речь идет о жертве Авраама Богу, о которой Вы в свое время так прекрасно говорили в связи с эпохой коллективизации культа личности врачей-вредителей. Я хочу тоже засветить эту тему жертвы Авраама в связи с жертвами во имя отъезда после XX съезда. Если бы я поддался на уговоры ближних и Блюмы Карловны, и остался бы, я бы довел себя до духовного самоубийства: было бы ли это настоящее самоубийство или жертва Авраама, где я выступаю и в качестве Авраама и в качестве Исаака? Оставив же близких, совершил ли я обыкновенное убийство или это божественное испытание? Блюма Карловна считала, что Авраам — это она, а я Исаак — с точки зрения моего оставания в России: я жертва во имя России. Я же считаю, что Блюма Карловна была жертва моего отъезда: меня, то есть Авраама. Но ведь Бог все-таки не позволил Аврааму дойти до человекоубийства, возвратив Авраама в рамки этического, а у меня как-то так не получается, если только Блюма Карловна не воскреснет, но это значит надо ждать Мессию. Вы скажете, что моя жертва — не авраамова, потому что отъезд вовсе не святое дело, а открыто антисоветское. Но на это я Вам могу возразить, что и этический и абсолютный долг в Советском Союзе диктует не Господь Бог, а его аббревиатура — ГБ, от которой у меня есть справка о реабилитации, и считаю, что я в смерти Блюмы Карловны не повинен, за гебистские долги расплачиваться не собираюсь, а уехал я во имя того абсолютного долга, который...”

Во имя какого, действительно, абсолютного долга он уехал? Долга по имени ”Который”? И тут он, меряя шага-

ми квадрат кафельного пола, понял, что сверху, над головой, каменный потолок, снизу каменный пол, а с четырех сторон каменные стены, и все это повисло на высоком этаже крепости, в каменном мешке, в котором он, получается, заточен. Каменный мешок с амбразурой непроницаемых жалюзей. Тут можно биться "ласточкой", именно в кавычках, когда твои руки привязывают к ногам и привешивают к потолку на крюк. Сочился свет сквозь щели жалюзей, и тень револьтова слоилась какой-то водяной рябью по четырем стенам. И он узнал, что смерть — это когда понял своей бессмертной (вплоть до желтых прокуренных ногтей) душой, что только ты один остался на свете, а вокруг сплошные тени. И вот когда он до этого догадался, снова услышал короткий перестук: то ли отбойного молотка в пустыне, или же соседа по тюремной крепости? Этот короткий перестук снова возобновился, и машинально по тюремной камерной привычке сложился в голове в слова, сцепляя стуки по числу с номерами букв алфавита:

"По какому делу сидишь?" — и снова застучало, то ли за окном, то ли через далекие трубы батарей, но в этих стуках уже не было алфавитного смысла. Потом все смолкло, но когда снова возникли очереди перестука, только одна фраза расшифровывалась: "По какому делу сидишь?" Как будто услышав знакомую речь, забытый родной язык, он вслушивался в этот шифр, как в материнский шепот, склонив по-птичьи голову, прижимаясь ухом к камню: "По какому делу сидишь?" В этой почетной пустыне, у поющих стен, он очнулся и понял: надо потребовать, чтобы ему выдали уголовно-процессуальный кодекс, он имеет на это право по всем законам, даже поставленный вне закона.

Наступило утро, и начинали лязгать кастрюли в соседних квартирах, и чьи-то шаги, и рокот спускаемой воды, и стук ножа, рубящего лук, и утренняя смена отбойного молотка, но из всех этих случайных перестуков складывался все тот же вопрос: "По какому делу сидишь?" Однажды, своим отъездом поставив себя вне закона, объявив, что "Государство — это Я", надо было творить свое собствен-

ное железное законодательство, не считаясь ни с какими жертвами: ни авраамовыми, ни сталинскими. Но этот проклятый перестук — то ли в грудной клетке, то ли за говорящими стенами — насмеялся над ним: получалось, что его Государство ему не подчиняется, и жертвы диктуются другой организацией, с другой аббревиатурой.

ТЕТРАДЬ № 7

Револют, застегнутый на все пуговицы вопреки весеннему зною, шагал ко входу в тель-авивский аэропорт им. Бен Гуриона. Все кругом было в подвешенном состоянии удушливого весеннего дня, расплывалось плоской картинкой несоединяющихся деталей — капель воды на жирных стенках стакана. Как нестиранная белая рубашка, нависало здание аэропорта и ураганчиками пыли отделялось от шоссе — с бараками рифленого железа, сливаясь с посеребрившим от зноя небом. Состояние было такое, как будто вызвали на судебный процесс над твоим знакомым, с постановлением суда о переводе тебя, гражданского лица, из статуса свидетеля в статус обвиняемого. К предстоящим событиям надо было подготовиться и быть бдительным и чутким. Ясно было, что он окружен, что за ним следят; надо было любимым способом избегать дурных мыслей, которые эти кремлевские фантасты с лазерами улавливают и генерируют в луч, направляя его через гиперболоид в сердце твоим друзьям и родственникам, о которых ты дурно подумал. Все хитроумные соображения надо было спрятать под замок, и хранить на ключике лишь сосредоточенную тишину под ключицей, следить внимательно за дракой и ласково в глаза смотреть: не для того, чтоб уцелеть, а для того, чтоб не обидеть. И никого не забывать, даже если помнить уже не о чем. Все свое носить с собой, даже если все потерял. Аккуратно огибать препятствия и не цепляться без толку за чужую жизнь. Обходить ее стороной, как проходит косой дождь. Обогнуть эту зеленую кадку с пыльной пальмой, не скандалить, если наехали на ногу тележкой с багажом.

На револьтовом небритом лице застыл вежливый оскал, который в сочетании с выпрямленной как трость фигурой, отпугивал настолько, что от него шарахались, если сам он забывался и шел, не сворачивая. В местах, поросших дикими пальмами и рекламой кока-колы, вежливая улыбка — экзотика, тем более, на лице человека, черный пиджак которого был приколот к рубашке английской булавкой, а при каждом шаге продырявленная подошва туфли мелькала голый ступней: Револьт в конце концов решил не выкидывать рваной туфли, а носков не носить — чтоб не порвались, загубив еще одну человеческую душу. И когда Револьт, покачивая советским угольчатым чемоданом, перетянутым ремнем от штанов, продвигался ко входу в аэропорт, люди, у которых душа была нараспашку от воротничка до ширинки, провожали его подозрительным взглядом и неприкрытой ухмылкой. Обогнув столики кафе под пляжными зонтами, Револьт дерзким движением шагнул к стеклянным дверям входа в аэропорт, чтобы рвануть их на себя.

Но как только он сделал решительный шаг в направлении дверей, они сами, без указания сверху, раздвинулись. Сжав покрепче ручку чемодана, Револьт, набрав воздуха, шагнул вовнутрь, уйдя из того мира, где на фоне пальм рябина не знает, как ей перебраться к дубу, и сделал шаг в страну воздушных границ с наклейкой "авиа". И чтобы убедиться в том, что эта страна действительно существует, надо было еще раз из нее уйти; Револьт повернулся, снова сжал покрепче ручку чемодана, и сделал шаг обратно. Двери снова сами открылись (вот она, граница!) и кондиционированный воздух сменился запахом бензина с апельсином. Он еще раз развернулся и сделал осторожный проверочный шагок обратно к самораздвигающимся дверям. Они дрогнули, но не раскрылись. Чтобы не раздражать двери резкими движениями, он встал на цыпочки, балансируя чемоданом в воздухе. Когда он сделал еще один, казалось бы незначительный, шагок, двери снова с присвистом раздвинулись. Там, наверное, такой невиди-

мый луч или наступаешь на нечто невидимое, и нельзя преступить черту незамеченным. Он сделал 4 шага назад, оглядев в последний раз пейзаж, на фоне которого каждый уходящий выглядел предателем; когда он повернулся к бронированному стеклу, за которым лежала воздушная дорога к Эйфелевой башне, и сделал 4 решительных шага вперед, он вдруг больно стукнулся лбом и коленкой, потому что на этот раз двери не раздвинулись. "Они не имеют права", сказал Револьт дверям из бронированного стекла. "У меня нет времени с вами спорить. Я опаздываю: мне нужно спасти Россию".

"Ваши документы", сказал негромкий голос чей-то рядом, и дернувшись, Револьт увидел полицейского. Сбоку у полицейского оттопыривался черный револьвер.

"Я никого не убил", сказал Револьт. "Что случилось?"

"Я не спрашиваю, кого вы убили, я спрашиваю ваши документы", сказал полицейский.

"Я не говорю, что это вы спрашиваете. Это я спрашиваю, что случилось? По какому делу вы меня допрашиваете?"

"Значит, нет у вас документов", сказал лениво полицейский и достал книжечку. Они всегда достают книжечку, все полицейские в мире, такой народ книги, и это всегда дурной знак, когда они достают из кармана книжечку. "Я за вами уже четыре минуты наблюдаю. Вы что замыслили с дверью? Или в участок везти?", и полицейский поглядел скучающе на горизонт.

"Я входил и выходил", сказал Револьт, стараясь не называть имен.

"Это меня не интересует. Что с дверью замыслили?"

"Понимаете, они сами открываются. А я в своей жизни сталкивался до сих пор или с запирающимися или с крутящимися". Вместо ответа полицейский сделал какое-то незаметное движение, и Револьт очутился через секунду на тротуаре с болью в копчике. Полицейский склонился над чемоданом. Не считая смены белья, весь чемодан был

набит газетами, которые присылала тетка Блюма: от "Правды" до "Вечерней Москвы".

"Вы не имеете права", подскочил Револьт, потирая ушибленное место. "У вас нет ордера на обыск. Это моя диссертация!"

"Из России?" скучно спросил полицейский, закрывая чемодан и аккуратно перевязывая его снова ремнем из штанин. Потом разогнулся и закурил, глядя, как Револьт проверяет, крепко ли закрыт чемодан с железными уголками. "Это я дверь застопорил", вдруг сказал он по-русски. "Из соображений безопасности. Нельзя так: туда, сюда", и он нажал незаметную кнопку в стене. "Проходите". И полицейский в черной форме блюстителя повернулся и зашагал медленным шагом в направлении пальм.

Револьт, криво улыбнувшись на прощанье, сделал шаг к дверям, выставляя на всякий случай руку вперед, как слепой. Двери бесшумно раскрылись, впуская его снова в страну с почтовой наклейкой "авиа-экспресс". Все вокзалы и аэропорты, как все проводы и встречи, счастливые и несчастливые, похожи друг на друга, как дяди и соплемянники, еще и тем особым воздухом, в котором дуновение кондиционеров смешивается с дорожным шуршанием чемоданов, запахом обгоревшей на поворотах автомобильной резины и кофе, сваренного в котле, в котором неизвестно что варилось до этого. Общий котел, свально-летальный грех. Улыбаясь, Револьт глядел на светящееся табло с расписанием, где были все города мира, и ни в одном из них он не хотел бы умереть, даже если бы не было такой земли Москва. Он огляделся, куда бы присесть в ожидании своего направления.

Сквозь толкучку, усиливающуюся с наступлением утра, сквозь мелькание чемоданов, разных как лица, и лиц, похожих на чемоданы, он увидел неподалеку совершенно пустую часть зала ожидания. Вокруг, как всегда на вокзале, люди жались друг к другу, и Револьт, удивившись, что никто не замечает пустого спокойного помещения всего в четырех шагах, четким устремленным шагом направился к

соблазнительным креслам, и был уже от них на расстоянии протянутой руки, когда еще одна прозрачная невидимая стена отшвырнула его назад, крепко ударив в лоб. Отброшенный к толпе, Револьт сразу проверил, все ли на месте: не оторвалась ли пуговица, когда-то кем-то пришитая, не треснули штаны по швам, не вылетела ли старая авторучка из нагрудного кармана. Он оглядел толпу ожидающих; между креслами, табло, справочными стойками и турникетами прохаживались, присаживались, привставали и оглядывались представители всех видов человеческого ожидания: тузы с по-дачному вывернутыми открытыми воротниками перешептывались со справочным окошком интимно, по-свойски, потом отходили, щелкали пальцами и звонили по неким секретнейшим телефонам; другие стояли как часовые, и только иногда, прикрывая свое отражение ладошкой, пригнувшись, оценивали состояние пустоты в зале за бронированным стеклом. У того же стекла маячило несколько черных длиннополых сюртуков в шляпах, прикрывающих уши, из-под которых вились косички, и по кольцам этих косичек пробегали пальцы, как будто быстро и привычно подсчитывая по числу колец, сколько чего нельзя нарушать и сколько кто чего нарушил и тем самым задержал всеобщее спасение через всеобщее переодевание в черные сюртуки и уши с косичками. Иногда они доставали из-под сюртука книгу в черном переплете и, не глядя в нее, шевелили губами. И, повторяя движение их пальцев по кольцам косичек, Револьт снова провел по булавкам и пуговицам своего пиджака, проверяя, ничего ли не отскочило, не потерялось? А рядом уплетали ватрушки домашнего изготовления тетки в цветастых платках и гутарили между собой на самиздате южных окраин России, левым ухом слушая человека в партийном пиджаке с бортами и в тубетейке на бритой голове: "Он — мишигенер!" крутила тубетейка пальцем у бритого виска, "он, и еще Китай!" И тогда можно было догадаться, что "он" это никто иной как Советский Союз. И вдруг по всей этой распоряжающейся, молящейся, жующей и зевающей толпе

как сквозняк пронесся шепоток, перестрелка взглядами, и, как по стуку пальцев, по бортику аквариума, вся толпа снялась с места и прилипла носами к стеклу, о которое только что стукнулся лбом Револют. Совершил посадку самолет из Вены с новыми иммигрантами. И толпа расплющила носы о стекло, за которым должно было появиться то, что объединяло всех расплющивших носы по эту сторону. Но по ту сторону стекла тоже стали появляться люди всклоченной наружности и тоже приставляли носы к стеклу. И вот уже стало непонятно, кто находится вне аквариума, а кто внутри. И все превращалось в рыбу солидарность: рыбы живут в одной воде, которая общается сама с собой, и ни одна рыба не знает, что такое берег, потому что так устроены жаброногие и живородящие. И тут неважно: стеклянная перегородка, бетонная стена или железный занавес. Тыкай носом, дыши ушами. Такая получалась история: если не вырастут жабры, ты задохнешься; если они вырастут, ты никогда не вылезешь на берег. Револют же воображал себя ни в воде, ни на суше: он был в туловище кита и топал там ногами, вместо того, чтобы молиться и ждать милостей от природы. И во всем галдеже, гвалте и топоте его ухо улавливало лишь одну тюремную морзянку: "По какому делу сидишь?" Ему некогда и некого было ждать; а того, кто придет для того, чтобы прекратилось ожидание, вообще надо было ждать вне толпы. И он пошел в буфет, потому что там было пусто и там никто никого не встречал.

Тащась с чемоданом мимо буфетной никелированной стойки, он никак не мог решить, чего выбрать. Дотягивался, а потом нерешительно отдергивал руку то от яиц рубленых с луком, то от салата из кабачков в уксусе, заранее чувствуя журчание в расстроенном желудке, и так и отошел от стойки, взяв лишь кофе с молоком. Перед кассой он долго рылся во внутреннем кармане, и достав сначала авиабилет, не знал, куда его засунуть, чтоб не потерять, когда он будет вытаскивать паспорт, чтобы, в конце концов, выгresti смятые денежные бумажки. И потом на-

до было все запихивать обратно, и в результате, даже в этой, абсолютно пустой закусочной, ему удалось собрать у себя за спиной очередь человек из четырех. Одной рукой Револьт взялся за чемодан, а другой за блюдо с чашкой, но чемодан тут же стукнул по ноге, и чашку пришлось поставить обратно; он не знал, за что какой рукой взяться.

Кассирша брезгливо отворачивалась, а сзади напирало растущее недовольство очереди, когда из-за револьтовой спины появился человек в настоящей дохе-дубленке не по погоде, с высоко поднятым воротником, так что голова казалась привинченной к черному свитеру с высоким горлышком:

”Вы, если не возражаете, возьмите ваш кофе с молоком, я подхвачу ваш чемоданчик”, сказала доха с ненавязчивой доброжелательностью.

”Нет”, забеспокоился Револьт, ”то есть спасибо, но вы лучше помогите мне с кофе, а чемодан я возьму сам”, и он первым схватился за чемодан. И подумал про себя (поскольку Каштанки не было, приходилось разговаривать самому с собой): ”Я ничего не могу решить в одиночку, и это наша общая тайна с Богом. При чем тут третий лишний?”

”Разрешите подсесть?” и, не дожидаясь ответа, поставив револьтову чашку на столик, незнакомец пододвинул себе стул; когда он сел, доха распахнулась и под ней мелькнули офицерские сапоги. Он весело поглядывал двумя вишенками глаз, сдвинутых к переносице. ”Наливочки, если не возражаете?” как будто не спросил, а переспросил он спокойным говорком, и тут же, из-под необъятной дохи, как из-под рясы фокусника, появились три серебряных стаканчика с ноготок, где густая вишневка качалась блестящим глазком. ”Ну вот, и со свиданьем?” И он приподнял серебряный стаканчик до бровей.

”А третья рюмка кому?” подозрительно спросил Револьт.

”Третья? А в честь того, кто не с нами. Третьему лишнему, так сказать”, и он, поднося рюмку к губам, качнул

ею в сторону неба. "Без всяких обиняков, разрешите представиться: Сергей Федорович. Именно ФедорОвич, с ударением на третьем слоге, потому что фамилия. В юности, в кадетском корпусе, меня сверстники дразнили: "Согрей Ведрович", — натерпелся! Так что вы уж пожалуйста не коверкаете. А с кем, простите, имею честь?"

"Револют", сказал Револют и подумал: допрашивает? И соврал: "Револют Азвоздам".

"Как, как?"

"Азвоздам", невозмутимо повторил Револют. "Партийная кличка деда".

"Чего только, прости господи, большевики не придумали. И слова-то какие: кличка! партийная кличка! Как будто не люди, а пуделя. И какой же деятельностью вы, г-н Азвоздам, под этой кличкой занимаетесь? Не партийной, надеюсь?"

"Я читаю в Иерусалиме лекции по мета-логике", нахмурился Револют.

"Мета?"

"Это не просто логика, а логика разных логик", стал раздражаться Револют. "А почему вы меня допрашиваете?"

"Да помилуйте, вовсе нет. Я ведь, в сущности, по этой самой "мете". Я ведь тут своего коллегу навещал, из Русской миссии в городе Русалиме. В чудном месте расположена, знаете ли, после лавки менялы, сразу в переулочек Кво Вадис. Тоже ведь — металогика! Снаружи муэдзин, а внутри русский язык, не кажется ли вам? Потому что Иерусалимов-то не один, а два!"

"Если два, то уж все три: я не могу отрицать существование Корана, только потому, что Коран отрицает мое существование".

"Это по арифметике выходит, что три их, Иерусалима. А по металогике их два — два! Один на небесах, в молитвах, а другой — здесь, на земле, тут, сейчас!" Согрей Ведрович взмахнул широкими рукавами дохи, и в рифму этому движению за стеклянной стеной с птичьим свистом взлетел самолет. "И удивительная металогика: эти два

Иерусалима друг для друга не существуют. Еще мальчишкой, в родовом поместье на Волыни, разве я про Иерусалим не знал? Но разве это здешний был Иерусалим? Нет, то был Иерусалим волынский, сугробный!”

В дрожащей средиземноморской волне солнечного света, затоплявшей это пыльноватое заведение, вдруг зазвучали мотивы русской эмигрантской литературы. Все больше нервничая, Револьт вполглаза наблюдал за странными передвижениями уборщицы, которая с механической заведенностью водила тряпочкой по зеркальной поверхности пустых столиков, толкая впереди себя пустую тачку для грязной посуды, похожую на катафалк, и на ее вдовьем лице застыла отрешенная, похоронная маска сосредоточенности; непонятно было, как оказалась здесь в роли уборщицы, которой нечего убирать, эта женщина с распухшими от старости и ходьбы ногами, с мешочками под глазами, женщина с лицом сельской учительницы. Круги, по которым курсировала эта несчастная с катафалком, сужались, и с каждой минутой становилось яснее, что сужаются эти круги именно вокруг столика с Револьтом и Согреем Ведровичем, без усталости тараторившем про свою иерусалимскую металогику:

”И странное дело, тутошний Иерусалим и слышать не хочет про тамошний. Вот вы сейчас спиной к свету сидите, и я вашего лица не вижу. А поменяемся мы местами, и буду я спиной к свету — вы моего лица не будете различать. Все ведь зависит от того факта, на кого свет падает. Кому солнце в глаза, тот мира не видит. Иерусалим здешний не видит тамошнего, а тамошний о тутошнем не догадывается: каждый своим солнцем ослеплен”.

”Если это вас так раздражает, я могу пересесть”, сказал Револьт и стал подниматься из-за столика.

”Да уж сидите! Сели и сидите. Вот именно: пересесть! Вот у перемещенных лиц вашей волны и идеи-то другой нет: только бы куда пересесть, переехать. А ведь все само собой скоро местами поменяется: только ждать надо уметь. Кто тутошний Иерусалим заново отстроил? Вы-

ходец из России. И для этого выходца вся Россия спиной к свету сидела, ему в глаза солнце било, он лица России не различал. А теперь он сам так уселся, спиной к свету, что Россия его лица не различает. Один в сионистском углу, извините, засел, другой — в советском. До тупика каждый дошел окончательно. И оба тупика эти — российские они тупики, они России два тупика: и сионизм и советская власть — все из России начало ведет. И вот наступит день, когда весь мир повернется к свету спиной, а Иерусалим свое лицо покажет, то перемещенное лицо, которое и здесь через сионизм прошло, и там через советскую власть. И тогда вот и тутошний Иерусалим и тамошний станет одной **РОССИЕЙ — ТРЕТЬИМ ИЕРУСАЛИМОМ!**”

”И вы, стало быть, оттуда же?” услышал Револьт у себя над ухом надтреснутый голос и, вздрогнув от осторожного и одновременно настойчивого вопроса, увидел перед собой загадочную уборщицу. Она стояла со своей тачкой-катафалком, продвинувшись незаметно для собеседников вплотную к столику, и повторяла свой вопрос, заглядывая в глаза: ”Оттуда же?” Услышав невнятное револютово ”да, мы с того же света”, она приободрилась и стала приговаривать, как давно заученное, без пауз: ”И я тоже оттуда. Из России. Из Торжка я. У нас домик был. Огород тоже, огурцы свежие, морква. Садик был. Сейчас бы, как снег стаял, сразу бы окапывать принялась, а к августу своя клубничка, варенье варить. Хороший у нас был медный таз, для клубничного сиропу. Коврижки с сиропом опять же, дух такой, сердце захватывает. Хотела я с собой медный таз взять, а муж как закричит: в новой жизни все на электричестве, нечего бронзовые орудья в новую жизнь за собой тащить. Так ведь это медный же таз, к нему сироп не липнет, а не бронзовое орудье. Хотя все одно теперь: не до варенья здесь в такой политической ситуации. Конфетюр этот из банок будем теперь до конца дней на хлеб намазывать”.

”Однако здешняя клубника одна из первых в мире”, сказал Согрей Ведрович. ”Первая статья экспорта. То есть сначала цветочки, а ягодки на втором месте”. И, вспомнив

про место за столом, поднялся поспешно, чтобы уступить стул уборщице.

”Да уж сидите. Я привыкла на ногах. Целый месяц, бывало, варенье варим и все на ногах. Что ж из того, что клубника здешняя первая в мире? А таз медный где взять? Не могу я без медного таза клубнику варить. А к здешним арабским так и липнет, так и липнет. Говорила я мужу: куда тебя из Торжка несет на старости лет? А он завел себе одно: небеса не те. Небеса, может, и не те, а в чем варенье варить? Да и клубника эта знаменитая, на мой вкус одна вода”.

”А малинка? Малину-то разводили?”

”А как же без малины? По всему забору с четырех сторон не продраться; пока мой муж с соседом не повздорил. Тот у мужа профоргом в конторе был. Пришел мужа звать на коммунистический субботник. И муж мой в этом призыве оскорбление святой субботы увидел. А это не оскорбление, а ленинский почин. Вот сосед после спора и сказал: ”Нужна мне твоя малина у моего забора, как свинье ермолка”. И муж мой посчитал это за антисемитизм. Вот и вырубили мы малину со стороны соседского забора. И только с трех сторон стали малину растить, но все равно круглую зиму малины хватало. А здешней малины я и в глаза не видела”.

”Значит, верит муж в субботу? Это хорошо. Кто в субботу верит, тому и до воскресенья недалеко. Да-с, малина здесь редкая ягода. Однако смородина есть, своими глазами видел. А разводили ли вы смородину?”

”А как же без смородины? Садик у нас небольшой был, однако четыре куста смородины завсегда плодоносили. Три куста черной смородины, а один красной, для ассортимента. Но этот куст, красной смородины, засох перед нашим отбытием. Так только, для виду стоял. Муж мой под этот куст опасные книги прятал. Он у меня большой охотник до опасных книг. А сейчас нет тебе ни опасных книг, ни куста смородины. Засох куст. С него, правда, смородина кислая всегда была”.

”Красную смородину надо в тарелку, сахаром засыпать и на ночь оставить”, почмокал губами Согрей Ведрович. ”Она сок пускает и вся кислота уходит. Жаль, что с красной властью так поступить нельзя”, и он нехорошо усмехнулся. ”А клубнику вы как рассаживали? Обрезали эти самые, ну, как их?”

”Усы”, сказала женщина и зарделась от гордости за собственную осведомленность. Их разговор напоминал урок русского языка.

”Вот-вот, именно — усы! Большое дело, хороший клубничный ус, а? Замечали ли вы, что у тамошних руководителей пролетарского государства эволюция идет от марксовой бороды через сталинские усы до безбрежных бровей? Борода на лоб полезла! Может, к тому идет, что совсем она, эта власть, опростоволосится, и дай Бог, все домой вернемся?” — и он счастливо засмеялся в лицо Революту вишенками глаз. Утреннее солнце сделало еще один шаг и теперь револютово лицо наполовину заслонила тень. Он оказался в стороне и от вольнских сугробов и от торжковской малины. И ясно высветилось одно наличие отсутствия дома. У этого иезуита в дохе вольнские сугробы антибольшевизма, у этой уборщицы с катафалком — любовь к малине в российском медном тазу, для них Россия — это Росс и Я, и между ними нет места Революту-разночинцу. Этот разговор проглатывал револютову жизнь как нечто несущественное, мешающее, раздражающее как уродливая родинка на предреволюционном прошлом сугробов и медных тазов. Револют был родимым пятном, от которого никуда не денешься, исторической родинкой. И принадлежал он, Револют, именно к той толкучке уродов перед стеклом в зале ожидания; не от того ли у всех предков и потомков этой неназванной религии носы кривые — от ожидания, на протяжении тысячелетий, расплющивая носы о невидимую непрошибаемую стенку? И к этой толпе разночинцев с кривыми носами принадлежал он, а не к людям со свечой, разбивающим лоб о вольнский сугроб. Сколько бы не дразнил он пожиманием плеч и поворотом спины эту толпу с

расплюснутыми носами, он никогда не даст их в обиду; и Револют, разгоряченный овечьим чувством нахлынувшей близости, потрогал нос, чтобы проверить, куда он искривлен: вверх, вниз или в сторону?

”Не могу я тут свыкнуться”, как ни в чем не бывало продолжала уборщица с катафалком. ”Я как сошла с самолета, так мужу и сказала: не смогу я тут свыкнуться. Это у него идеи всякие и небеса не те, а я сказала: не поеду дальше. Я на аэродроме, сказала, работать буду, тачку с грязной посудой толкать. Там на подносах в столовке носила, а здесь производительность труда: тачка на колесах. И к самолетам тут поближе. Я сюда с утра прихожу и до ночи. Без выходных. Все ж таки самолеты каждый день на виду. Вдруг прилетит кто-то и объяснит, зачем я здесь, и потом увезет отсюда, далеко-далеко. И чтоб поближе к Торжку. Прилетит, думаете, или не прилетит?” — и в уголках ее глаз как будто раздавили две красных смородины. ”Но я так чувствую, что на моем веку не прилетит. Кому я нужна, если даже муж от меня улетел”.

”Как так улетел? Куда улетел?” — встрепенулся Согрей Ведрович.

”В Париж улетел. Сама видела, как самолет взлетал. На авиакомпании ”Эль Франс” улетел. На ихнем ”Эль Аль” отказался лететь”. При слове Париж тоскливый страх перед всем тем, что он задумал, пробежал мурашками по револьтовой спине. ”В Торжке небеса были не те, а сюда попал — масло, говорит, не то, и огурцы не того засола. Сначала все на кошерность жаловался, изжога, говорит, от нее. А потом вообразил, что отравить его хотят. Коммунисты, говорит, подсыпают ему в еду наркотик, слепнуть стал. Конечно, здесь огурцы без укропа солят, зальют уксусом и жуй, но слепнуть-то он от солнца здешнего стал, а не от коммунистических наркотиков, прости господи. Нет, говорит, я от коммунистов кровью харкаю. Мне, сказал, надо в революционную столицу, город Париж, оттуда со здешними коммунистами бороться. Как будто там своих коммунистов нет. На ”Эль Аль” отказался лететь: там, говорит,

той же отравой кормят. На "Эль Франс" улетел. Я все авиакомпания знаю, только вот "Аэрофлот" сюда не залетает. Да чего там говорить: улетел в Париж, ни ответа, ни привета". Она отчалила от столика, тяжело передвигая ноги, толкая впереди себя тачку-катафалк, и стала удаляться, расширяя круги по залу.

"А вы, позвольте спросить, куда стопы направляете?" — повернулся к Революту Согрей Ведрович, проводив долгим взглядом уборщицу с катафалком.

"Я еду в принципе плюнуть с Эйфелевой башни", начал Револют бойко и запнулся. "Мне надо проверить одну рабочую гипотезу, говорить о которой я не имею права. Но я по сути дела советский подданный, у меня, между прочим, до сих пор советский паспорт, меня никто не имеет права лишать гражданства!" разгонялся он, с каждым словом понимая, что давно забыл смысл слова "гражданство". Да и какой страны? "В общем, я прохожу по другой статье, и мой третий Иерусалим не в Торжке прописан".

"Да я ведь вашего паспорта не спрашиваю", осторожно сказал человек в дохе. "Я вот только вижу, налегке вы и один. Чемоданчик тоже, и босая нога, извините, сквозь дырку в туфле видна. Как будто бежите от кого. Но насчет Торжка вы зря: ведь этой несчастной бежать некуда и дом свой она знает. А ваш Иерусалим где прописан?"

"А этого я вам не скажу. Я сам для себя и есть исторический процесс. Я сам и есть избранный народ. Сам и есть автономная республика самого себя как великой империи. И у меня есть такая зона: если в нее кто сунется, я сразу начинаю строчить из пулемета".

"Какой вы, однако, еще молодой: на вид под пятьдесят, а по разговору — настоящий мальчишка. Впрочем, мне говорили: кто в заключении был, тот возраст консервирует. В каком возрасте сел, в таком возрасте и на волю вышел. Вы ведь в заключении были?"

"Как выясняется, я никогда из заключения и не был освобожден. Все хожу по лагерной цепочке. Логически. А

вы все бродите вокруг дореволюционных сугробов?” начал грубить Револьт.

”По всему миру разъезжаю и нигде так долго по-русски не говорил, как вот в этом случайном заведении”, усмехнулся Согрей Ведрович. ”Вот вы при советской власти родились: вы, наверное, Россию больше меня и любите, потому что вы ведь с ней всегда и были с такой, какой она сейчас и есть. Я, знаете ли, разные ведь жизни прожил. В Берлине, после войны, толпами ходили бывшие советские, из военнопленных, в глазах паника: выдавали их обратно в Совдепию. И по паспорту, само собой, проверяли происхождение: настоящая инквизиция заседала, весьма опытные следователи. Они нюхом определяли: кто советский беглый, а кто эмигрант белый, и, значит, не по их ведомству. Заседали два смершника и в присутствии британского с американским наблюдателями проводили допрос: откуда родом? кто родители? какой губернии? как Россию покинули? Так надо было свое детство и отрочество представить, так географию родных мест описать, чтобы получалось — не с фронта сбежал и не из плена в Германию попал, а еще до великого перелома. Перед этой комиссией ходили друг к другу на консультацию, ночи просиживали — карту родных мест заучивая. И на каких вопросах попадались! Сколько ни вдабливал я им топографию русских поместий, все равно на ерунде срывались. ”Вы, стало быть, из губернии такой-то” — подкатывался смершник — ”а вот сказали, что плавать не умеете; как же это вы в соседнюю деревню на том берегу перебрались, если плавать не умеете?” А бедолага и отвечает по наивности: ”А меня лодочник перевез”. Тут смершник и улыбается гадливо: ”Лодочник? А реки-то там нет, товарищ, в вашей родной губернии”. На ерунде гибли. Так вот когда вбивал я в головы всем бывшим беглым пролетариям из рядов советской армии все тропинки родных помещичьих усадеб, пришла мне на ум мысль. Мысль странная, которую никогда себе в жизни не позволял. А что если туда, назад? Пробраться тихонько, через рубежи нашей родины перепрыгнуть, а там

в Сибирь, избу срубить и жить незаметно. И я ведь даже маршрут разработал: есть такая речка Тулома, на финской границе, и вверх по Туломе до Мурманска, а там на барже и ищи-свищи, не найдут". Он помедлил. "А вы, господин Азвоздам, возьмите-ка парижский адресок моего товарища: на всякий пожарный, если что не выйдет с плевком с Эйфелевой башни. Кроме Эйфелевой и другие сторожевые вышки на свете есть". И он передал Револьту листок с адресом; Револьт, не глядя, сложил его вчетверо и сунул в нагрудный кармашек пиджака. Потом передумал, развернул листочек, послунывил советский чернильный карандаш и стал выводить адрес листка у себя на запястье, как лагерный номер:

"Потому что бумажка может потеряться, а я не желаю вам вреда", пробормотал Револьт, заметив недоуменный взгляд собеседника в дохе, но в этот момент солнце, сделав еще один шагок по небосклону, ударило Револьту в лицо и ослепило, и черты лица собеседника напротив слились в сплошное теневое пятно. Револьт поднялся и, подхватив чемодан, зашагал вниз, в зал прилетов, отлетов и ожидания. В голове у него от всего нелепого разговора осталось лишь название реки: Тулома.

ТЕТРАДЬ № 8

Он видел этого чиновника и этих полицейских, он видел уже все, что видел. Они были знакомы по фильмам, по книгам, по урокам французского в школе; лица их как будто были вытащены из консервной банки с маринадом памяти, и, видно, этим и объяснялась их бледность; эти лица после иерусалимского солнца казались вымоченными в уксусе. Да и все, казалось, было вымыто стиральным порошком до испуганной стерильности. На пути к паспортному контролю Револьт срочно решал, что ему делать с окурком, дымящимся в руке: он уже жег пальцы, а куда его выбросить, неясно, вокруг не видно ни одной пепельницы. Более того, когда он стал доставать паспорт, из кармана посыпалась шелуха иерусалимских тыквенных семечек и вообще мелкий мусор другого города; дурное впечатление, производимое на чиновника паспортного контроля, усугубилось и тем, что Револьт никак не мог решить, какой из двух паспортов ему предъявить. Советский изношенный и просроченный паспорт лежал в правом кармане, а израильский новенький в левом. Револьт уже было вытаскивал паспорт с серпом и молотом, согласовывая этот дорожный знак с гербом идеи конечной остановки; но в последний момент идея конспирации взяла верх, и в руки чиновнику переключался герб из семисвечника с колосьями, в то время как колосья с серпом и молотом легли в левый карман, под сердце. Чиновник в каскетке долго вертел паспорт, не зная, с какой стороны его листать: там, где у одних начинается заграница, у нас начинается родина. Пока чиновник листал паспорт, дыша на печать въезда для иностранцев, Револьт угадывал момент, когда можно неза-

метно в толкучке разжать пальцы, чтобы дать окурку упасть на кафельный пол, и затем придавить его каблуком.

”С визитом? с визитом?” долго повторял таможенный французик, надсаживая грудь: как всякий француз, он считал иностранцев глухонемыми от рождения. И как бы в подтверждение этому Револют выпучил глаза и, вместо ответа, издал истошный нечленораздельный вопль: дело в том, что как раз в этот момент он решил незаметно раздавить горящий окурочек, брошенный на пол, забыв, что у него на подошве дырка, сквозь которую проглядывает голая ступня. Истошный крик вызвал некоторое замешательство и дополнительные вопросы, что, впрочем, промелькнуло быстро, потому что за границей смотрят в конечном счете не на твою рожу и замашки, а на паспорт. Паспорт же был у Революта чистым. Прыгая на одной ноге и морщась от боли, Револют объяснял таможеннику, что он с визитом и транзитом, и предложение вызвать скорую помощь отклонил решительно. С дружественным визитом, транзитом увидеть Нету, плюнуть с Эйфелевой башни (шутка), об остальном — молчок. согласишься на медицинскую помощь, начнутся вопросы — почему драный туфель, докопаются до цели визита, обвинят в терроризме, не будут разбираться, каковы были намерения. Тем более, великая гипотеза еще не окончательно доказана, для ее подтверждения надо позвонить Нете, заглянуть на великую могилу. И он захромал к аэропортовскому автобусу в город, пройдя через непривычно пустынное здание с потусторонним мерцанием огней и шуршанием эскалаторов. И все равно аэропорт им. Де Голля рифмовался в голове с аэропортом им. Бен Гуриона. Рифма хромала с чемоданом в руке.

Он еще не осознал, что оказался под другими небесами, когда сидел под стеклянной дымчатой крышей автобуса, мчавшегося в направлении Парижа; и не глядя в окно, думал, что он скажет Нете, отыскав телефон в телефонной книге или в справочной. Как можно скорее позвонить Нете. За которую все в ответе. Так острили в Москве: ”Мы смело в бой пойдем на власть советов и как один умрем в

борьбе за Нету". Встретиться с Нетой, выпить за ЭТО, и говорить, говорить, даже не говорить, а поглядывать друг на друга, намекая на старые события с новой точки зрения. При всей своей металогической беспардонности в смысле разлуки, Револьт отличался цепкой сентиментальностью: когда ему требовалось удовлетворить свои узкоэгоистические нужды продолжения одной ему известной железной метацепочки знакомств и встреч. Вне зависимости от великой гипотезы будет логически занимательно встретиться с Нетой на этом том свете и увидеть себя в новом свете, уж если есть на том свете телефонная связь и у каждого в гробу телефон.

Когда он выбрался с чемоданом на неизвестную площадь и оказался перед огромным зданием вокзала, ища глазами телефон-автомат, то первое, что выяснилось: свет погас. И дома и деревья и лица были освещены другим светом. Не то, чтобы он попал в темную комнату; но свет кругом был бумажный, не надо было, как в Иерусалиме, щуриться и прикрывать ладонью глаза, и следовательно и протокольно выверять каждый свой шаг, сосредоточенно не глядя вперед. Свет шел отовсюду — но только не сверху: небеса были не те. Как будто из-за непривычной ширины улиц и разлета площадей весь накопленный небом свет пролился вниз и растекся по закоулкам; и Иерусалим на мгновение вспыхнул в его памяти весь прижатый давящим светом нетерпимых небес: теперь он понимал, почему на Востоке у жилищ и храмов плоские или покатые крыши, и почему на Западе соборы тянутся острым шпилем вверх — им не хватает света.

Но если в данный момент страны и отличались чем-либо друг от друга, так это телефонами-автоматами. И Револьт шагнул под кричащие своды вокзала в поисках телефона. Он кружил по огромным лестницам, попадал не в те входы и выходы, глазел не на те указатели, которые указывали на все, что угодно, кроме того, что тебе необходимо в данный момент. Пока не понял, что уже в четвертый раз кружит вокруг того, что он принимал за мужскую

уборную, а на самом деле и было телефонами-автоматами: повернувшись к нему спинами, перед ним стоял ряд мужчин, полностью имитируя классическую позу городской уборной — плечи в голову и руки заняты; мужчины были отделены друг от друга стеклянными перегородками; тот факт, что якобы справляющие нужду люди были представлены на всеобщее обозрение, как-то проходил мимо сознания Револьта. Осознав свое заблуждение, он пристроился к одной из кабинок, ожидая своей очереди, и это ожидание показалось ему унижительным. Сравнение с уборной не выходило из головы, а предстоящий звонок по телефону-автомату вызывал сам по себе тошнотворный приступ беспомощности: щель будет глотать монеты, пока ты трясущимся пальцем будешь вертеть диск, и надо будет бить кулаком стальной ящик, а он будет молчать как подследственный. Дождавшись своей очереди, Револьт с отвращением глянул на незнакомый аппарат с незнакомым диском, щелью и рычагом, как будто это были неизвестные до сих пор человечеству рудиментарные признаки неведомого пола. Потом порылся в кармане и вместе с крошками табака и иерусалимской придорожной пылью выскреб "асимон": такой жетон с прорезью по диаметру толстенькой монетки; эта ложбинка ложилась на выступ в щели иерусалимского уличного автомата и, соскользнув вовнутрь, осуществляла законную связь. Револьт сжал в пальцах иерусалимский асимон и попытался засунуть его в парижскую щель. Но парижская щель не поддавалась. И пришлось обратиться к другим инстанциям в поисках монеты для автомата.

Отыскав в толкучке стеклянные двери кафе, он шагнул в еще одну иллюстрацию к роману иностранного автора; запрокинув головы и отставив кисти рук в сторону, человечки мочили губы в рюмках с жидкостью химического цвета или запихивали в рот разрезанные поперек длинющие палки (хлеба); в нос шибал удушливый запах дешевых французских сигарет и пива. И как канатоходцы по невидимой спирали каната, со страшной скоростью отыски-

вали себе путь в этой толкучке усатые официанты с фартуками до пола, издававшие то и дело странный звук "мсьедам". И поднос в руке, несущийся над головами, был, скорее, для баланса и виртуозности, а вовсе не для обслуживания. Один из этих цирковых артистов чуть не налетел на револьтов чемодан; Револьт воспользовался случаем и, повертев пальцем в воздухе воображаемый телефонный диск, успел проорать ему в ухо "телефон, телефон!", помахивая монеткой. Казалось, что на такой скорости подобный призыв безнадежен, и действительно: секунду назад на Револьта неслись усы в фартуке, и вот уже он видел лишь виражи официантской спины. Но как ни странно, револьтовы пальцы сжимали теперь не денежную монетку, а совершенно гладкий и плоский, фальшивого вида жетон: обмен был произведен официантом налету с неуловимостью воровского трюка. Револьт направился обратно в зал, готовясь заново отыскивать телефоны-автоматы, когда у самого входа обнаружил одиноко и незаметно висящую телефонную трубку; сам же, никем не замечаемый, телефон-автомат прятался за спиной странной фигуры с плакатом, который, наверное, как у всех здешних демонстрантов, призывал ко всему тому, что к нам не имеет совершенно никакого отношения. Гладкий телефонный жетон горел в запотевшей от нетерпения револьтовой руке и он, не говоря ни слова, осторожно протиснулся между плакатом и демонстрантом, и занял позицию у телефона-автомата, решив на этот раз ни в чем ему, телефону, не уступать. Когда он протискивался к телефонной будке, спина этого нищего, то ли демонстранта, призывника или протестанта, пробурчала что-то невежливое и даже вроде матерное, и прямо-таки по-русски, но Револьт приписал это галлюцинациям и давно разоблаченной тоске по всему великому и могучему в годы тягостных раздумий.

Отыскав в телефонной книге, приверченной к автомату, фамилию Неты, он набрал забытый телефонный номер и после щелчка и попискивания в трубке раздался незнакомый мужской тенор:

”А Неты нету. Нету дома”.

”Что?” — переспросил Револют.

”Нету Неты. Ее нет”.

”Как нет, как так нет?” — испугался Револют.

”Нету. На озеро уехала. Купаться”, лениво сказал тенорок. ”А кто спрашивает?”

”Я так и думал”, сказал Револют и повесил трубку. И подумал: значит, утонет? Или уже утонула? Он потер бритую щеку: электрическая бритва марки ”Юность” испортилась перед самым отъездом; кто подарил, не помню, но и к лучшему, что сломалась, поскольку даже бритье скрывало в себе опасность потери, как, в свою очередь, доказала новая вставная челюсть: надо было беречь на себе все свое, включая собственную щетину. Все сводилось к тому, что он оказался прав, вопреки собственному желанию. Приехал, надеясь, что можно опередить события, не веря в собственное пророчество, открывшееся ему в святом городе. И сидел бы там, смирившись с собственной правотой, то есть безнадежностью. В конце концов, это путешествие из Иерусалима в Европу было предпринято от неверия в собственное печальное предвидение; от неверия в безнадежный логический вывод и приходилось перепрыгивать через народы и государства. Он надеялся, что его кто-то будет опровергать, а он будет доказывать на пальцах как дважды два четыре; но потухший свет неба и чужая толпа вокруг свидетельствовали о том, что триумфа великой отгадки не будет и ни одна собака не залает воинственно против.

”Вы не из ООН? Может быть, вас направил ко мне американский президент?” — прошептал кто-то со свистом в ухо Революту и потянул его за рукав. Револют от неожиданности дернулся в сторону и чуть не споткнулся, перевернув стоящую рядом кастрюлю. На перевернутой кастрюле можно было прочесть надпись вверх ногами **ДЕНЬГИ НА ПРОТИВОЯДИЕ**. ”Все равно пустым-пуста коробочка”, махнул рукой на кастрюлю стоявший перед ним странный человек, которого Револют принимал за французского со-

противленца с плакатом. На груди человека красной краской были намалеваны лагерным номером цифры 59-79; эти цифры сияли на заношенном белом санитарном халате с оторванными рукавами; лицо его было не просто загоревшим, но как будто проутюжено солнцем, и щетина на лице гляделась засушенной соломой. Лицо бродяги или рыночного попрошайки; сходство усиливалось промасленной серой кепчонкой со скрюченным козырьком, из-под которой на Революта сверлили две горошинки ленинских глаз. Человечек снова согнул ладошку у рта и прошептал с присвистом Революту: "Я присутствовал, стоя спиной, когда вы выходили на телефонную связь. Вы говорили про НЕТИ. Мы в нетях. В коммунистических нетях. Я жду депутации от стран коммунистического заговора. Может быть, у вас послание от Мао Цзе-дуна? Я жду послания от Мао Цзе-дуна после моего 365-го последнего предупреждения Америке", и когда голова Революта дернулась в недоумении, сопротивленец хлопнул себя по лбу: "Как я раньше не догадался! Вы диссидент из другой губернии?" — и схватив свой плакат, стал тыкать его под нос Революту. "Диссиденты г. Торжка! — читал Револют прыгающий перед его глазами призыв. — Ежедневно на протяжении 20 лет и четырех месяцев с 59-го по 79-й годы убийцы и коммунисты всего человеческого подсыпают мне в еду канцерогенный наркотик, и под этим наркотиком я харкаю кровью и зубы кровоточат и в левом глазу кровоизлияние в мозг, требуя вашей поддержки призвать наследников Бен Гуриона и других правительств в скобках обуздать убийц всего человеческого в кавычках и коммунистов-наркоманов. К вам обращаюсь я SOS". Свихнувшийся взгляд Революта встретился с пронизательными горошинками глаз диссидента из Торжка без всяких следов катаракты или кровоизлияния; и эти горошинки сопоставились в уме с раздавленными смородинками в уголках глаз уборщицы с катафалком из столовки тель-авивского аэропорта. Так вот она, "свинья в ермолке на коммунистическом субботнике"? Или его двойник? Мало ли пророков у России, и рос-

сийских и других кровей, с именами часто не простыми, но простых российских сыновей? ”И за тебя отомстим, дружок, когда в бой пойдем на власть советов”, поклялся Револьт, но кастрюлю для сбора средств на противоядие игнорировал: жалость для истины — яд смертельный. Повернувшись к телефонной книге, Револьт стал выписывать адрес Неты у себя на ладони; диссидент из Торжка подлезал ему под локоть и, увидев адрес, заявил, что ”знает Париж как свой Торжок” и укажет ему путь, поскольку ”вы тоже засекречены и поэтому между нами не может быть секретов”. Он быстро свернул свой плакат, засунул его под халат и, подхватив кастрюлю, уже тащил Револьта за локоть ко входу в метро. Револьт, одуревший от двухчасового толканья по вокзальному гулу, решил, что визит на квартиру к Нете неизбежен; что без карты он адреса не найдет, а на поиски карты нет сил, и он безвольно подчинился напору провожатого.

Револьт по московской выучке ждал от метро прохлады подземелья, но парижская подземка встретила его туннелями неподвижной обжигающей духоты, как будто воздух был набит невидимым пухом заспанной купеческой подушки; и в этих одинаковых туннелях бесшумно двигались поезда, настолько бесшумно, что, казалось, не двигались, повторяя себя в одинаковых позах пассажиров и в разжатых губах красавицы, задыхающейся на одной и той же рекламе помады. Его провожатый, в засаленной кепчонке, тянул его за локоть, выступая на шаг впереди, и в смене бесконечных сводчатых переходов он примерещился Револьту мелким бесом, заманивающим его в душевные трубы остановившейся жизни, то есть — ада. Он крутился вокруг Револьта, и всю дорогу по туннелям, и в набитом до отказа вагоне второго класса продолжал разоблачать некий заговор, упирая постоянно на слово ”они”, с чисто русской безапелляционностью отказывая ”им” в то же время в виде на жительство; и настолько непонятно было, где эти ”они” прячутся, и чем ”они” отличаются от ”нас”, что в конце концов выходило: ”они” существ-

вовали лишь для того, чтобы мы, оказавшись здесь, уверовали бы в "их" вездесущность, не знающую границ — и таким образом, "здесь" перестало бы чем-либо отличаться от "там".

"Со дня на день я жду подводную лодку", твердил он четкой скороговоркой, поводя глазами, поскольку оглядываться не мог, сдавленный восковыми соседями по вагону. "Я жду подводную лодку, которая заберет меня отсюда с моими великими секретными открытиями в город Торжок. Торжок должен быть освобожден в первую очередь. До прихода подводной лодки я должен соблюдать полнейшее инкогнито. Деньги на противоядие от коммунистической отравы я собираю для виду. Симулирую манию преследования. Я раскрываю свое инкогнито перед вами, потому что вы ведь тоже засекречены, и поэтому между нами не может быть секретов. Вот мы сейчас проносимся под рекой, которую здешние туземцы называют Сенной. Как я понимаю, река в действительности называется Соломой или Овсом. Но для сохранения инкогнито я тоже называю ее Сенной и вам советую поступать точно так же. Река хранит инкогнито, как я среди соседей по коммунальной квартире. Есть, правда, одна соседка. Она прохладна, я имею в виду — река, вокруг жара, я люблю плавать, но я не могу, как все обычные люди, пуститься вплавь по течению. Потому что меня могут утопить. Конечно, я могу свободно погрузиться в воду с головой, заткнуть пальцами ноздри и ушные раковины, закрыть глаза и, таким образом, стать невидимым для наших общих врагов. Но свободно плыть по течению вплоть до города Торжка не представляется возможным. Поэтому я ожидаю появления подводной лодки. Я скрываюсь у всех на виду инкогнито в своей коммунальной квартире и с восьми вечера не выхожу из дома: в виду чрезвычайного положения, я установил для себя комендантский час. Меня забрасывают повестками в суд, подсовывая их мне под дверь в виде счетов за газ, электричество и телефон. Но я эти повестки игнори-

рую. Вот когда придет подводная лодка, я сюрпризом раскрою инкогнито и со всеми рассчитаюсь. Важно вовремя раскрыть инкогнито, а то никто не заметит. Но пока: молчок.

Я ведь живу совсем один, в огромной коммунальной квартире: мне пришлось всех на свете бросить, чтоб не опознали. Соседка не знает моего имени. Весь мир, как эта соседка, вращается вокруг меня, особенно по ночам. От этого вращения у меня по ночам часто бывают головокружения. Мне же, не забывайте, надо следить, чтобы мир правильно вращался вокруг меня, и одновременно соблюдать свое собственное равновесие: иначе я упаду с кровати и мир перевернется. Иногда мне звонят главы правительств: узнать, долго ли еще мы будем вертеться. Я всегда готов дать им дельный совет, но когда снимаю трубку, слышу сплошные гудки: нас прерывают сами знаете кто, и остается загадкой, кто из глав правительств требовал моей консультации. Вчера от напряженного ожидания упал с кровати и мир чуть-чуть не соскочил с оси. Я ведь постоянно кручусь по ночам в постели, чтобы мир, в конце концов, стал вращаться в нашем, вы понимаете, в нашем направлении: справа налево. Вы заметили, что наша книга, которую мы читаем справа налево, начинается там, где у НИХ книга кончается. Там, где у них конец, у нас начало. Но мне не с чего начинать, и некуда, извините, кончать. А я ведь, как-никак, мужчина и думаю о сотворении новой земной оси после моей аннигиляции. Есть, правда, соседка, но она отказывается появляться в моей комнате, где все постоянно вращается; а на собранные во время моих уличных демонстраций средства по борьбе с коммунистической отравой не купишь шампанского для смазки чувств и земной оси. Соседка предпочитает орбиту моего соседа. У этого соседа глубоко порочная идея: он пытается закрутить мир во вредном направлении, слева направо; из-за его карьеристских амбиций в ложном направлении, я периодически падаю с кровати. Впрочем, что можно ожидать от ти-

пичного представителя третьей волны эмиграции? демдвиж, фарца, кгб! Нету в них сестного места, куда можно упнуться зарождающемуся стержневому направлению.

По доносу этого соседа я пробыл несколько лет в стенах нашей многострадальной родины. Вы, впрочем, могли догадаться о моем прошлом по моим рукам, сложенным при ходьбе за спиной. Привычка, выработанная во время прогулок по тюремному дворику. Если забылся и опустил руки, вертухай делает щелчок пальцами, и тебя лишают прогулки. Не люблю поэтому музыкантов: они прищелкивают пальцами, как вертухайи. Мой сосед, кстати, играет на трубе. Но зато четыре стены моей камеры стали прекрасной базой для изучения иностранных языков. Правда, от продолжительного пребывания в четырех стенах у меня путаются четыре языка: каждый из четырех языков я заучивал у отдельной стены; произнеся новое слово на одном иностранном языке, я бежал к противоположной стене и там выкрикивал очередное слово на другом иностранном языке, и так далее, эхо каждого нового слова, отраженное противоположной стеной камеры, продолжало повторяться многократно с паузами, помогая усвоению иностранного языка, поскольку повторенье — мать ученья. Я это изобретение назвал "камерным магнитофоном", причем, заметьте, для четырех языков одновременно: четыре эха — они, правда, у меня до сих пор путаются. Но именно там я сделал крупнейшее открытие о библеизмах русского языка: блатные слова "мусор, ксива, буза, гаврик, хевра, хохма, балбес, шабаш, хипесница, курва" и многие другие — целиком библейского завоза через Одессу. Именно этим облагораживающим библейским влиянием объясняется тот факт, что русские уголовники — самые религиозные люди в мире, например, Достоевский Раскольников.

К сожалению, другие мои языковые открытия канули в унитазе. Да-да. Как я уже сказал, по доносу моего соседа-трубача работники органов нашей многострадальной родины вставили в мой мозг передатчик. Как только я заходил в уборную справить нужду, голос из унитаза твердил мне:

”Ты врач-вредитель, космополит и враг народа, заражаешь своей мочой канализационную систему Советского Союза”. Поскольку я никогда не был врачом, то явился в местные органы и потребовал изъять из моей головы передатчик. Но вместо этого меня заключили в психиатрическую больницу тюремного типа. Передатчик в моей черепной коробке мне быстро удалось вывести из строя путем ударов головы об стену. Следователи тоже помогли во время допросов. А потом выбросили за пределы нашей родины, не подозревая, что именно на чужбине приходят в голову самые оригинальные секреты освобождения родного города Торжка. Меня, впрочем, в Тель-Авиве и здесь продолжают считать сумасшедшим, и все из-за доносов моего соседа. Он хочет избавиться от меня, чтобы самому сесть в подводную лодку и вместо меня прибыть в Торжок. Но мы не позволим закрутить Торжок слева направо. Мы-то с вами знаем, что именно от этого люди падают с кровати. Впрочем, не только. Сейчас сумасшествие грозит не только жертвам культа личности. Сейчас главная угроза от углерода: в воздухе носится углерод, вы чувствуете? От углерода растут кости, человек становится выше и выше, как юбка у моей соседки, шаг шире на пути к победе коммунизма — дело в том, что углерод не только развивает кости, он еще и убивает мозговые клетки. Кости растут, а мозг умалается: это и есть определение коммунизма. Сам я вам по плечо, поэтому я так ясно и мыслю. Углеродом коммунисты меня пронять не могли. Но когда в моей черепной коробке высвободилось место из-под передатчика, они подсадили туда крыс. Эти худые крысы бегали взад и вперед по моей черепной коробке и связь земной оси с миром грубо нарушалась. У меня часто пухла голова, особенно, когда крысы создавали дополнительное давление: напивавшись моим мозгом, они начинали испускать газы. Долго я не понимал, как с этим бороться, да и крысы тогда еще не слишком расплодились, а все больше тараканы: они забегали вовнутрь, когда я отвинчивал черепную коробку, чтобы спрятать туда рукописи с секретными чер-

тежами. Но когда крысы стали угрожать механизму вращения земли у меня в голове, я поступил просто и оригинально: купил крысиного яду и выпил его вместе с томатным соком. Меня увезли на скорой помощи с наивным диагнозом "попытка самоубийства". Но врачи, безграмотные люди, не понимали, что томатный сок понижает давление, и я уцелею, а крысы подохнут. Теперь мой мозг ясен как никогда. У меня много подобных открытий, но к сожалению, самые гениальные открытия — сверхсекретные; их приходится сжигать и пепел пережевывать: сдабривать почву для дальнейших открытий. Само открытие хранится в памяти, и для сверки черновиков мне надо периодически вскрывать черепную коробку, и тогда меня насильственно увозят на скорой помощи. Мои открытия стоят миллионы, а мне приходится существовать на подачки благотворительных организаций и на копейки, собранные на противоядие против коммунистической отравы.

Травить меня начали еще в Тель-Авиве. И знаете почему? Потому что я раскрыл главный государственный секрет сионистского государства: в нем царит дух сталинизма. Вы верите в дух Сталина? Хотите доказательств? Могу доказать. Вы знаете, что после нападения Гитлера на Советский Союз, Сталин задумывал побег за границу? Но куда бежать? Европа оккупирована. В Америку? Но в Америке главный враг — Троцкий. Остается Великобритания. Но Великобританию Сталин ненавидел не меньше Троцкого. Вы спросите: какая связь между Троцким и Великобританией? Что между ними общего? А я вам скажу: ЛЕВ! Троцкого как звали? Лев! А каков государственный символ Великобритании? Опять же — Лев! А этого зверя Иосиф Виссарионович ненавидел лютой ненавистью. Почему? Потому что недаром он учился в годы юности в православной семинарии. Недаром читал Святое писание. И недаром звали Сталина — Иосиф. А что сказали братья Иосьфа своему отцу Якову, когда продали Иосифа в египетское рабство? Сказали: растерзал Иосифа в пустыне лев! Следует помнить, что и членов Политбюро было двенадцать, столько же,

сколько сыновей у Якова. В свете предательства братьев по Политбюро и анти-израильски настроенного Гитлера, лвиной сущности Америки и Великобритании, куда было бежать Иосифу Виссарионовичу? В Землю Обетованную, никуда больше! Из египетского рабства в Палестину. Создать там государство и править по-сталински, как Мессия. Но для этого нужно население, чтобы было кем править. Призвал Сталин Кагановича в качестве советника. Тот ему объяснил, что в Палестине никто прижиться не может: ни крестоносцы, ни турки, все бегут из-за климата и бесплодной почвы. Кроме сионистов. Так зародилась у Сталина мысль о создании сионистского государства, после победы над египетским фараоном Гитлером. Так мы приходим к единственно возможному логическому объяснению, почему Сталин в 1948 году решил проголосовать в ООН за создание государства Израиль. Поэтому первый израильский посол Голда Меир и предоставила Сталину тайный список советских сионистов. Почему тайный? потому что планам Сталина по заселению Палестины мешали враги сионизма. А кто истинный враг сионизма? Кто противодействовал созданию израильского государства? кроме очевидного врага — британского льва? Еврей-космополиты! Вот он, самый страшный враг сионизма: космопотилизм. Именно еврей-космополиты пытались препятствовать созданию сионистского Израиля подрывными маневрами по созданию еврейской советской республики Бирабиджан. Но Сталин стоял на страже: он тут же организовал компанию по борьбе с космополитизмом. И сбылись бы чаяния Иосифа Виссарионовича, если бы не убийцы в белых халатах. Какие бы байки не рассказывал Хрущев о смерти Сталина, могу вас заверить: Сталина убили врачи-отравители, большинство из которых были, вы не будете этого отрицать, еврей-космополиты, анти-сионисты. Они и загубили Сталина. Но Израиль жив. Тело Сталина умерло, но дело его живет! Однако сталинского духа в Земле Обетованной никто не видит, кроме меня. Находясь там, я круглый год питался одной мацой: чтоб меньше досталось этому жестоковейному народу.

Америка тоже меня игнорирует. Если вы будете в американском посольстве, передайте от меня американскому президенту, что он — ренегат. Передайте ему мое личное мнение о нем: хрен собачий! Передайте ему, что если он не переведет в швейцарский банк полагающийся мне процент с государственного бюджета, я разрываю всякие отношения с Америкой и начинаю наводить мосты с Кубой. Я так могу закрутить катушку, что Соединенным Штатам придется туго. А сколько раз, еще будучи в Торжке, я спасал Америку из тяжелейших передряг? Как, к примеру, происходило с той же Кубой? Как только те (вы меня понимаете) устроили заварушку, я направил письмо на адрес Белого дома лично американскому президенту, где детально разъяснял угрозу миру во всем мире и настаивал на том, что американцы должны не только прошупывать Кубу со спутников, но и простукивать океанское дно. И тут как раз у побережья Кубы советские подводные боеголовки. И когда старый хрущ закрутил всю катушку, Америка была готова к этой передряге, благодаря моему своевременному предупреждению. Вы можете проверить справедливость моих политических предсказаний и ход развития событий даже по подшивке газеты "Правда". И так было не раз. Как только Кремль закручивает катушку, я сразу письмо лично на адрес заинтересованного президента. А что я с этого имею? Шиш с маслом. Если бы не мои письма-предупреждения, мир давно бы осоветился. Но даже здесь меня не охраняют от угрозы коммунизма, а сам я ее уже не различаю, поскольку нахожусь не в Торжке, а в самой угрозе. Они тут борются за гражданские права заключенных людоедов, которых мне удалось упрятать за решетку. Они тут кричат, что ущемляются их права человека: людоеды, видите ли, на диете, а их родственникам запрещено передавать в тюрьму продуктовые посылки. Если за мной не придет подводная лодка, придется лететь в Торжок на воздушном шаре. Чтобы обмануть перехватчиков на границе, надо стать неопознаваемым объектом: я решил как можно чаще плевать с высоты, чтобы приняли за

дождь. Я с вами откровенничаю, не спросив: а не играете ли вы на трубе?"

Каждая бредовая идея в свистящем шепоте этого маньяка в кепчонке вызывала в Револьте ощущение пощечины. Что бы ты не замышлял в надежде славы и добра, как бы оригинально не формулировал свой уход от ответа, на этой дороге обязательно встретится рожа, которая на тебя похожа, и начнет кривляться, передразнивая тебя, так точно, что от самого себя станет тошно. Сдавленный восковыми фигурами пассажиров, Револьт не мог отодвинуться от лица этого психа в кепке, отравленного заразой коммунизма, и вся эмигрантская жизнь представилась ему этой набитой мертвыми лицами коробкой, несущейся по черному туннелю, где визгливый голос, который нельзя заткнуть, долдонит тебе в лицо нечто унижительно похожее на твою собственную мысль. И нельзя даже заткнуть собственные уши, поскольку руки сжаты соседями по вагону. Но в этот момент поезд приблизился к очередной остановке, и ринувшаяся к дверям толпа пассажиров рывком отделила револьтова собеседника и вынесла его на платформу. Сквозь толстые стекла вагона Револьт видел его, призывно машущего кастрюлей. Оказавшись у входа, Револьт стал дергать ручку пневматических дверей вниз, в то время как дергать ее надо было вверх; искренняя попытка воссоединения во имя долга вежливости закончилась безрезультатно, и когда платформа поплыла назад, оставив машущего кепкой и кастрюлей непризнанного проповедника позади, Револьт еле сдержал на лице злорадную ухмылку облегчения. С тех пор его по тюрьмам он не видал нигде.

* * *

Выскочив из душного лабиринта метро, как из прошлой жизни, он снова потянулся к магниту телефонной будки. "Нету Нету", вслушивался Револьт в тот же повторяющийся тенорок ответа и молчал. "А кто ее спрашивает?" в четвертый раз бубнил голос в трубке. От обморочной без-

надежности Револют машинально назвался и с другой стороны телефонного провода в трубку прорвался поток энтузиазма, сводившегося к тому, что он, Револют, как один из основателей теоретического инакомыслия, должен немедленно встретиться с обладателем телефонного голоса и его единомышленниками, чтобы выработать принципы патриотизма инакомыслия правозащитной солидарности добровольного изгнания. "Какова ваша позиция?" спросил голос. Револют попытался изложить свою, мета-логическую точку зрения, но голос имел в виду позицию географическую. Выяснилось, что стоит Револют на площади бывшей всемирно известной тюрьмы народов: уличный указатель над головой указывал, что площадь называется Бастилия. Голос обещал быть через четыре минуты, поскольку дом Неты за углом. Встреча в кафе "Серебряная башня". Не из слоновой кости.

Он сел на лавочку рядом с кафе, не решаясь сесть за один из столиков, с мелькающими в передниках официантами, о которых столько раз читал в книгах о празднике, который всегда не с тобой. Вокруг блистал весной потусторонний мир, который был известен по картинкам и почтовым открыткам. Он попал в глянцеvidную почтовую открытку, в старый рисунок на обоях над диваном, где старое пятно от плеча, годами опиравшегося о стену, превращалось в голову зверя и сливалось с затекшим от времени рисунком обоев — с другими мифическими зверями, знакомыми с детства по горячечным простудам. Как будто вернулся в воспоминание о доме, где тебя никто не встречает. Знакомый дом, дом Неты, дом знакомой, незнакомый дом, которого никогда не видел, должен быть за углом. Его не видно. Дома не видно. Его уже четвертый год не видать. Он, наконец, догадался: он не увидит дома, который надеялся увидеть. И тюрьмы тоже не видать: вместо тюрьмы они поставили колонну. Но зачем тогда они оставили название "пл. Бастилии"? Уж если они переписывают историю и сносят тюрьмы, надо до конца уничтожить все намеки на прежнее положение дел в своем эгалите, либер-

те, фратерните. Чтоб неверие незнанию не поставили в укор. Сверху каркнул ворон, и Револют поднял голову и увидел, что ворон сидит на голове каменного ангела. Ангел стоял на колонне, воздвигнутой посреди площади. Ангел был с факелом и крыльями, но вид у него был такой, как будто он неудачно приземлился на одну ногу, и балансирует на шаре, которым заканчивалась колонна. Казалось, что ангел сейчас упадет: или шар упадет с колонны от приземления ангела, или сам ангел поскользнется на скользком шаре. И превратится в павшего ангела имени павшей тюрьмы. Тюрьмы сносятся, остаются падшие ангелы.

Револют вздрогнул от голосов, говоривших по-русски. Он сидел на сдвоенной лавочке и затылком чувствовал, что у него за спиной уселось несколько человек. Но оглянуться Револют не решался.

”Со мной тоже случай был: проснулся раз ночью, темно, стал руками вокруг шарить — где я? И рука натывается вдруг сверху на какие-то прутья: как же это, думаю, я под кроватью оказался? Стал выползать из-под кровати, отодвинул полог, высовываю голову и вижу: звезды надо мной и озеро! Это я в крытом грузовике заснул”.

”Это со мной с перепоя всегда вроде того бывает. Бывало, иду с пьянки, как всегда не качаясь, наклонившись иду, но уверенно. Но как только до своего жилого корпуса доходил, выключалось что-то окончательно. До дома непременно дойду, но засыпал всякий раз в соседнем подъезде. Отключка происходила непременно за шаг до родной лестничной площадки; ну еще шажок, и ночевал бы в своей постели. Но как только родной подъезд завижу, отключка происходила. И наутро в соседнем подъезде просыпаюсь”.

”Похоже, что вы и в Париже, как в соседнем подъезде”, гассировал в ответ ему дворянский выговор. ”А мы с папой обсудили и решили: если и здесь к власти придут коммунисты, в четвертый раз эмигрировать не будем”.

”Вот все говорят: Россия сразу по всему миру распространяет. А теперь-то видим мы своими глазами, отку-

да зараза идет: с Запада. И нечего тут Россию винить. Поскольку рыба, она, как известно, гниет с головы, Запад — он и есть голова, известно теперь, откуда загнивание пошло”.

”Рыба? А разве рыба с головы гниет?”

”С головы! Рыба гниет с головы, откуда же ей еще гнить?”

”Или с хвоста? Подумали ли вы о хвосте?”

”Пожрать бы сейчас. Куда этот гений инакомыслия запропастился? Все он иначе понимает, включая место встречи”, и Револьт уже готов был подняться, но снова прирос к лавочке.

”Он в Русалиме в этом, говорят, совсем того. Из университета, говорят, его поперли: посреди лекции, рассказывают, вдруг замолчит, снимет очки и в окошко глядит, так и стоит. И ремешок крутит: у него, знаете, еще с Москвы такая привычка — крутить ремешок, собачий поводок. Как бы не удавился там, в своей Запархатии”.

”Это ложь!” вскочил Револьт со своей лавочки. ”Я никогда не водил свою собаку на поводке: это унижает человеческое достоинство!” Он с каждой секундой терял дар речи от возмущения.

”Так вот он где?” — и чья-то рука запанибратски хлопнула его по плечу. ”Так вот сидишь на одной скамье подсудимых спиной друг к другу, а друг друга так и не разглядишь перед лицом верховного суда, а?” спешил заметить неловкость человек в черных очках с лоснящимся носиком.

”Мы с вами, кажется, не проходили по одному делу?” с тупым буквализмом сухо осведомился Револьт.

”Это мы там не проходили, а здесь мы сидим в одном общем деле, и я на это дело смотрю под лозунгом: Эмигранты всех стран, соединяйтесь!” и он уже тащил Револьта к столикам кафе. ”Остается сочинить декларацию прав эмигранта: знаете, в духе вашей памятки революционизированного свидетеля”, и он уже стучал костяшками пальцев по столику в ожидании официанта. ”Надо многое обсудить. Как продвигается ваша мета-теория?”

”Про теорию я уже забыл. Но мне остается сочинить несколько логических парадоксиков — они-таки у меня головы поломают!” жестоко проговорил Револьт, сжимая коленями чемодан под столиком.

”Кто — они?” ошарашенно посмотрел на него лоснящийся собеседник в черных очках, и снова забарабанил по столу. ”Гарсон, гарсон!” фальшиво грассируя, дернулся он за шнырнувшим между столиками официантом. Официант в широком переднике метался по кафе, как будто бешено вальсируя с салфеткой наперевес и с подносыком в руке; из-за мечущегося на нем передника казалось, что закручивается он не от толкотни посетителей за столиками и у стойки, а как флюгер от ветра, дующего с реки Сены прямо в его широкий передник. Как будто сейчас оторвется от земли, подхваченный ветром, и полетит, растопырив ноги. Он, полный чужих заказов, пролетал мимо чужой заботой. Он подавлял своей озабоченностью. Его неприступность состояла в том, что на лице его было написано: ваш заказ не идет ни в какое сравнение с тем важным заказом, который я получил не от вас, а вон с того столика. Он был сама тайна: а вдруг у него заказ с того света? Он был в зените славы и пот градом катился с его низкого лба. Четверка револьтовых сопровождающих во главе с черными очками сидела взъерошенная: ”Ну что с ним делать? Жалобную книгу, что ли, потребовать? Гарсон, гарсон!”

”Я бы на месте этого, как ты говоришь, гарсона, тебя бы не только обслуживать отказался, а прямо вышвырнул бы из этого кафе по особому заказу. Потому что не понимаешь ты обращения с официантом в парижском кафе!” наставительным баском стал поучать черные очки прыщеватый молодой человек. В его голосе пробивалась подростковая сипота, но он превозмогал ее неестественно громким нутряным голосом. ”Гарсон — есть обращение к официанту прошлого века. А сейчас у них профсоюзное движение. В наше время в Париже надо прищелкнуть пальцем и бросить эдак: мосье! Мосье, понимаешь ты, а не гарсон твой дурацкий. Пальцем так, щелкнуть, и: мосье! А ты заладил

свое: гарсон! гарсон! Мосье!” крикнул он осипшим голосом и защелкал пальцем, но щелчка на этот раз не получилось. Промелькнувший официант, как вздыбленная лошадь, скосил глаза на спорщиков, и на ходу щелкнул себя по щеке, прихлопнув весеннего комара.

”Да что ж это такое? пальцем щелкнуть?! Да что же он, пудель что ли? Мы же к нему по-человечески, мы к нему по-русски, как человек с человеком, по-родному с ним. Мосье? Нет, мы эту сволочь научим по-русски разговаривать. Где ж права человека на родной язык?” заерзал рыжебородый пьяненький в углу стола.

”Вот вам, пожалуйста, пример, именно про это я вам и говорил”, энергично закивал головой Револьту человек в черных очках.

”Если он нас обслуживает, что же он — не человек, что ли? человеческого языка не понимает? Мы же тут меньшинство, а по правам человека меньшинство все права имеет. Если он нас обслуживает, то он на нашем языке обязан говорить. По-человечески. Вот я его сейчас по-русски: эй, официант! официант!” — не унимался рыжий.

”Если хотите знать, официант — это не русское слово”, возмущился полиглот-подросток.

”А какое же оно, интересно знать? какое же оно не русское, если у нас в Союзе этим словом официанта звали?” В этот момент официант, остановившийся у столика с невидимой для спорщиков стороны, постоял положенные четыре секунды и, так и не услышав заказа, качнулся и улетел на своем переднике, помахивая салфеткой. ”Какое же оно слово, советское, что ли? Официант, и не русское слово! Ну, а мы тогда его по-антисоветски, по-дореволюционному, по-трактирному: эй, человек, *челазк!*” гаркнул рыжий на весь зал. С соединных столиков оглянулись.

”Без окон, без дверей — полна горница людей. Что это такое, Василь Иваныч, спрашивает Петька”, как будто разжевывая и по-дворянски картавя, стал рассказывать анекдот растолстевший медлительный человек в полосатом костюме. До сих пор он лишь молчаливо разглядывал ме-

ню. "Без окон, без дверей — полна горница людей? Что это такое? Жопа! радостно отвечает Василь Иванович. Вот и неправильно, говорит Петька, это не жопа, а огурец!" Револют остекленело слушал толстяка, заглядывающего ему прямо в глаза без тени улыбки. "А вот, говорит Петька, еще загадка", продолжал полосатый толстяк, вертя пуговицу на револютовом пиджаке.

"Это политический анекдот?" вмешался организатор в черных очках, забыв про официанта. "Если это политический анекдот, то мы его включим в наш альманах. Альманах будет называться "Девятый вал": вдарим, знаете, по первой и второй волне русской эмиграции. А то они все раскричались: советизмы, советизмы, а сами что говорят? "Ферме ля форточка", вот как они говорят! А мы их затопим живой разговорной речью. Все горло пересохло. Куда же он запропастился? Эй, гарсон, гарсон!" и инициатор девятого вала снова надел черные очки для солидности: он то снимал их, то вновь напяливал на маленький носик, и никак не мог решить, как лучше заинтриговать официанта — в очках или без? "Надо бороться за чистоту языка. Я тут согласен со Сталиным-Лениным: территориальная общность, по его определению нации, у нас есть — все мы за границей; религия у нас общая — антисоветская, так что остается блюсти языковую общность. А то ведь что они в эмигрантских газетах пишут? Как умрет человек, сообщают по-западному, перечисляя все родственные связи. А по-русски читаешь: извещаем о смерти нашей матери, тещи, бабушки, племянницы и тетки. Это мы пустим в страничку юмора".

"Перестаньте, пожалуйста, крутить мою пуговицу", тихо сказал Револют полосатому толстяку. "Этот пиджак был мне кем-то когда-то подарен и оторванная пуговица может привести к неприятнейшим последствиям. Что вы сказали про тетку и племянника?" переспросил он черные очки, но очки уже устремились на очередные поиски официанта.

"Вот как?" страшно удивился полосатый, оставив пу-

говицу в покое. "Дурная привычка с детства. Так вот: без рук, без ног — все поле обег. Что это такое, спрашивает Петька Чапаева. Жопа! кричит Василь Иваныч. Неправильно, говорит Петька: это не жопа, а серп!" и слегка отклонившись на стуле, не повернув головы, а лишь сдвинув в сторону губы, он шепнул в дуновение воздуха, произведенное пролетающим мимо официантом: "Камамбер, кофе, сильвупле". И через секунду, как будто возникшее из этого дуновения, все перечисленное покоилось на столе: дымящаяся чашка черного кофе и на снежной салфетке сыр. "Как это так?!" сорвал черные очки от удивления организатор встречи, но рыжий тем временем успел ухватить на этот раз официанта за рукав. Пока все остальные враждебно поглядывали на толстяка в полосатом, невозмутимо слоившего ломтиками снежный камамбер, инициатор девятого вала, снова нацепив гангстерские очки, стал втолковывать официанту меню, путаясь и объясняясь на пальцах:

"Так, гарсон, значит у нас так", торопился он, стараясь не упустить официанта. "Кто что? кеске-се? Револют? бутерброд? Значит, так: один сандвич с ветчиной, рыжий, эй, рыжий — тебе сосиски? и мне, мне сосиски. Два раза сосиски, с сыром, а тебе чего?" повернулся он к подростку.

"Ну, еще чего спроси", брезгливо огрызнулся тот. "С тобой в парижское кафе ходить — только позориться. Сколько раз я тебя учил, старого дурака, что в парижском кафе надо сначала заказывать напитки. Напитки сначала, а ты только о жратве думаешь. Мосье, для меня кальвадос, затем? кофе, я полагаю, на всех?"

"Сосиски", снова вставил обладатель черных очков. "Сосиски не забудь". И кашлянул солидно.

"И пива, пива чтоб принес. Кальвадос тоже хорошо с коньяком. Но я сосиски не могу без пива. Кофе тоже пойдет, чтобы потом запить это все для вкусу. Но сосиски разве можно без пива? если они тем более с сыром? Пива, человек, бирр, бирр!" гаркнул рыжебородый в лицо

официанту тем голосом, которым всегда объясняются с иностранцем, приравнивая его к глухонемому.

”Во-первых, заказ в парижском кафе полагается делать одному человеку, а не хором”, и подросток от раздражения сбился на тенорок. ”И во-вторых, вы неправильно грассируете во французском произношении слова ”пиво”.

Официант с нездешним выражением лица игнорировал все эти пререкания и, покачавшись на каблуках положенные четыре секунды, снова улетел на своем фартуке. ”Ну чего ты лез не в свое дело!” заорали все трое друг на друга одновременно и, оглушенные собственным криком, испуганно притихли.

”Черт знает что творится”, проговорил сквозь зубы организатор этой встречи на верхах, и снова надел черные очки. ”Я имею в виду Россию. Говорят, в Мавзолей бомбу подложили. Всего Ленина по кусочкам собирали”.

”Это еще до твоего отъезда слухи такие были, и ничего, между прочим, не взорвалось. Путаешь ты. Сейчас многое изменилось. Сейчас там уже не так”, меланхолично пробормотал рыжий. ”К тому же мумия давно вся искусственная. Разлетелась — заново собрали”.

”Слухи, не слухи, а Сталина заранее из Мавзолея убрали. Ему значит повезло. Это типично. Это реабилитация сталинизма”, пробурчал гневно девятый вал, сняв очки.

”А что такое, спрашивает Петька, два конца, два кольца, посередине гвоздик? Ну это уж точно жопа! радостно кричит Чапаев. Вот и неправильно, говорит Петька: это, Василь Василич, не жопа, а ножницы! Тут Чапаев вздохнул и говорит: и чего только русский народ про жопу не придумает!” и грассирующий толстяк в полосатом пиджаке положил на язык снежный ломтик камамбера. Все поглядели на него враждебно, проглотив слюну, а он невозмутимо прихлебнул кофе из дымящейся чашки.

”А когда про жопу-то анекдот будет?” скучая спросил рыжий. ”Все про ножницы там, серп с молотом”, но его глубокомысленное замечание потонуло в общем радост-

ном вопле: склонившийся над столом официант выгружал с подноса тарелки и блюдечки с бутербродами, сосисками, напитками и кофе.

”Как же это он все угадал? Подслушивал, небось: все они здесь за нами подслушивают, полицейское государство”, бормотал девятый вал, расхватывая тарелки и чашки, и вдруг снова заметался: ”А сок апельсиновый? Сок забыл! Сок оранжевый”, стал втолковывать он официанту, имея в виду апельсиновый сок через транскрипцию французского ”оранж”. ”Сок оранжевый. И побольше, баку, понимаешь? баку!” вспомнил он, наконец, нужное слово, тыкая в нос официанту расставленными пальцами, чтобы показать количество соку в стакане. ”Не официанты тут, а бакинские комиссары. Ну вот, ну что это такое?” и он поднес к свету принесенный стакан с апельсиновым соком. ”Ну чего он принес? соку полторы капли, а полстакана льдом набито! Не ем я ихний лед, не ем. Мне горло надо беречь для митингов протеста против”. И недолго думая, он залез всей пятерней в стакан и стал вытаскивать оттуда скользкие кубики льда и выбрасывать их прямо в пепельницу, где зашипели дымящиеся сигареты и резкий запах влажного пепла шибанул в нос. Мир распался на несоместимые бытовые подробности. И вся компания за столом показалась Революту мучительным нагромождением затертого привычкой быта, но протасченного сквозь узкую дверь другой жизни, когда безнадежно и окончательно сдирается лак и позолота, все, что делало этот быт приемлемым и допустимым. И заново обжить этот развал не поможет ни позолота пригревающего внешнего солнца, ни свежий лак клейких весенних листочков.

”Умм?” сопел над булкой с сосиской, не слишком вслушиваясь в разговор, рыжий. Да и разговора, собственно, и не было. В наступившей тишине вдруг разом опустевшего кафе Револют услышал отчетливое бурчание в собственном животе. Бурчание было настолько отчетливым, что, казалось, идет извне, и Револют, приблизив ладонь к уху, перегнулся через стол и спросил резким голосом: ”Что?”

”Что — что?” в свою очередь пересрпосил его испуганно организатор в черных очках. В этот момент зоркий подросток потянулся к револьтовой ладони и, резко вывернув ее, спросил, глядя прямо в глаза: ”Что это у вас за номер на руке? Это у вас так в стране заветов номеруют, что ли?” Револьт выдернул руку:

”Это телефонный номер и адрес. Не помню чей. Записал на ладони, чтоб не потерять”, и он убрал руку под стол. Тут и раздалось хихиканье. Или даже хрюканье. Хрюкал рыжий, давясь от смеха. Откусив огромный кусок булки, в которую была заправлена сосиска, он никак не мог перекусить тянущуюся нитку расплавленного сыра. Она тянулась и тянулась у него изо рта и конца ей не было видно. Он уже разогнул локти, уже откинул голову назад, а она все тянулась. Его это страшно веселило, и как человек коллектива, он был заинтересован в том, чтобы и другие посмеялись, поскольку сам он смеяться не мог: его рот был набит битком. Чтобы привлечь внимание других, рыжий производил сложные телодвижения: тыкал локтем в бок тому, до кого мог дотянуться, мотал головой и выпучивал глаза в сторону, надувая щеки. Но в конце концов не выдержал: его красное лицо приобрело зловещий багровый оттенок, щеки раздулись и он прыснул долго сдерживаемым сдавленным смехом. Прыск был выдан с напором не только сдавленного дыхания: из его гогочущего рта вылетели брызги всего пережеванного и непроглоченного. И в отличие от предыдущих реплик за столиком, это был плевок вовсе не в душу: прыск пришелся прямо в лицо Револьту. ”Господи!” вскрикнул Револьт и, схватившись за лицо руками, выбежал из кафе.

В скверике по соседству, неподалеку от знакомой двоянной лавочки, он в полуслепоте добрался до фонтанчика с питьевой водой и ополоснул лицо. Потом плюхнулся на двоянную лавочку перед ангелом бывших заключенных и закрыл глаза. ”Хочу обратно”, бессмысленно прошептал Револьт: бессмысленно, потому что понятие ”обратно” окончательно потеряло свой смысл: он от дедушки ушел и

от бабушки ушел и от тетки и от племянника. Его вернул на круги своя знакомый, родной и забытый запах. Как будто брошенная в Синайской пустыне Каштанка передала ему на прощанье в наследство собачье отношение к действительности: в чужих странах ты начинаешь внюхиваться в новый запах бензина, прежний запах клейких листочков, пытаясь угадать разницу, существующую лишь в памяти. Но сейчас Револьт мог с уверенностью сказать: "Слышу запах родины. Россией пахнет". Этот запах подхватил его и перенес в прокуренные тамбуры подмосковных электричек и коридоры учреждений, где люди жмутся по стенам, зажав окурок в кулаке, а докурив, незаметно растирают окурок каблуком. Пахло советской властью. Он открыл глаза и оглянулся: за спиной, на лавочке, повернув мощные затылки, сидели два черных пиджака; над их макушками вились струйки сигаретного дыма. Об утраченной родине и напоминал этот великий и могучий запах лежалой соломы, подпаленной шкуры, горящего навоза — запах советских сигарет. И тут, рука одного из одетых в черное противоестественно и одновременно приветственно вздернулась над плечом, и под ноги Револьту шлепнулась смятая картонная пачка. Стараясь не менять позы, Револьт дотянулся и поднял с земли искореженный комок картона: это была пустая пачка сигарет; "Мокба", прочел он название иностранной марки на пачке и долго вертел ее в руках, пока до него не дошло, что буквы не латинские, а кириллица. И эта кириллица на пачке сигарет перевела иностранное слово "мокба" в слово "москва".

"На Ленинград похоже", сказал один из двух черных пиджаков из-за спины.

"А по-моему, все же на Москву. Ленинград-то ведь у нас плоский. А тут спуски да подъемы", сказала другая черная спина и вытерла потный затылок платком.

Револьт огляделся и увидел шумящую площадь, бабьи фартуки спящих официантов, голубей, дерущихся с воробьями, ангела на шаре, балансирующего на вершине тюремной колонны, и стало ясно, что он окружен, что кру-

гом ходят люди, сравнивающие Шанхай с Москвой и свинью с иерусалимским апельсином, и что отсюда надо как можно быстрее уматывать.

”Да какой же Ленинград, когда ясно видно, что на Москву похоже”, снова донеслось со стороны черных пиджаков. ”Улицы загибаются”.

”Что-то есть, конечно, от Москвы. Но колонн уж больно много, а потому все-таки Ленинград! И музеи опять же. Из музеев мне начальство настоятельно рекомендовало посетить Пантеон. А тебе, Иван Иванович?”

Но Револьт воспринял этот подслушанный вопрос как обращенный к нему, к Револьту, а не к Ивану Ивановичу. При слове ”Пантеон” он вскочил с лавочки с решительностью человека, который наконец понял, где собака зарыта. Он наконец догадался, какая третья волна занесла его в город Париж. Он ворвался в кафе, где четыре конспиратора продолжали о чем-то переругиваться, с криком ”чемодан, чемодан!” ”Куда вы несетесь, мы должны обсудить”, дергал его за рукав черноокастый, вновь снявший очки, пока Револьт вытаскивал из-под стола свой забытый чемодан. ”Что осудить?” остановился на секунду Револьт, взглядываясь в бесцветные рыбки зрачки, а потом, покачав головой, добавил: ”Мне отмщение и аз воздам. Чего тут осуждать? Я тороплюсь: у меня свидание чрезвычайной важности”, и он неопределенно махнул рукой в направлении удаляющихся черных ангелов. Подхватив чемодан, он устремился за ними своей прыгающей походкой.

* * *

До него наконец дошел смысл и цель его затянувшегося маршрута. Две фигуры в черных пиджаках, которых Револьт старался не упускать из виду, направились к изогнутому мосту над рекой; за мостом, в конце поднимавшейся вверх улицы, мелькнул вдруг мыльный пузырь огромного купола, и Револьт, сжав покрепче ручку чемодана, ускорил шаг. От реки пахло пригородом и сеном, а может быть

это было лишь гипнозом из-за ее названия. Пересекая бульвар, он потерял след двух черных ангелов впереди, но он уже не нуждался в провожатых: купол, на мгновение исчезающий, появлялся непременно вновь над крепостным валом жилых домов. Револьт бежал мимо кафе, где люди сидели за столиками и глядели на тех, кто проходил мимо, а те, кто проходил мимо, бросали взгляды на тех, кто сидел за столиками, и так проходила жизнь. О ней без умолку говорили на картавом языке проходящие мимо сидящих и сидящие мимо проходящих; и если бы он мог остановиться и прислушаться к птичьему языку, то, наверное, перестал бы думать об идущих и сидящих как о проходящих мимо него; но он шел мимо жизни, а не вместе с нею, он выискивал значение в мимо проходящей жизни. Но в проходящей жизни нет иного значения, кроме как предвкушения конечной остановки, которая в другой жизни носила название "исторической необходимости" или "генеральной линии партии".

Латинское слово "мокба" снова замаячило перед глазами, как привидение, и снова обратилось в привычное слово МОСКВА, когда Револьт узнал в картинке под этим названием Красную площадь с Мавзолеем. Потом, как после ватного тампона с нашатырем, восстановилась и картинка улицы: он стоял у витрины книжного магазина и за стеклом, в котором отражалась вывеска китайского ресторана напротив, во все стороны разбегалась кириллица русских изданий. Но вся эта "мокба" и Мавзолей на Красной площади, с лозунгом по-китайски от отраженной рекламы китайского ресторана, ушли на задний план, потому что Револьта гипнотизировала исключительно одна картинка — фотография на обложке большого альбома с магической надписью "Пантеон". Топография на обложке альбома показалась знакомой, он оглянулся и понял, что фотография копировала тот переулок, в котором он очутился. Переулок уходил резко в гору и в конце его, нависая шапкой над фасадами домов, виднелся заостренный купол. Он был достижим, до него было рукой подать, и перед решающей встречей надо было узнать о нем все. Все остальные книги с

кириллицей названий, о которых каждый мечтает в Москве, показались вдруг ненужными и вторичными. Но обложка альбома в витрине как будто отражала последние сто метров его пути, и Револют потянул на себя дверь книжной лавки. Дверь открылась с усилием, потому что была на мощной пружине, но зато закрывалась за спиной с медленным шипеньем. Навстречу ему вышел молодой человек с закрученными усиками; крутя ус, он обратился к Революту по-французски, и посчитав блуждающий взгляд Революта за непонимание французского, осекся и перешел на русский, извиняясь: "Знаете, после эмигрантских походов все так меняются, что не сразу скажешь: наш или не наш". Единственный экземпляр жизненно необходимого Революту путеводителя по Пантеону можно было достать лишь с витрины, и молодой человек с усиками, откручивая необходимые винты стеклянной перегородки, сказал: "А не желаете пока наши книжечки поглядеть? в том конце?" В магазине стоял запах казеинового клея, переплетов и типографской краски с пылью: один из тех вечных запахов, которые в изгнании возвращают вас туда, откуда однажды ушел, поклявшись никогда не возвращаться. Продавец с усиками возился у витрины, оставив Революта перед стендом со свежими советскими газетами. Были тут и газеты, которые Револют никогда в жизни не раскрывал: газета "Лесная промышленность" цвела весенними заголовками с передовицей под названием "На юге уже сажают", а рядом обсуждалась механизация труда под заголовком: "А не пора ли отказаться от топора?". "Лесная промышленность" прикрывала другую газету, от которой наружу выглядывал лишь остаток названия знакомым шрифтом: "ИЯ", и чуть пониже, мелкими буквами "СССР"; "И я СССР", отсекалось афоризмом от известного названия "ИЗВЕСТИЯ... трудящихся... СССР". И я СССР! Револют резко отвернулся от этого нежелательного умозаключения, и тут в глаза ему стрельнула желтая полоска тонкого переплета под названием "Логический вывод из предварительного заключения" с подзаголовком "поток дознания".

Там, где полагается стоять имени автора, была выставлена фамилия Революта, но Револют уже не был автором: он стоял в парижском магазине русской книги, а вовсе не на тех воинственных позициях того периода, когда им сочинялись эти мемуарные потоки дознания.

Случалось ли вам от отчаяния писать письма самому себе? Или получать обратно ваше собственное письмо, возвращенное с печатью "адресат выбыл"? Когда возвращаясь с душного собрания в свой жилой корпус новостройки с пулеметными отверстиями в батарее почтовых ящиков в подъезде, вы, как будто очнувшись от обморока, замечаете, что дырки почтовых ящиков не глядят черными дулами забвения, но белеют перемирием конверта внутри. И вот вы подымаетесь на лифте и вертите в руках конверт, не понимая, от кого получено свидетельство твоего присутствия на земле. И еще не связав с себя вытершегося драпового пальто, присев на табуретку, вы вертите в руках конверт, не понимая, почему так знаком почерк выставленного адреса и почему загогулины почерка раздражают своей некрасивостью, той некрасивостью, которой нет ни в каком другом почерке, кроме своего собственного. И вскрыв подмокший с угла конверт, вы разворачиваете смятые листочки и на первой же фразе испуганно бросаете эти листочки на стол и, прикрыв их ладонью, оглядываетесь. И снова взяв конверт в руки, убеждаетесь, что адрес выписывала ваша собственная рука. Письмо вернулось к отправителю, поскольку адресат выбыл. С такой же подозрительностью Револют и вытащил на свет желтую брошюру с логическими выводами из предварительного заключения, зажатыми на полке геологическими сдвигами "Архипелага ГУЛаг" с одной стороны и "Зияющими высотами" с другой:

"С металогической точки зрения Россию следует приравнять не к Египту, а к Вавилону; и тогда Москва становится тождественной Уру Халдейскому. Каждый из нас, таким образом, есть Авраам из Ура Халдейского", захлопнул Револют желтое чтиво. Не слышно ура из халдейского Ура. И ты СССР. "Можно приравнять обезьяну к попу-

гаю и даже свинью к апельсину”, сказал шепотом Револют парижский Революту иерусалимскому. ”Но надо найти что-то общее. То, что и обезьяна и попугай передразнивают человека, еще не основание для параллели. Сходство тут скорее указывает на различие, как в случае с языком русским и украинским”.

”Эгоизм утверждается в мире, все хотят отдельной жилплощади”, донесся до него голос продавца с усиками у витрины, втолковывающего свою мысль очередному знакомому покупателю. ”Вот и Мицкевич поссорился с Пушкиным. Независимость Польши, видите ли, особый путь. Из-за этих освободительных затей была предана осквернению высокая идея дружбы славян между собою. Надо иметь скромность сознавать себя рабом имперской идеи, идеи космополитической. Но варварам всегда требовалась свобода и самостоятельность. Чучмекам нужен свой алфавит, что им до всемирности римского закона? Что вы делаете?!” — донесся до Революта явно обращенный к нему крик продавца: Револют, даже не потрудившись отвернуться, сосредоточенно и последовательно рвал на кусочки свои собственные логические выводы из предварительного заключения в желтой обложке.

”Но я имею право на самоуничтожение!” закричал Револют оторопевшему продавцу русской мысли в изгнании. И в тот же момент осознал незаконность своей акции: ведь он рвал на части не самого себя, а того Революта из-под обложки, который уже не имел никакого отношения к Революту, находящемуся на подходах к Пантеону. Отбросив брошюру с потоком дознания, он выхватил из рук продавца упакованный путеводитель по Пантеону и бросился к выходу. Дверь закрылась за ним со змеиным шипением. ”Варвар!” услышал он вдогонку. Он решительно взял резко влево, проскочил еще один узкий переулок, и, как будто взяв себя под уздцы, застыл со стуком в висках в центре неожиданно развернувшейся площади. Он не ошибся в маршруте: перед ним, во всем поганом величии ложно-классического стиля, возвышался Пантеон.

ТЕТРАДЬ № 9

Чем ближе подходил к Пантеону Револют, тем больше этот храм походил на взбунтовавшегося головоногого. Потому что купол, подсвеченный заходящим солнцем, становился все больше похож на то, чем и полагается быть куполу: на кумпол. Поэтому колонны, выроставшие из-под купола, как из головы осьминога, становились щупальцами, выпрямлялись во внезапной судороге перпендикулярно, как будто весь гигантский головоастик готовился к прыжку. И чем сильнее сгущались сумерки, тем контрастнее вырисовывался Пантеон заходящим солнцем, превращаясь в единый темный силуэт, в ворота в стене неба, поджидавшие прихода Революта. А внутри, на том свете, по другую сторону неба его ждут гробницы великих людей, и в одном из саркофагов тот, с кем давно назначена встреча. Об этой встрече никто не должен догадываться: недаром сам Револют о ней как будто окончательно забыл и не вспоминал до самого последнего момента. Каков будет ритуал? Каков должен быть ритуал встречи с собственной памятью? Каковы бы ни были исторические задачи этой аудиенции, ясно было, что о ней не стоит болтать и вообще лучше, чтоб никто не заметил, как ты входишь в эти ворота в небе: этот город полон двойных агентов, а все население на самом деле говорит по-русски, только делает вид, что шепчет на картавом птичьем языке. Взбежать по широким ступеням, два раза оглянуться, направо, налево, потом назад без гнева, и решительно шагнуть под колонны. Гулким эхом отзвучали револютовы шаги по мраморным плитам, когда он командорской походкой прошел сквозь двойные

дубовые двери-ворота с цепями. "Ваш билет?" грубо окликнул его человек в ливрее.

Это было унижительно: повернуться к билетной стойке и, гремя в дырявых карманах франками, покупать жалкий пропуск за гроши: будто ты не главная персона предстоящей аудиенции, а просто-напросто завзятый зевака, заглянувший от нечего делать в государственный музей перед самым закрытием. Но потом Револют сообразил, что трюк с входным билетом — заранее запланированный хитроумный ход великого резидента Пантеона: устроить тайную аудиенцию с Револютом под видом рядового посещения музея случайным туристом, а всех лакеев переодеть в государственных музейных служащих. Остроумно и конспиративно. Сжав билетик в кулаке как пропуск, Револют шагнул в сквознячок полутемной залы, готовый полной грудью вдохнуть дым коптящих факелов над гробницами, ожидая торжественной церемонии знакомства с гипсовыми бюстами великих сынов человечества. Револют видел в воображении всю процедуру: как его будут представлять каждому из них, а он будет отвечать коротким сдержанным поклоном, полным тайной многозначительности, и в конце этой гипсовой аллеи удостоится рукопожатия самого резидента и состоится коленопреклоненная беседа. Однако, когда он вступил на кафельный пол гигантской залы, в носшибанул музейный запах пыли и воска, запах заброшенной церкви. От неожиданности Револют чуть не выронил чемодан: все огромное здание с куполом оказалось перевернутым вверх дном гигантским пустым горшком. Под фигурной крышкой купола ничего не было. Под балюстрадой колонн по периметру гуляли сквозняки. Холод пробирал до чашечек колен и заныли десны под новыми искусственными челюстями. Как будто из огромного барского дома вынесли мебель, сняли люстру, а сам хозяин отбыл за границу в связи с государственным переворотом.

Револют почувствовал подвох — если не ловушку; его явно заманили не туда: где, например, гробницы? Стараясь не привлекать внимания билетеров, он стал осторож-

но обходить колоннаду по краям залы. На стенах, как в близоруком бреду, были намалеваны некие аллегорические сцены, где одна и та же, полуодетая в псевдоклассическом духе, дама с венчиком святой вокруг кудрей спасала толпы обезумевших людей от эпидемии чумы, от эпидемии пожаров, от эпидемии наводнений. В каждой из четырех стен залы было по огромной дубовой двери; они-то и вели, наверное, туда, куда не полагается входить простому смертному. Прижавшись ухом к холодной полировке дуба, Револьт пытался угадать, не притаился ли кто за дверью; оглядевшись по сторонам, он стал дергать эти дубовые ворота. Но двери отзывались лишь эхом кандалного звона цепей и замков. Во время очередной революционной попытки доискаться до входа в гробницу, кто-то осторожно постучал по его плечу:

”Экскурсия по подземелью через десять минут. Сбор экскурсантов у группы энциклопедистов, обсуждающих идеи революции”, и билетер в униформе указал пальцем на белеющее нагромождение гипса в той далекой части гигантского зала, которую следовало бы назвать алтарем. Это было хитро задумано: не встреча на верхах, а экскурсия по подземелью, он экскурсант и не более того. И Револьт направился к энциклопедистам, обсуждающим идеи революции. Огромная белая глыба, то ли взбитого крема, то ли застывшего гипса, оказалась вблизи грудой лиц, знакомых по школьному учебнику истмата, ноги у них отсутствовали, а мускулистые торсы сливались и терялись в гипсовых складках грудастой дамы, символизировавшей Революцию. Эта женщина явно куда-то спешила, стремилась вперед, выпутываясь из каменных складок ночной рубашки, а может быть простыни: как будто с утра пораньше ее разбудил громким стуком в дверь визитер из кредиторов, или с обыском пришли. Гипсовые энциклопедисты, запутавшиеся в ее ногах, умильно, мудро и барельефно поглядывали на нее, не понимая, что уцепились за ее ночную рубашку и не дают ей как следует приодеться перед обыском; подперев подбородок локтем, энци-

клопедысты обсуждали идеи Революции, заглядывая ей под юбку. Револют стал обходить всю эту постельную сцену, узнавая все новые и новые лица, и когда оказался у Революции со спины, столкнулся носом к носу с двумя пресловутыми черными пиджаками. Два черных ангела, вооружившись карандашом, черкали что-то на заду у Революции, но услышав шарканье револютовых ног, одернули пиджаки и стали внимательно оглядывать купол помещения и разные другие достопримечательные колонны. Стоило им на минуту отвернуться, как Револют, подскочив, быстро прочел то, что было занесено карандашом на гипсовых формах. Надпись гласила: "Были в этом Пансионе в день международного праздника всех трудящихся. 1-го мая 1979 г. Да здравствует Рев...", обрывалась надпись. Было ясно, как дважды два четыре, что сокращение "Рев" намекало на присутствие Революта; чуть позже другой агент из их же шайки незаметно подкрадется и оставит на том же месте руководящие указания, что дальше делать с этим самым Револютом. Впрочем, еще неизвестно, на кого они работают: именно эти два черных ангела навели Революта на маршрут, ведущий к Пантеону; может быть они только делают вид, что сами-понимаете-на-кого-работают; может быть, это самое "Рев" надо понимать вовсе не как "Револют", а как "Ревизионизм"; а сами агенты работают наоборот на того, с кем у Революта назначена аудиенция, а вовсе не на сами-понимаете-на-кого. В любом случае надо делать вид, что ты экскурсант. И Револют демонстративно зашелестел путеводителем.

Строчки прыгали перед глазами, потому что приходилось еще и ухо держать востро, и глаз начеку. То ли подсунули не тот путеводитель в магазине русской книги, то ли он сам явился не по тому адресу, но история Пантеона не содержала никаких пророческих указаний на предстоящую аудиенцию. В начале шли запутанные сведения про Пантеон как усыпальницу для мощей некой Св. Женевьевы, покровительницы Парижа в годы чумы, наводнений и иностранной агрессии. Как она попала в Париж, оставалось неяс-

ным, но Великая французская революция положила конец этому идолопоклонству и предрассудку: в дни Великого Террора, чтоб неверию незнание не поставили в укор, каркнул ворон "невермор!", и мощи Св. Женевьевы были выброшены на Гревскую площадь, сожжены при массовом стечении народа, а пепел был выброшен в Сену, "которая и стала последней усыпальницей этой первой покровительницы Отечества". Револют слабо понимал, какое отношение Св. Женевьева (Ева? из Женевы? надо позвонить и еще раз проверить, не вернулась ли Нета с Женевского озера?) имела к Анатолю Франсу. Так или иначе, усыпальница опустела; тут как раз и подоспела кончина великого оратора революции Мирабо и для его останков нужно было подыскать подходящую усыпальницу. Благодарные потомки решили переоборудовать бывшую церковь в усыпальницу великих сынов Отечества, поскольку сыны Отечества и друзья народа выгодно отличаются от святых тем, что святые эгоистично проливают исключительно свою кровь, а сыны Отечества и друзья народа не забывают щедро проливать еще нашу с вами. Первоначально Пантеон был назван Кенотафом, что означает Мавзолей (тут Револют сделал пометку ногтем), и в этот Мавзолей был внесен гроб с мумией или урна с прахом оратора Мирабо. Но недолго пролежал глашатай революции в своей усыпальнице. В соответствующий брюмер или жовтень, во всяком случае не термидор, королевский архив был вскрыт. (Не надо заводить архива). На двадцатом съезде якобинцев был предан гласности документ, согласно которому выходило, что Мирабо, ораторствуя за революцию, одновременно служил Св. Женевьева в лице короля, за что ему была обещана королевская пенсия. Пребывание останков Мирабо в Кенотафе-Мавзолее-Пантеоне было признано глубоко ошибочным, и Мирабо был выдворен из Мавзолея, сожжен на Гревской площади и выброшен в Сену. Его место занял Марат, временно зарезанный в ванной. Но и он недолго пролежал, потому что грянул термидор, Марат был вынесен из Пантеона, сожжен на Гревской площади и выброшен в Сену.

Кстати, как ни старался Револют после отсидки попасть в кремлевский Мавзолей и поглядеть в лицо вождю, знакомство так и не состоялось. Он приходил с утра, вставал в гигантскую очередь с хвостом у Александровского сада и без помех продвигался к мумии, пока не попадал в зону обзора скульптурной парочки Минина и Пожарского; в этот момент к нему в очереди приближался другой экземпляр Минина и Пожарского — в штатском, как будто сошедшие с пьедестала напротив, и выдворяли Революта из очереди; дело обычно оканчивалось проверкой справки о реабилитации и профилактическим собеседованием.

Мавзолейные сопоставления Революта нарушил потусторонний звон колокольчика. Из дальнего конца залы, выложенной гулкими плитами, в направлении энциклопедистов двигалась карликовая фигурка в черном. Человечек позвякивал школьным колокольчиком в одной руке, в другой же руке позванивала огромная связка длинных ключей на цепочке. Дойдя до центра залы, карлик в униформе остановился, поглядел, прищурившись, на купол, как будто на вечернее небо, и на удивление резким голосом провозгласил: "Мсьедам, приступаем к последнему на сегодня визиту в усыпальницу Пантеона. Желающих прошу следовать за мной!" — и он, звякнув колокольчиком, снова сник; черная каскетка на голове делала его похожим то ли на полицейского, то ли на гробовщика, то ли на кондуктора; его униформа угадывалась в полумраке свинцовым поблескиванием пуговиц. Непонятно было, как такое маленькое существо выживает в холоде и пустоте этого мавзолея, откуда у этого сморщенного старичка силы переставлять ноги для очередного шага и составлять ходьбу из шагов. Обогнув энциклопедистов, обсуждающих идеи Революции, распорядитель наткнулся на Революта, осуждающе оглядел его своими рыбьими глазками, покачал мертвым личиком и, звякнув ключами, пригласил собравшихся следовать за ним. За скульптурной группой обнаружили ступеньки, упирающиеся в еще одну, пятую дубовую дверь: повозившись у скважины замка, старичок распахнул то,

что казалось частью дубовой панели, и снизу повеяло склепом. Вниз вела крутая лестница без перил и Револют, рукой придерживаясь за стены, стал спускаться по ступеням, пропустив вперед двух ангелов в черных пиджаках, американца в соломенной шляпе с фотоаппаратом и несколько художничков экскурсантов, сморкающихся в платки. Когда эта нелепая процессия преодолела последнюю ступеньку, распорядитель в каскетке проверещал свое "мсьедам" и быстрым безошибочным движением запер дверцу за спиной. Среди экскурсантов прошел шепоток удивления, но провожатый в каскетке угрожающе позвякал связкой ключей, требуя тишины, и снова дал знак следовать за ним. И все последовали за ним гуськом.

Револют снова почувал, что его заманили в ловушку. Не было ни дымящихся факелов, ни постаментов с гробницами: впереди веером расходились бетонные коридоры с утомительной вереницей мерцающих ламп дневного света. Снова заныли от холода простуженные в пересылках кости и вспомнился карцер, и шелканье пальцев вертухая, когда тебя ведут по тюремному коридору, и в согнутой спине экскурсовода, в его черной униформе и покачивающейся на лысине каскетке Револют заподозрил тюремщика, пускай другого ведомства, но тюремщика. Еще один шаг вперед из некоего подобия предбанника, и вдруг, слева, как будто начальник охраны из-за столика, на Революта глянул мертвым глазом с желтизной некто раскрашенный, выточенный из дерева и гипса. Я сейчас не помню, узнал ли Револют в этом идоле Вольтера или же это был Жан-Жак Руссель? Не Руссель, товарищи, а Руссо. Ну что ж, тогда повернем колесо! И Револют шарахнулся от этого идола, нарушив атмосферу благоговения среди экскурсантов, ведомых старичком в черной каскетке. Старичок звякнул ключами, призывая к тишине, набрал воздуха в узкую грудь и заверещал: "Мсьедам, эгалите, фратерните, либерте, ситуен дю монд", и все с восклицательным знаком. Но смотреть было не на что. Ниши оказались вовсе не нишами: за исключением первой напугавшей всех гробницы не то Рус-

со, не то Вольтера, все остальные усыпальницы представляли собой двери, наподобие тюремных, где, вместо кормушки, были освещенные окошки, что в результате делало похожими эти тюремные камеры еще и на крематорные. В бетонных сводах потолка мерцали лампочки под зарешетчатыми плафонами, как в воронке: они освещали таблички при каждой камере, указывающие на личные заслуги очередного заключенного в деле проливания чужой крови. От ниши к нише экскурсанты вели себя все тише и тише; но распорядитель в каскетке вновь и вновь требовал тишины, не начиная объяснений до тех пор, пока не откашляется и не отсморкается последний экскурсант. Чем пришибленнее выглядели экскурсанты, тем оживленнее становился экскурсовод. Он преображался на глазах: его грудь гордо вздымалась, на щеках заиграл румянец, а рыбий взгляд уже сиял отсветами лампочек на потолке. Он уже не верещал, а пел картавым соловьем. Трелями сыпались никому не известные имена министров, генералов и общественных деятелей, утомительный список депутатов трудящихся, и казалось, что этот список достижений в производстве никому не известных героев Отечества никогда не кончится, потому что коридоры с зажженными окошками газовых камер зияли бесконечностью. Два ангела в черных пиджаках с помертвевшими лицами попросились наружу, пытаясь втолковать старичку-гиду на ломаном языке, что опаздывают на вечернюю обязательную перекличку. Но старичок сначала притворился непонимающим, а потом хихикнул, и как будто дразня ребенка или собаку, позвенел ключами, приподняв их над головой, и ехидно сказал: "Выход? а вот он — выход!" и сунул ключи в карман, перейдя к другой нише.

Но Револьт старался не расслабляться. У каждой ниши он напряженно вслушивался в визгливую риторику, расшифровывая знакомые латинские корни, стараясь не пропустить имя очередного героя, замурованного за слюдяным окошком камеры. Но всякий раз называлось не то имя. Герой оказывался не тот. И всякий раз Револьт для

верности сам заглядывал в начищенное слюдяное окошко и видел там белую безликую гробницу среди белых стен, залитых светом, как будто припорошенных снегом. Револют ждал, когда наконец этот посланник в униформе гида с того света выкликнет имя его святого, чтобы выйти из толпы экскурсантов и присягнуть в верности и готовности. Револют высовывался из-за голов, стараясь не пропустить ни одной детали, вытягивал шею, пока под глазами не набрякли мешочки усталости и огни плафонов стали свинцово отсвечивать в осололевших глазах. И когда гад-гид в каскетке вышел на финишную дорожку, когда стало понятно, что уже пошли гробницы современников, а великий святой затерялся в закоулках пройденных коридоров или намеренно пропущен, не упомянут и забыт, Револют не выдержал и его голос, среди шипения газовых рожков и чужого покашливания, перебил картавые трели экскурсовода:

“Анатоль Франс! где? где?” и эхо его голоса побегало по сводчатым коридорам. Старичок в каскетке возмущенно поморгал на Революта водянистыми глазками:

“Франс? Вив ля Франс! Эгалите, фратерните, либерте!” Револют покачал головой и снова потянул экскурсовода за рукав: “Анатоль, Анатоль Франсуа Тюбо — Франс!” Старичок скорчил гримасу: “Франсуа Тюбо, Анатоль? Первый раз слышу. Тут был Мирабо. Мирабо знаю. И Марат тут покоился, да. Друг народа. Но Анатоль Франс? Первый раз слышу!” и засеменял дальше, звеня ключами.

“Но ведь в России его знает каждый школьник!” с жалкой надеждой в голосе следовал за ним Револют.

“В России? Про Россию знаю. Уи-уи. Наполеон. Маршал Ланн”. И пошел про маршала Ланна, которому ядром оторвало обе ноги, и когда он умирал на поле сражения за свое отечество, император Наполеон, пораженный горем в самое сердце, приблизился к его смертному одру и последним прощанием своим смягчил жестокие страдания умершего почти на его глазах полководца. Вы, может быть, и знаете все это, но позвольте мне рассказать, потому что дело не в маршале Ланне.

”Но он непременно должен быть тут, Анатолий Франс, тут и больше нигде”, торопился за черной каскеткой Револьт, ”потому что ведь я назвал его, понимаете, я сообщил его адрес следователю Снарфу, и” — и тут Револьт прикусил язык. Перед глазами снова проплыло искаженное монголоидное лицо следователя, даже не лицо, а пожелтевшие белки следовательских глаз, и костяшки пальцев, вонзившиеся в зубы, но перед тем — как снег взлетевшие клочки вырванной страницы из протокола допроса, где все было написано черным по белому про агента империалистических разведок с адресом резиденции: Пантеон, вторая ниша справа, или какая там по номеру была ниша? Не помню. Забыл. Вот именно: порвал в клочья и забыл. И вот вам результат.

Он огляделся. Экскурсанты завернули за угол и голос старого черта в каскетке стал звучать лишь далеким эхом. Недолго думая, Револьт попятился на цыпочках назад, завернул за угол, оказался в другом пролете, миновал еще один переход и, выбрав закуток между двумя нишами, прижался спиной и затылком к холодной стене. Задрав подбородок вверх, он постарался слиться со стеной, как ребенок, который прячет голову в ладони и думает, что его никто не видит. Но экскурсоводу было не до Револьта: как тетерев на току, он слышал лишь самого себя, и соловей его голоса превращался в пулемет, его трели рикошетом долетали и ранили револьтово ухо, но все реже и реже, пока не стихли окончательно. В какой-то момент Револьту показалось, что за ним возвращаются, что за ним пришли два ангела в черных пиджаках, он слышал перестук каблучков, даже шелканье пальцев, как в тюремном коридоре. Встав на корточки, он стал переползать из своей ниши к другой, за поворотом, и тут чуть не столкнулся нос к носу с процессией экскурсантов: коридоры были устроены возвращающимся лабиринтом; но Револьт вовремя ретировался в свой закуток. И вновь экскурсоводное эхо рикошетом залетало в револьтову нишу-окоп. И лишь когда залязгал вдалеке замок, а потом, с дуновением ветра, про-

скрипев, задвинулись железные засовы и все стихло, Револьт поверил, что его отсутствие в куче экскурсантов прошло незамеченным, и ему удалось окончательно уйти от хвоста. Он встал, растирая затекшие ноги. Он стоял лицом к лицу с мертвой французской историей наедине.

* * *

7

В таком деле главное — выдержка. Надо было от ниши к нише проверить ложные показания этого лгунишки-болтуна в идиотской униформе. Может быть, он водил не по тем коридорам этих катакомб. На такую систему коридоров полагаться нельзя: идешь по одному коридору и не подозреваешь, что за стеной еще один лабиринт. Револьт стал согревать руки, сунул их в карман пиджака, и пальцы нащупали гладкий, жесткий и осыпавшийся предмет: через секунду он, вооруженный мелком, завалившимся в кармане с иерусалимских времен, систематически прочесывал ниши. Над каждой осмотренной гробницей, над притолокой каждой тюремной двери он ставил мелком крест. Он всматривался в каждую табличку, шептал с повтором имя, в надежде, что, может, Анатоль Франс зашифровал себя сложной транскрипцией, сразу не узнаешь. Вычитывал заслуги перед отечеством очередного министра и генерала, бормоча: "не то, не то", и ставил крестик перед тем, как перейти к следующей нише; крестик-отметка — чтобы не повторяться и не пропустить ни одной. Может быть, с московской точки зрения в этих громких именах и был какой-то смысл: в свое время на их имя можно было бы написать письмо с призывом в знак протеста; но сейчас эти имена были лишь клинописью чужой истории, числами другой теоремы, не имеющими отношения к революционной задаче; они не подозревали о его трагедии, и в этом неведении заключался непростительный грех: за это они и получали крест на притолоке. Иногда Револьт пробовал стучаться в очередное слюдяное окошко: может быть, Анатоль Франс скрывается в одной из гробниц под фальшивой табличкой

какого-нибудь маршала Ланна? Но все надежды окончательно рухнули, когда занеся руку над очередной притолокой, чтобы поставить на ней крест, Револьт обнаружил, что ниша уже окрестована: он пришел к исходной точке. Он дернулся влево, прошел несколько шагов вперед, испробовал все четыре направления и понял, что его мелок уже переметил все гробницы Пантеона. В эту египетскую ночь он не увидит Анатоля Франса и не встанет перед ним на колени, чтобы испросить прощения за то, что выдал его на допросе. Тут погас свет.

Он дернулся, вскочил и со страшной силой стукнулся лбом о балку потолка; голова закружилась, и лабиринт коридоров переместился под черепную коробку Револьта. И не осталось в голове ни одной заваливающей мыслишки, способной вывести его из этого лабиринта. Пантеон прихлопнул его колпаком крыши и вот он заперт в этой гигантской темной кастрюле. И поскольку снаружи была тьма кромешная, он стал осторожно пробираться по лабиринту у себя в голове, в собственной памяти, и тут краешком глаза увидел слева от себя свет. Осторожно приподнявшись, он дополз на карачках до угла и заглянул туда, где ожидал увидеть еще одну галерею гробниц. Но там была не то зала, не то квадратных размеров каменный ящик, и посреди этого каменного ящика постамент и на нем гроб. В гробу сидела фигура в черном пиджаке и в галстучке с горошинами. В восковом кулаке обитатель гроба держал электрическую лампочку; приблизившись, Револьт обнаружил ни шнура, ни штепселя у стены, хотя лампочка сияла вовсю. "Ватт сто, не меньше", подумал Револьт, вглядываясь в лицо сидящего в гробу. Лицо его было страшно, потому что было, собственно, не лицом, а сплошными наклейками и нашлепками, и в некоторых местах воск отвалился, как штукатурка, и видна была черная прогнившая кость. Все ошметки блестели лаком, но, видно после катастрофического падения или удара, лицо перекосилось и перекорежилось. Блестящая лысина заканчивалась кустистыми черными бровями, но одна из бровей съехала на ще-

ку и поэтому один закрытый глаз был безбровым, как у египтянина. Напомаженные черные усы переходили в седую, почему-то спутанную марксову бороду, и поэтому в усах он узнал сталинскую выправку, а хрущевская лысина никак не вязалась ни с тем, ни с другим. "Исказили облик, батенька", картавой скороговоркой заговорил тип, и стал суетливо подправлять брежневскую бровь. И все же во внешности нельзя было ошибиться: это был Ленин. "Безобразие, архибезобразие", замахал он лампочкой, "всего добились: и советской власти, и электрификации всей страны, а все равно ничего не видать". И вдруг, выпрямившись, повернулся корпусом к Револьту и сказал: "Поднимите мне веки, дайте ЦК", и Револьт стал послушно приподнимать склеенные клейстером веки, и когда взглянул в пустые глазницы, понял, что умер. "Ну вот, теперь и поговорим", вздохнул по-бабьи Ленин, щурясь от света электрификации.

"Мне с вами разговаривать не о чем", огрызнулся Револьт.

"А зачем пришли? Зачем же, батенька, будить? Вы же не декабрист, а я не Герцен, зачем же будить? Нет уж, разбудили, теперь поговорим", и он осветил лицо Револьту, как следователь, своей лампочкой.

"Я не собираюсь с вами разговаривать и дискутировать. Мне надоело. Все про цели и средства, дворец на крови младенца, вас же давно разоблачили".

"Так зачем же пришли? Я по разговору соскучился. Кто такие друзья народа и как они воюют друг с другом. Два шага вперед, один шаг назад и потом вбок? Или наоборот? Вот раньше тут Сталин лежал, он все помнил. А теперь что? Нет уж, пришли, так извольте выкладывать, что на душе накопилось. Ходоки у Ленина, припоминаете?"

"Я не хочу с вами разговаривать. Я хочу думать лишь о прекрасном. Благословляю я леса и голубые небеса. И в поле каждую былинку и в небе каждую звезду. А ты опять заводишь про этот самый "Капитал". Ни при какой погоде я этих книг, признаться, не читал".

”Так зачем же, спрашивается, было будить? Зачем было тревожить золотой сон человечества? Да знаю я вас, батенька. Одиночество не можете выдержать. Эмигрировали, понимаете ли, расплевались с отечеством, пошумели, поклеветали, а дальше что? Кто же вам мешает? Леса, небеса, так и будьте монахом, как Мао Цзе-дун. Под дырявым зонтиком гуляйте под дождем, чего же ко мне шляться-то без дела? Вы, думаете, первый? Все ходят, ходят. А чего ходят? Потому что наказания своего с достоинством вынести не могут, потому что эмиграция — она наказание за соучастие в делах моих, и наказание это — одиночество. Но и это наказание не можете перенести, все виноватых ищите. А кто виноват? Россия, опять же! И вот Россию ругаете. А я, Ленин, кто? Россия я и есть. Россия это я. И теперь до меня добрались. Все трупы из могил выкапываете. Погуляли б лучше на свежем воздухе. Душно тут, мне и самому прогуляться по заграницам хочется, душно!”

”Душно?” машинально повторил Револьт. ”Вот я и пришел весь мир спасти и вас заодно: я вас задушить пришел”.

”Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. Эту песню не задушишь, не убьешь”, пропел тот лирическим баритоном. ”Эту песню распевает молодежь!”

”Но мы теперь на равных: я теперь тоже мертвый, и потому бессмертный,” сказал Револьт. ”Живыми руками тебя задушить невозможно. Сколько ни гуляй по лесам и небесам, ты обязательно о себе напомним: потому что твоя правда на земле, и за тобой суд истории. Но ты прав на земле. И поэтому задушить тебя можно только на небе. А для этого нужно умереть. Вот я и умер, и сейчас тебя задушу”.

”Обманул! обманул!” тонко заголосил Владимир Ильич и тут лампочка в его руках замигала, и вместе с миганием завывла и заулюлюкала сирена тревоги. Револьт рванулся к выходу через коридоры и услышал за спиной грохот опрокинутого им гроба. ”Только б ангелы не проснулись”, пробормотал он и тут услышал топот сапог.

В четыре шага он добрался до выхода из Мавзолея: перед ним простиралась Красная площадь. Под сизым зимним утренним небом булыжники площади белели изморозью, как потрескавшийся лед черного озера. Навстречу ему бежали черные сапоги с синими погонами. Они скрутили ему руки за спину, он повернул голову, надеясь увидеть Москву, но увидел неподвижные лица часовых у Мавзолея. И часы на Спасской башне пробили двенадцать ударов, хотя время было явно утреннее: его брали на рассвете. На двенадцатом ударе Револют дернулся, и ангелы в сапогах разлетелись вверх тормашками, и Револют, пав лицом в булыжник Красной площади, ударился лбом о бетон склепа.

Когда он поднял разбитое лицо, то увидел в полумраке склепа священника: от него пахло овчиной, и ошупав рукой рясу, Револют обнаружил, что это вывернутая наизнанку овечья доха, и в священнике узнал Согрея Ведровича из буфета аэропорта им. Бен Гуриона. Ясно было, что священник явился выслушать револютову исповедь перед смертной казнью. Револют пытался вспомнить, за что его собираются казнить, но вспомнить не мог, хотя понимал, что за дело: ведь времена культа личности прошли и невинно осужденных больше не существует, как, впрочем, и посмертно реабилитированных. Тем более, среди тех миллионов, кто во сне душил Ленина. Револют попытался уклониться от собеседования и от исповеди, поскольку некрещенный человек, когда заметил на голове Согрея Ведровича еврейскую ермолку, которая, впрочем, могла быть и шапочкой католика.

”Так как насчет Исаака и Авраама,” спросил Револют.” Надо ли считать Россию Авраамом, и тогда я — ее Исаак, которого она приносит в жертву, меня изгоняя. Или же я Авраам, который принес в жертву Россию-Исаака своим отъездом? Но главное: где ягненок?”

”Какой ягненок?”

”Бог должен подкинуть ягненка в силки вместо моей страшной жертвы, где же ягненок? вокруг одни силки!”

”Для доказательства того, что вы не просто дверью

хлопнули, а совершили шаг религиозного подвижничества, вам жертвы нужны. Но и этого вам мало: ведь жертвы и после преступлений случаются. И вам нужно доказать, что вы не преступление совершили, а именно авраамову жертву принесли; и чтобы все было шито-крыто, вам еще нужен ягненок, посаженный Богом в силки. Вам нужно, чтобы Бог извинил ваше душевное вранье и оправдал ваши изломанные лживые жесты. Но Бога вашей фальшивой жертвенностью в силки не затянешь”.

”Я никого не тянул: это меня тянули, чтобы остался, чтоб стал высокой страдальческой жертвой этой паршивой власти. Чтоб меня похоронили по ошибке с коммунистами на кладбище одном! Нет уж, дудки!”

”Вот вы в ту же дуду и дуете. У вас один вопрос на уме: кто кого в силки тянул. А тут ведь не силки, а стоите вы супротив того, кого забыть не можете, скованные одной цепью, и цепь эта через пропасть перекинута. И как только один из вас шаг сделает от края, другой в пропасть летит, в пасть к дракону”.

”Что же делать?”

”Цепь разорвать: о Боге вспомнить. Но вы до сих пор на себя с противоположной точки зрения вглядываетесь. Чужими глазами прикидываете, далеко ли ушли. Не понимая, что вы на цепи по другому краю на месте топчетесь. А Иерусалим от вас все дальше и дальше. А с ним и избранность. Она же и жертва”.

Вот именно. Чьи это были слова? Уже которые сутки он путал свои собственные мысли со словами собеседника и наоборот. Это было похоже на протоколы допроса в пятьдесят страшные годы: чужие слова приписывались тебе или свои слова ты выдавал за слова содельника, или вообще ставил подпись под словами следователя. Сейчас, сидя на берегу речки с другими берегами, я уже не могу поручиться, говорил ли он сам с собой или перед ним действительно сидел священник в овечьей дохе.

”Но весь бред в том, что и уходящим и остающимся совершенно наплевать, за кем, в действительности, избран-

ность. Более того, каждый заинтересован другому приписать избранность: он сбавит ее хочет другому, чтобы самому оказаться несчастным. Чтобы ему было хуже и чтобы другой об этом знал. Потому что в наш век каждый выдает себя за самого обиженного, слабого и несчастного. Чтобы пожалели. Остающийся кричит уходящему: ты смелый и сильный, ты избранный, а я — слабый и обездоленный, и ты меня, гад, бросил. Ушедший кричит оставшемуся: ты смелый и избранный — ты остался, а я слабый и одинокий, и ты, гад, не хочешь разделить со мной изгнание. Я себе представляю мир, в котором правит одно сплошное сочувствие, а вся правда жизни — лишь бы близкого не обидеть. В этом мире останутся одни жалующиеся и плачущие. В этом мире все станут друг по другу плакать. Человек готов отказаться от всего — от Бога, от родины, от славы и судьбы, денег и чести; но лишь одного он не может себе позволить: чтобы его перестали считать хорошим человеком. И для того, чтобы доказать другим в этом мире сочувствия, что он — хороший, он должен искренне начать верить, что он несчастный. И чтобы стать самым хорошим, он пожелает быть самым несчастным. Начнет доказывать, что ему хуже других в этом мире, где "хорошо" означает: вызывает сочувствие окружающих. И вот под невыразительными небесами будут слоняться эти самые несчастные и друг другу жаловаться с одним табу в уме: не обидеть близкого. И грех, конечно, всякий раз беря на себя, и становясь от этого еще несчастнее. И когда на всей земле уже некого будет обвинить в том, что "ему лучше, чем нам", тогда поднимется вой и рык всех этих несчастных, у которых не осталось сочувствующих, более счастливых, чем они сами. И каждый, уйдя в скрытное место, будет прикидывать и гадать, как бы ему доказать свою верховную несчастность и как показать, что он больше других за себя переживает. И тогда он догадается, что для этого нужно, чтобы его обидели и надругались над ним до последнего предела: то есть, чтобы его убили. И он станет приставать к другим людям и кричать на площадях, и дразнить всех тайными уни-

зительными мыслями, которые у всех одни и те же, и поэтому он всегда будет бить словами без промаха. И другие не вынесут его слов и надругаются над ним и распнут его, слишком поздно догадавшись, что он и станет, в результате, сверххобиженным и сверхсочувствующим, потому что, умирая, простит всем все. Но разгадав его хитроумный ход, каждый решит повторить его путь, и будет тоже распят, пока не начнут люди убивать самих себя, под тайную диктовку этого первого, догадавшегося, что в сочувствии — воля к власти. И каждый своим шагом будет повторять Спасителя. Но имя того, кто будет освещать их путь — Чорт”.

Он вникал в уклад народа, в чьей стране мерзка свобода. Вдруг как будто постучали. Кто так поздно? Что за вздор? И в сомненьи и в печали прошептал: ”То друг едва ли. Всех друзей давно услали”. В темноте, взбаламученной бредом, Револют стал продвигаться вдоль стены, поминутно прижимаясь к ней ухом, и вот постукивание сложилось в знакомую фразу: ”По какому делу сидишь?” и затараторило: ”Составил ли ты проскрибиционные списки?” и еще: ”Выходи на явку. Иначе Россия спасется и без тебя, ты же погибнешь”. Надо было срочно отвечать. Надо было как маркиз де Сад в тюремной башне Бастилии отыскать вентиляционные или водосточные трубы, или мусоропровод, и заорать в них, обращаясь к толпе снаружи. Или отыскать батареи центрального отопления: прижать тюремную жестяную кружку, вжаться в нее ртом, как в рупор, чтобы голос эхом передался через батареи по всем нишам. Есть ли в нишах батареи центрального отопления? Чтобы поддерживать нормальную температуру мертвого праха? Стук продолжался, и Револют, выставляя ухо в нужном направлении, пополз на это постукивание, натываясь лбом на препятствия и снова вынюхивая звуковой след. Один из тупиков заканчивался ступеньками, и он стал преодолевать их на карачках, шаря рукой в темноте, пока, наконец, не уперся в дверцу. Нащупав засов, он стал дергать щеколду, потом навалился на дверцу всеми оставшимися силенками, и

дверца с неожиданной легкостью поддалась. Револют потерял равновесие и из духоты склепа выпал в холодную пустоту, придавленный собственным чемоданом; коленка ныла от удара. Над ним, застыв в стремительном рывке, нависала гипсовая статуя, и в каменных складках ее юбки отсвечивали глумливые лица знакомых энциклопедистов. Дверца, приоткрытая в пьедестале скульптурной группы, зияла черной пустотой: он выпал из-под юбки гипсовой Революции, как подброшенный младенец. Вся огромная зала Пантеона, погруженная в сумерки, нависала над ним искусственным небосводом; впереди прожектор металлического лунного света вырисовывал круг, и в этот круг и пополз Револют: стук раздавался все отчетливей. Он полз как Александр Матросов на стрекот пулемета.

”Дотянем до первого звона ключей или не дотянем?” прозвучал над головой Революта неприятный тенорок и сразу стало понятно, откуда шло постукивание: над освещенным кругом расхаживал человек. Не то чтобы это был прямо человек в натуральном виде: это была лишь верхняя половина человека, то есть бюст, и все на нем, от халата до ермолки то ли профессора, то ли талмудиста, казалось в металлических отсветах гипсовым. И передвигался этот гипсовый бюст по воздуху толчками, отталкиваясь от пола длиннющей тростью с набалдашником. Трость постукивала как протез инвалида. ”Снова, что ли, надеяться на то невозможное, что большевики совершили и успешно завершают, пока мы тут разыгрываем роль жертв?” рассуждал бюст в ермолке под стук трости, и стало ясно, что ермолка разгуживает в столбе света не одна: неподалеку маячили еще два гипсовых бюста, как будто на диапозитиве с подсветкой. У одного на голове было нечто вроде полотенца, а у другого изъеденный молью парик.

”Грянул Термидор, и убрали тебя, Марат, из Пантеона”, и говорящий обратил свою трость к бюсту с полотенцем на голове. ”Вскрыт королевский архив и убрали тебя из Пантеона, двурушник Мирабо!” и он ткнул тростью в бюст с париком. ”И я, Анатолий Франсуа Тюбо, по кличке Франс, говорил я вам: жить не по лжи!”

”Жид, не пол-жид — разве в этом дело?” удивился Мирабо.

”Тело в другом. В нас дух”, сказал Марат.

”Где же тело? Где же тело того, по милости кого мы проходим по одному делу явочной квартире в Пантеоне?!” закричали все трое, и гулкое эхо под крышей Пантеона прозвучало так, как будто тебе надели на голову ведро, и ты кричишь, и тебе кажется, что весь мир кричит о том, что тебе незаконно надели на голову ведро, а на самом деле — это ты слышишь эхо от собственного крика с ведром на голове. И оставшейся каплей рассудка Револют смекнул, что если он хочет уцелеть, ему нельзя выползть за пределы окружности лунного света; внутри этой окружности он был вне досягаемости круга этих бормочущих гипсовых обрубков, лишившихся своих ниш. Револют трясся как мышь в пансионе, пока над ним металась грозная трость Анатоля Франса:

”Нечего было надеяться на завербованных внутренних эмигрантов! Самим надо было действовать. Ведь был просвет. Я давно указывал, что между двумя революциями был такой просвет, когда не электрификация всей страны стояла на повестке, а введение гильотины. Ведь в России путь подрывается выкорчевыванием поколений. Подросло поколение, достойное вывести Россию на верный путь, тут же его и срезают под корень. И если срезать именно тех, кто срезает нарождающееся поколение, Россия спасена. Надо не из-за десяти праведников страну жалеть, а жалея страну сразу устранить десять великих инквизиторов. Надо было меж двух революций отправить на гильотину десяток представителей демдвижа из большевиков. Вы же, Марат, действовали из узконационалистических интересов: превратили гильотину сначала в привилегию одних лишь французов, а потом в привилегию одной лишь французской аристократии. Вы исходили из узконационалистических интересов правящего класса. А Россию обеспечить гильотиной вы забыли; о большевиках вы и не почесались”.

”У меня была чесотка. Я сидел в ванной, где меня и прирезали. Вот у Мирабо совесть не чешется. Он — живой”, сказал Марат.

”Я — узник совести, и совесть держит меня за тюремной решеткой. А ключ найти не может. Естественно, совести я предпочел свободу слова”, отпарировал Мирабо.

”В результате каждый из нас лишился ниши в Пантеоне. Был ведь и второй просвет: между Сталиным и Хрущевым. Надо было устранить десятку великих инквизиторов из политбюро. Но тут и провалилась явочная квартира в Пантеоне. Сейчас, в результате эмиграции из России, возник третий просвет. И теперь одна надежда: нас предавший, наше гильотинное дело и возглавит; у него всякий сон в руку. И это нам на руку. Если только он не проснется до первого звона ключей”, и Анатолий Франс снова застучал тростью туда и обратно по границе лунной окружности. ”Только ему надо все многозначительно подать, тривиально практического шага он не переносит”.

”Нда. Это ведь эмигрантская публика. Каждый считает, если он Россию оставил, подавай ему по меньшей мере место папы Римского, да и то исключительно чтобы преподавать русскую литературу”.

”Однако ведь для нашей великой задумки недостаточно одной зоологической ненависти ко всему советскому. Тут ведь надо знать поименно и по датам всю историю советской власти. Сколько тут узлов с барахлом навязать придется?”

”По моим подсчетам можно будет ограничиться двумя-тремя десятками имен, ну и конечно, члены политбюро, может, депутаты верховного совета, в общем, вполне обозримая цифра. На то есть Большая Советская Энциклопедия. Газета ”Правда”, в конце концов. Да он с опытом, он историю советской власти на своей шкуре застенографировал — справится”.

”Но ведь стиль тоже важен. Важно ведь, чтобы все не выходило за рамки стиля протокола допроса, протокольный стиль — вот где душа прячется”.

”Нам ли его учить? Он что, в Бастилии, что ли, срок отбывал? Как-никак, он сам и есть главный революционизированный свидетель!”

”А имеет ли он на подобный шаг моральное право?”

”А мы санкционируем шаг Революта решением революционного трибунала”. Услыхав свое имя, Револют выпрямился и перешагнул окружность, рубеж условного света и условной тьмы. И как только нога его переступила границу, колени подогнулись, потому что он не мог вынести тяжести: не то своего чемодана, не то трости Анатоля Франса, которая, описав в воздухе круг, оказалась приставленной ко лбу Революта.

”Ну что, явился, не запылелся?” пронзительным шепотом проговорил Анатоль Франс и повернул свое лицо к Революту. Револют взглянул в гипсовые глаза и не увидел в них ничего, кроме своего собственного отражения. ”Засыпал ты нашу явочную квартиру. Поздно об этом говорить. Ты явился, чтобы получить задание? Не станешь ли ты утверждать, что не знаешь, в чем это задание состоит?”

”Я знаю, что должен пророчествовать. Но я знаю и то, что настоящие пророчества не сбываются: если пророчество сбудется, значит оно не вечно, а значит оно и не истинно”. Револют помедлил. ”Я догадался до пророчества, но боюсь следовать ему: я подозреваю, что оно сбудется, а значит я — ложный пророк. Я искал уединения, а нашел одиночество. История отвернулась от меня”.

”Значит, надо самому становиться историей”, подмигнул Анатоль Франс. ”Я предлагаю тебе последнюю возможность завязать в узелок прерванную нить и вспомнить о деле, которое было шито белыми нитками. Не помнишь? Память отшибло? Забыл свои показания следователю Снарфу после десяти суток бессонницы? Могу напомнить: ”питаемый зоологической ненавистью ко всему советскому, вступил в преступные контакты с иностранными разведками и занимался деятельностью, направленной на подрыв завоеваний социализма с целью свержения советской власти”, и дальше шел список: имена и адреса резидентов”.

”Марат”, сказал из полутьмы один гипсовый обрубок.

”Мирабо”, сказал другой.

”И ваш покорный слуга, Анатоль Франсуа Тюбо, по кличке Франс. Адрес: Франция, Париж, пл. Пантеона, Пантеон, и дальше номера ниш. Всех до одного выдал”.

”Но я искал вашу нишу в склепах Пантеона. Ее нет. Неужели я дал ложные показания следователю?” опустил голову Револют, стоя на коленях.

”Не в истине дело. Что дальше было, после допроса?”

”Мне выбили зубы”.

”Верно. И вместо выбитых зубов у тебя оказались искусственные челюсти, вставленные в Иерусалиме. Этим ты свел счеты со следователем. Но с нами, с нами-то что произошло? Что произошло с протоколом твоего искреннего раскаяния?” допытывался Анатоль Франс.

”Но это не я порвал протокол допроса. Это следователь порвал”, сказал жалобно Револют.

”Чужими руками свои мысли воплощаешь. Сомнамбула!” усмехнулся Анатоль Франс. ”За протокол следователь отвечал, но слова чьи были? Твои слова резлетелись на клочки, а что произошло с Маратом и Мирабо?” и он указал тростью на гипсовые обрубки, растворяющиеся в темноте. ”Но этого мало: помнишь ли ты, что произошло с полным собранием сочинений моих руководящих указаний тебе?”

”Автобус! разнесло в клочья под колесами иерусалимского автобуса”, выдавил из себя признание Револют.

”И все мы тут не просто лишились наших ниш. Дела обстоят гораздо печальнее: это наша последняя встреча на явочной квартире, потому что мой дух окончательно уходит из мира по твоей милости. А впрочем, нечего болтать: скоро ключник придет, три раза ключами прогремит, и конец свиданке. Дополнительные вопросы есть?” и Анатоль Франс нетерпеливо постучал тростью. ”Если нет вопросов, подпишитесь под протоколом допроса”.

”Погодите, но что же мне делать?” залепетал Револют,

когда все трое повернулись к нему спиной. В ответ он услышал нехороший смех и Анатоль Франс снова обратился лицом к Революту, развернувшись на трости как на помеле; неуловимым жестом Анатоль Франс выдернул из своей гипсовой бороды три волоска и в этот момент три летучих мыши приземлились на его плечи; и когда Анатоль Франс дунул на три волоска, перед побледневшим Револютом вместо трех мышей предстали три фигуры. И в одной из них Револют узнал тетку Блюму Карловну с револютовым продравшимся башмаком в руках; во второй фигуре он узнал племянника, пытавшегося завести сломанные револютовы часы; и наконец третья немая фигура оказалась Нетой: в руках она держала дорожную сумку и пальцем выводила на ней воображаемую надпись, вновь и вновь, пока Револют не прочел по движению пальца слово "Аэрофлот".

"Нет", сказал Револют.

"Да", сказал голос Анатоля Франса, потому что самого его, как, впрочем, и Мирабо с Маратом, уже невозможно было различить в темноте.

"Я знаю", дрогнувшим голосом произнес Револют. "Я только не хотел признаться, даже когда порвались башмаки".

"И погибла твоя тетка Блюма, не так ли? За башмаками надо следить! А когда часы племянника Тимура застряли и ты их выбросил, что произошло?"

"Кончилось время Тимура", сухо подтвердил Револют.

"Неужели ты и теперь не догадываешься, какой властью наделили тебя международные силы реакции? Хватит отсиживаться! Пора тебе, питая зоологическую ненависть ко всему гуманному и прогрессивному, приступить к деятельности, направленной на подрыв и свержение. Вот что надо делать. Слова превращать в дело. Тайные мечты сделать былью. Свобода России в твоих руках, дружок, в твоей воле, дурачок", таял в утренних сумерках голос Анатоля Франса вместе с призраками близких и родственников.

”Но я уже задушил Ленина. Духовно. В своей памяти”, успел прокричать Револют. И в тот же миг зазвякали кандалным звоном засовы на дубовых дверях Пантеона. Зевая и покашливая, стала продвигаться по залу, мелькая между колонн, черная униформа старичка-смотрителя в каскетке. Три раза звякнули ключи в его руке, и Револют услышал тяжелый тройной вздох высоко под куполом. Стараясь не греметь чемоданом, как пластун, пополз Револют под юбкой революции и короткой пробежкой миновал балюстраду по другую сторону зала. Умом мы жили и пустой усмешкой: не знали, что закончим перебежкой. В три шага Револют миновал портал, и ворота Пантеона закрылись за ним с тяжелым стуком. Согнувшись, он стал пересекать выплывающую на него сквозь предрассветные сумерки площадь. Посредине он остановился, чтобы перевести дыхание, и затравленным взглядом оглянул окрестность: какая незнакомая мне местность! Полукругом надвигались на него от углов площади три здания, и на каждом из них выделялась барельефом надпись: на первом ”либерте”, на втором ”эгалите”, а на третьем ”фратерните”. Револют оглянулся и охнул: в предрассветном мареве над ним нависал осьминогом Пантеон, встав на свои подагрические щупальца-колонны, готовый прыгнуть на Революта. В этот момент пагода со шпилем на вершине купола вспыхнула ослепительным светом и вверх к небу метнулась тень. Может быть, это был первый луч восходящего солнца и тень от облака, вставшего на его пути, но Револют был уверен, что это тень Анатоля Франса, изгнанного из Пантеона, вылетела за ним в погоню. И Револют бросился вперед, загораживая ладонью глаза от спящего солнечного света, вдруг залившего всю площадь. Дальше я могу изложить события лишь в отрывочном виде.

* * *

Он не помнил, как спящий день снова обратился в сумерки. Он не понимал, куда несут его ноги. Очнулся Ре-

вольт под вечер на крошечной, забитой народом и столиками площади. Площадь была как маленькая комната с черным майским небом вместо крыши, но на небо он не глядел, потому что небо здесь было незнакомое, да и там не глядел, потому что там оно было свое. Площадь казалась сплошным обеденным столом, и огромный фонарь в углу выглядел как огромная настольная керосиновая лампа с нестерпимо ярким светом, да и сама ярко освещенная площадь была огромным фонарем, вокруг которого кружились люди-светляки и сновали по скатертям, как мухи, и жалась к витринам с окороками и жареными тушами. В этом абажурном веселье был свой закон, и все это блистательное рюмок, мерцанье кофейных чашек, журчанье искристого пива и шипенье пенистых бокалов показалось Революту нечаянным раем; и он уже готов был обо всем забыть и привести за столик, плывущий среди домов и деревьев, и тоже взять в руки стакан с жидкостью трамвайного цвета и протягивать взгляд от клейкого листочка над головой до губ девушки за соседним столиком. Это было последнее отчетливое видение в тот припадочный парижский день. Он уже был готов сродниться с этим раем, и присоединился к толпе зевак: зевачи наблюдали, как парень бродяга, с мешком за спиной, продавал с рук марионеток. Он держал в руках деревянный крест; от четырех концов креста отходили ниточки к четырем деревяшкам внизу. Кукольник подвел марионетку к весенней луже, и та протянула канатик-ногу, коснулась воды и вздрогнула от холодного прикосновения, но потом стала осторожно нагибать канатик-шею, испить водицы. Просунувшись вперед, Револют тоже наклонился над лужей и тут увидел свое отражение: с торчащим из ботинка пальцем, он вглядывался в свое искаженное небритое лицо, с чемоданом-гробом в руке. И тут зазвонил телефон.

Было странно слышать телефонный звонок посреди бурлящей и сияющей ночной площади. Этот телефонный звонок еще больше усиливал сходство площади с комнатой, потому что в телефонном звонке есть интимность,

подразумевающая наличие четырех стен. Все звуки и шум городской площади выключились, когда над толпой пронесся картавый крик официанта, снявшего трубку: "мсье Гевольт! мсье Гевольт!"

"Откуда вы знаете, что я здесь стою?" сказал Револют в черную трубку, оказавшуюся у него в руке.

"Где это, здесь? Я не знаю, где вы там стоите", недовольно прогнусавил баритон, показавшийся голосом из прошлой жизни. "Вы мне сами дали этот телефон, когда у вас нехватало жетона для продолжения разговора. Я звоню из квартиры Неты".

"Она вернулась с озера?" спросил механически Револют.

"Неты нету", задышали в трубке. "Она утонула".

"Я так и знал", сказал Револют и повесил трубку на рычаг. Сердце постукивало деревянной матрешкой, потому что рассохлось надвое, одно в другом, и одеревенело, и лишь громыхает от каждой встряски. Револют сидел, покачиваясь, на чемодане, и остекленелым взглядом следил, как продавец марионеток вынимал теперь из мешка механических стрекоз. Он расправил разрисованные металлические крылья на пружинках и вставил ключик. В носу у этой стрекозиной леталки был пропеллер, и ключик закручивал резинку пропеллера. Повозившись с ключиком, уличный торговец расправил металлические крылья четверем огромным стрекозам и подбросил их в воздух. Стрекоза крыльями, эти четыре механических существа стали делать круги над толпой зевак, снижая свой полет, и стоящие вокруг, хохоча, пригибались и разбегались в стороны; оказавшись над головой у Революта, металлические стрекозы столкнулись и упали на асфальт, издавая скрежещущий звук бьющимися крыльями. Революта как будто резануло по лицу, но он осознал, что случилось, лишь тогда, когда из носа закапала кровь: одна из падающих стрекоз задела его металлическим крылом. К Революту с одной стороны бежал продавец, а с другой — официант с пачкой салфеток в руке и графином. И вот его лицо уже обтирали салфетка-

ми, его трепали по щеке, приводя в чувство, и охали и сочувственно всхлипывали, и что-то подносили ко рту и утешали, обнимали и хлопали по плечу, и когда у Револьта уже не было сил удерживать мускулами гримасу благодарной улыбки, по толпе прошел шепоток: "он потерялся? он заблудился?" И Револьт, сгорбившись на чемодане, поднял лицо и обратился к толпе, окружавшей его кольцом:

"Граждане, ситуайены, скажите, где похоронен Анатоль Франс?" — хватал он за рукава зевак. "Мне надо возложить венок на могилу Анатоля Франса". Лица повернулись друг к другу и стали друг другу доказывать и друг у друга выяснять, но никто толком не знал, кто такой Анатоль Франс, а если и слышал краем уха, то понятия не имел, где место захоронения этого забытого человечеством гуманиста. "Так он был прав, тот мрачный гений, тот макабрический фантаст", прошептал Револьт, убеждаясь в исчезновении роковой ниши. Но тут из толпы выдвинулась старушка, сухонькая и с платком на шее, похожим на пионерский галстук. Продвинувшись к Револьту, она стала втолковывать ему, какое непреходящее значение в ее жизни имели похороны Анатоля Франса:

"Вся передовая интеллигенция пришла с ним проститься и, конечно же, мы, суфразистки", говорила старушка, пожевывая губами пионерский галстук. "Я, как суфразистка, была возмущена тем презрением, с каким церковь, правительственные круги и правящие классы игнорировали смерть этого титана гуманизма. Он, знаете ли, это предчувствовал: перед смертью вызвал к себе не священника, а секретаря райкома компартии. Я, надо вам сказать, с возрастом вернулась к религии, и как верующая католичка могу вас заверить: если вместо священника он коммунисту исповедовался, душа его заведомо не в раю". "Где же его могила?" охрипшим голосом спросил Револьт.

"Как, где? Где ж ей быть, как не в Москве?! В Мавзолее на Красной площади", и старушка испуганно отстранилась, потому что Револьт поднял свой чемодан, как будто собираясь этим чемоданом старушку пристукнуть.

ТЕТРАДЬ № 10

”Имеет ли смысл продолжать? Слышите ли вы меня, голубчик?” Над револьтовой подушкой склонилось морщинистое, в сочувственной гримасе лицо с сощуренными то ли от любопытства, то ли от близорукости глазами. ”Вы глазом моргните в знак согласия, голубчик. Ну вот. Как вы на вокзале Монпарнас очутились, в камере хранения, мне неизвестно. Но в этой камере хранения вы, стало быть, всю одежку с себя снимали, то есть все до последней ниточки, и обоюдно с чемоданом засунули в ячейку-сейф и шифром запечатали. Свидетелем буду, что в бреду все повторяли номер ячейки-сейфа и шифр отказывались называть, все кричали ”не назову, мол, шифра”: очень за чемодан беспокоились; и не беспокойтесь, он у нас в каптерке покоится в целости и сохранности, получите по первому требованию. Ну-с, запрятав все, что на вас было, в камеру хранения, вы, буквально в чем мать родила, выбежали на улицу. В Париже, знаете ли, люди ко всему привыкшие, разгуливают вечерние толпы, огни сияют, не поймешь, то ли человек нагишом, то ли так особенно в прозрачное одет. И прошло бы все без инцидентов, если б не попали вы на Елисейские поля. Представьте себе, голубчик, картину: шагаете вы нагишом по Елисейским полям, а на груди у вас выписан лозунг: ”Позор французскому правительству! требую возвращения Анатоля Франса в Пантеон! не допустим исчезновения ниши великого гуманиста!” — и все это чернильным карандашом по голой груди, и где вы только чернильный карандаш в этой цивилизации откопали? Но, как я уже отметил, и тут все бы сошло: мало ли

сумасшедших в Париже и каждый свою манию пытается на всеобщее обозрение выставить. Но разгуливая с вашим протестом нагишом по Елисейским полям инкогнито, увидели вы, к несчастью, Эйфелеву башню. Тут, голубчик, вся заварушка и случилась. В полночь вы, милостивый государь, пытались прорваться на шпиль Эйфелевой башни в голлом виде и при этом во все горло кричали, что ваш, мол, святой долг — плюнуть с этой самой башни на французское государство, которое, якобы, лишило великого Анатоля Франса его законной ниши в Пантеоне. Чего вам, голубчик, дался этот заурядный писатель, я взять в ум не могу; но ваше заявление насчет плевка с Эйфелевой башни крайне не понравилось полиции. Во время попытки воспрепятствовать вашему восхождению, полиция обнаружила, что вы — гол как сокол. Отвезли вас в участок. Сколько бы вы просидели в околотке, голубчик, неизвестно, если б не обнаружился на ладони вашей адрес нашего приюта. Я за вас поручился на свой страх и риск, и теперь не жалею. Вы, бедный, в бреду все в Москву пытались бежать. А вы не торопитесь. Отлежитесь у нас, подлечитесь, обдумаете все на досуге. А потом, может, и дальше странствовать отправитесь. Все мы тут странники. Да вам, небось, мой коллега по Иерусалиму все про наш приют и рассказал. Спасибо ему, адресок вам дал, а то бы ноги из полиции не унесли, кто бы вас опознал; сгодился-таки адресок на ладони”.

”В Иерусалиме?” переспросил Револют, морща лоб. Чтобы оглядеться, он приподнялся с кровати, но голова закружилась от слабости и яркого дневного света; настоятель, в черном свитере и потертом пиджаке, подскочил со стула, чтобы подложить Революту подушку под спину. Комната была просторная и светлая, как потерянное детство, и по стенам прыгали солнечные зайчики, потому что в окно билась раздуваемая ветром листва клена вместе с солнечной кисеей. ”Где я?” снова спросил Револют.

”В огородах сионовых. Лечебница наша так называется: Огороды Сионовы. По названию бывшего поместья, купленного на средства нашего ордена. Вас тут никто при-

нуждать не станет. Лечебница наша добровольная, на товарищеских началах, для гонимых и больных — душою и судьбой России: уроками русского языка на хлеб зарабатываем”.

”Огороды Сионовы?” переспросил Револьт. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Язык до Киева доведет. Как бы мне рябине к дубу перебраться. Револьт, наконец, вспомнил: ”Я в Иерусалиме?”

”Иерусалим, он, голубчик, везде. А мы, скажем, так: под Парижем”. За окном раздался звон колокола. Или били в било. ”Это к обеду”, пояснил настоятель. ”Присоединитесь? Если сил нет, то и не надо, голубчик. Никто в обиде не будет, только надобно заранее оповестить. Я, наблюдая ваше пробуждение, на всякий случай перед вашим именем в списке крестик поставил: мы крестики ставим по числу тарелок. Присоединитесь к трапезе?” Вошла женщина в скромном, мышинового цвета, платье, и Револьт уселся на кровати, завернувшись в простыню до подбородка. Женщина вывалила на стул охапку одежды:

”Это вам на первое время, пока не разберетесь, что к чему по своему усмотрению”, сказала она, представившись Револьту как сестра-хозяйка. Револьт отрицательно покачал головой:

”Не могу себе позволить”, сказал он, скосив глаза на одежду.

”Это как же понимать? Опять нагишом ходить вздумали? У нас тут не Елисейские поля, чтобы нагишом ходить”, сказала сестра-хозяйка.

”Погоди, погоди, сестра. Отчего же вы, голубчик, от одежды отказываетесь?” спросил настоятель.

”Порваться может”, сказал хмуро Револьт.

”И что с того? Другую одежонку подыщем”.

”Не могу. Человек погибнет”.

”Какой такой человек?” удивилась сестра-хозяйка.

”А чья одежда была. Тот и погибнет”, и не замечая взгляда, которым обменялись сестра-хозяйка с настоятелем, Револьт прошел к умывальнику, завернувшись в про-

стыню. В зеркальце над раковиной он стал сосредоточенно разглядывать лицо человека, выбритого наголо, как заключенный.

”Это вас в изоляторе полицейские выбрили за буйное поведение. В одной полицейской шинельке вас и привезли, выбритого наголо и на голых плечах шинелька”, сказала сестра-хозяйка и сморкнулась в платок. Револьт вдруг улыбнулся просительно:

”А может, у вас другая найдется одежда?”

”Какая же другая?” удивился настоятель.

”То есть, от кого-нибудь, кто уже там”.

”Там?”

”Ну да, там”, и Револьт поболтал рукой в воздухе неопределенно. ”На том свете. Кто уже умер, а одежда осталась. Если с одеждой что-нибудь произойдет — пуговица оторвется или разорвется по шву — то владелец ведь уже мертвый, а значит ему ничего не грозит”.

”Да что ж такого может произойти, если пуговица оторвется?! А впрочем, не буду, голубчик, спорить. Найдется и такая одежонка, все случается, подыщем с бывшего, так сказать, плеча. Ну-с, жду вас в столовой. Видите тропку?” сказал он, указывая рукой на окно. ”Так вот по этой дорожке через кусты ракиты вход с колоннами, уверен, что не заблудитесь”. И тут, перехватив взгляд Револьта, вперившегося в решетку на окне, настоятель похлопал его по плечу: ”На решетки не обращайтесь внимания. Этот флигель когда-то для буйных был предназначен. Помешательство, как правило, на почве ностальгии. Но в наше время буйных уже не осталось, голубчик. Прошли те времена. Сейчас все сплошь смирные”, и он удалился, тихонько закрыв за собой дверь.

Револьт долго тер лицо под краном, пытаясь смыть следы пережитого бреда. Он не знал, сколько он провалялся в горячке: день, месяц, год? Но помня вставные челюсти и все, что за этим последовало, браться не стал, хотя на полочке был приготовлен помазок и бритва-станок. Освежившись, он завернулся в белую простыню, подвязав

ее узлом на бедре и вышел из флигеля, похожий не то на древнего римлянина, не то на японца с бритой головой. А может быть и на Чингиз-хана. Он миновал маленькую церквушку за кустами ракиты, со св. Георгием, убивающим Дракона, на портальной фреске. Но Революта не звали Георгием, с Драконом его он знаком не был, и поэтому у церкви не задержался, а обогнул кусты и зашуршал босыми ногами по песочку тропинки, туда, где сквозь деревья проглядывал розовый дом с колоннами. Парк встретил его пением раскачивающихся под ветром деревьев, где сквозь клейкую листву бился белоголубой флаг неба. Тропинка выбегала на лужайку, из которой, как из зеленого озера, выплывал дом с колоннами. Двери с медными ручками легко отворились, звякнув дверным колокольчиком, и его босые ноги чуть не разъехались в сторону, ступив на навощенный, разогретый солнцем паркет. Оглядываясь и принюхиваясь, Револют прошел сквозь анфиладу комнат, туда, откуда доносилось домашнее позвякивание посуды и приглушенный разговор. Перед входом в столовую он помедлил у столика с аккуратно разложенной почтой, оглядел часы с кукушкой на площадке лестницы, уходящей вверх, и долго разглядывал список жильцов, все больше с иностранными фамилиями. Нашел он и себя: перед фамилией "Револют Азвоздам" стоял аккуратно выведенный крестик. Револют покрепче завязал простыню узлом на бедре и потянул двери обеденной залы. Он, видимо, все-таки перепутал вход, зайдя с того фланга, откуда был выход в сад, и поэтому появление его было для всех неожиданностью: с десяток обедающих, сидящих за столом в форме буквы П, уставились на него открыв рот. Револют, попав в центр каре из покрытого красным сукном обеденного стола, выглядел в своей простыне как сумасшедший еретик перед судом инквизиции; он уловил ухом, как прекратилось на секунду звяканье посуды и сразу же возобновилось, как будто ничего не произошло. Сестра-хозяйка кивком указала ему на свободный стул и положила красную нитяную салфетку ему на колени. Пе-

ред ним появилась тарелка с дымящимся отварным язычком. У соседки слева по правую руку лежал французско-русский словарь, а у соседа справа по левую руку оказался словарь русско-английский.

”Наши ученики”, обвел рукой стол настоятель, оказавшийся напротив. ”Да вы ешьте, ешьте”.

”А правда ли, что французы едят лягушек?”, с разлета обратился Револют к французенке, стараясь фривольно-стью закамуфлировать свой явно ненормальный вид. Та ошарашенными глазами глядела на его бритую голову и белую простыню. ”Я что хотел спросить: у нас в России французов называют лягушатниками. Это правда?”

”Извините?” переспросила девица, а англичанин в очках справа прыснул от смеха и стал листать свой словарь.

”Лягушатники”, повторил любезно Револют. ”То есть едят, ам-ам, лягушек?”

”Лягушка? кес-ке-се, лягушка?” наморщила лоб французенка.

”Прыг-прыг. Фрог, лягушка”, стал объяснять ей англичанин, перекинувшись через револютову тарелку и путая русские слова с английскими.

”А-а-а, уи-уи”, потеряла нос французенка. ”Если взять словарь, я буду понимать, уи-уи”. и она стала листать словарь: ”Я буду понимать: ВОШЬ. Уи, понимаю, прыгает — вошь. Вошь?! вошь?? Есть?! Есть вошь?! Мы не едим вошь!” и она покраснела до ушей.

”Вы не поняли”, настаивал Револют. ”Вы не то слово посмотрели в словаре. Вшей вы не едите, никто этого и не требует. Это мы кормили вшей в соответствующем году. И еще могильных червей. Речь идет о лягушках. Ву компрене?” напрягал он свои знания французского. ”Прыг-прыг. Это не обязательно вошь. Лягушек едите?”

”Насчет прыжков”, донеслось с другого конца стола, ”знаете, почему лягушка прыгает в пасть змее? Потому что у нее так зрение устроено, что она змеиный язычок при-

нимает за комара. И прыгает прямо в пасть: саму змею она не видит”.

”Давайте-ка вернемся к нашему отварному языку”, примирительно заговорил настоятель. ”Вот, к примеру, Револьт: час всего разговариваю с ним и уже чувствую — отстал я от современного русского”.

”Это как понимать?” переспросил Револьт.

”Да вот, к примеру, это ваше, голубчик ”как понимать”. Мы ведь так не говорили. Этот оборот от того, видно, вошел в русскую речь, что нынешний советский чиновник весь ум свой употребляет на угадывание указаний в демагогии своего начальства, не правда ли?”

”Но вы могли в эмиграции быть уже будучи став забывшим русскому языку”, сказал, покачивая головой, англичанин, и приступил к сыру. Все приступили к сыру, кроме француженки: она есть уже не могла. Револьт дожевывал свой язык.

”Да что тут говорить о советизмах”, снова донеслось с другого конца стола. ”Возьмите Пушкина. Что значит ”залог достойнее тебя”? Тебя достойней или тебе достойный? Или вот еще: ”своим падением ославил муж рока свой попятный шаг”. В каком это смысле: ославил? и что за попятный шаг?”

”Да-с, русский язык, знаете, двусмысленный. Вот, к примеру, фраза: ”обратно мертвеца везут”. Его ”опять же” или ”снова” везут или же в обратную дорогу везут? Да что это с ним?” Последний вопрос относился к Револьту: оставив вареный язык на тарелке, он, опустив глаза, созерцал красную салфетку на коленях, как будто кровавое пятно на простыне. При словах ”обратно мертвеца везут” он выскочил из-за стола и устремился вон из залы.

Когда он выбежал за чугунную решетку Огородов Сионовых, и зашлепал по бульжнику мостовой, редкие прохожие, шараясь от него в сторону, не звали полицейского лишь потому, что давно привыкли к странному виду постояльцев лечебницы в их местности. Его бритая голова летела по пустынному переулку, и один раз он чуть

не упал, наступив на конец простыни, выбившейся из-под узла. Он бежал, минуя высокую, чуть ли не крепостную стену парка, и был похож на подраненную белую ворону, спотыкающуюся и припадающую на перебитую ногу. Он выбежал на чернеющую, еще не схваченную весной аллею столетних деревьев, названия которых он никогда не знал и не узнает, и его босые ноги зачавкали в непросохшей с зимы траве. От этого звука взбесились птицы на высоких деревьях — то ли галки, то ли вороны; он никогда не знал, как их различить: вороны, вроде, каркают, а галки, вроде, голгочут? Он бежал к просвету в конце аллеи, как к выходу из темного туннеля, куда его загнал нелепый разговор в обеденной зале с минуту назад. Аллея врезалась в гигантскую парковую лужайку, и добежав до неведомого монумента посреди, Револьт прислонился лбом к холодному камню, задыхаясь от бега и отдавая камню тепло разгоряченного лба. От нашего прикосновения согревается камень. Наша жизнь согревает мир. Наша кровь согревает холодную вселенную: иначе все погрузилось бы в вечную мерзлоту. Чтобы растопить лед ледникового периода и пришел в мир человек. Его кладут в могилу, чтобы согреть землю его памятью.

Отдышавшись, Револьт отнял голову от памятника и провел пальцами по барельефу из камня; пальцы его проследили каменную шляпу и сжимавшие эту шляпу каменные пальцы, а потом, выше, и каменный шар. Револьт отступил на шаг и узнал барельеф на памятнике и сам памятник: это был окаменевший рассказ дрессировщика из Синайской пустыни, где Револьт оставил Каштанку и все то, чего он не мог сформулировать и ради чего ушел из России. На памятнике каменный воздухоплаватель Жансен приветствовал прибытие Револьта, спускаясь на воздушном шаре, а внизу Револьту махали каменными шляпками толпы народа. И этот повтор в окаменевшем виде, повторяющий рассказ, услышанный однажды в других краях и забытый, этот повтор превращал оставленный край в родной дом, а место, где этот повтор услышан, в

чужбину. Револют сделал несколько шагов вперед и оказался у балюстрады, на краю каменистого обрыва: внизу, в километровой глубине лежал город, лишившийся раз и навсегда Анатоля Франса. Револют стал перебираться через мраморные перила, готовясь к последнему прыжку, когда на его плечо легла рука. Он обернулся и увидел умоляющее и успокаивающее лицо настоятеля:

”Не плачьте, голубчик”, поглаживал его по плечу настоятель. ”Грехи наши, голубчик, вначале путающие нас паучьей паутиной, в конце пути обращаются в крепкую и верную корабельную снасть”, и он поднял Революта с колен.

* * *

Больше подобных припадков слабоволия с Револютом не повторялось. Вернувшись в Огороды Сионовы, он первым делом затребовал обратно свой чемодан из каптерки. Перед тем, как сделать окончательный логический вывод и следствие из предварительного заключения, надо было подготовить необходимые улики, а потом их сжечь, пепел, заметьте, перемешивая. Чтоб от праха твоего не осталось бы России ничего. Он выходил из своего флигеля лишь в столовую, где аккуратно съедал свою порцию и в разговорах не участвовал. Сестра-хозяйка указала однажды шепотом настоятелю, что у Революта ватные затычки в ушах. Однако в простыне он появляться перестал: согласился принять подержанный костюм, найденный в кладовке, удовлетворившись подробнейшими и искренними заверениями, что этот пиджак с брюками принадлежали в прошлом ныне покойному постояльцу. Бритая его голова вновь понемногу опушилась клочковатой порослью и в потертой одежде с плеча покойника он выглядел давним постояльцем этого тихого приюта; сам он от разговоров уклонялся, да и ему в душу никто не лез; все смирились с мрачноватым обитателем этой обители и в конечном счете перестали его замечать. Только порой за столом настоя-

тель, открыв было рот, чтобы обратиться к Револьту, грустно вздыхал, вспомнив про ватные затычки в револьтовых ушах. Но зато каждый был рад удовлетворить единственную просьбу Револьта, с которой тот время от времени обращался к кому ни попадя: доставлять ему регулярно советскую прессу и разные, никому прежде не ведомые, печатные советские издания: от газеты "Правда" и "Известий" до "Лесной промышленности" или же "Ведомостей Верховного Совета" и даже отрывной советский календарь. Был явно рад и другим нелепым подаркам: любому советскому значку — от пионерского до значка космонавтов, выпелам и старым пригласительным билетам на советские конференции, перепавшим через туристов. Все это Револьт уносил в свою комнату во флигеле, куда никого не пускал. Персонал и другие постояльцы приюта объясняли этот фетишизм давно знакомой морочкой — тоской по родине, и однажды, уверовав в свое объяснение, сразу же и перестали этой мании удивляться и придавать ей особое значение.

С первыми, по-настоящему летними днями все обитатели приюта во главе с настоятелем, вместе с учениками русского языка, перебрались, так сказать, на дачу, в летнее помещение на берегу Женевского ора. Но Револьт из своего флигеля переезжать отказался и предпочел остаться на лето в Огородах Сионовых, что, впрочем, тоже не вызвало удивления. Доверяя его смирному поведению, настоятель оставил Револьта в компании сестры-хозяйки и еще ночного сторожа-инвалида. Один летний день сменялся другим и в жаркий день чай пили на лужайке, а в дождливый день внутри; сидя вдвоем с Револьтом, сестра-хозяйка разливала чай и при каждом движении револьтовой головы отводила от его лица свой долгий и непонятный Револьту взгляд. Лишь пару раз нерушимая тишина Огородов Сионовых нарушилась паническими ее криками: увидев дымок из комнаты Револьта, она стала ломиться в дверь, думая спасти его от пожара; Револьт, невозмутимо просунув голову в дверную щель, объяснил ей, что по дет-

ской привычке любит устраивать пожары в пепельнице. Но с третьего раза решил не волновать эту заботливую женщину, и стал для этих целей выходить во двор; под вечер его можно было видеть сидящим под вязом у сараев, рядом с широким плоским камнем, похожим на жертвенник — с углублением посредине. В это углубление в камне он складывал разные непонятные предметы вместе с обрывками бумажек и поджигал кучку, следя как исчезает в огне этот мусор, и глаза его желтели от отсветов. Пепел он всякий раз аккуратно перемешивал, и проходящая мимо сестра-хозяйка слышала то и дело повторяющееся непонятное ей имя Анатоля Франса. Револьт же, завидев проходящую, дружелюбно ей улыбался, так что сестра-хозяйка перестала беспокоиться по поводу и этого револьтова чудачества, и даже оставляла его одного, отправляясь на день, на два в гости к монахам из монастыря неподалеку. Так прошло лето.

Я представляю себе, как к началу сентября все обитатели вернулись с Женевского озера, отдохнувшие и загорелые; как отец-настоятель весело расхаживал по Огородам Сионовым, оглядывал после недолгой разлуки знакомый дом и парк, принимался к привычным запахам из кухни; и как цепким взглядом хозяина отметил, что окно Револьта во флигеле закрыто наглухо ставнями. Встревоженный, он поднялся по скрипящим ступенькам флигеля и нашел дверь револьтовой комнаты запертой. Он, наверное, вначале осторожно постучал и, не получив ответа, приложился ухом к двери. "Недаром в монастырях кельи запрещено изнутри запирать", обескураженно пробормотал он. Позвав на помощь сестру-хозяйку, он силой взломал дверь на защелке. Я помню эту комнату. Она была пропитана застоявшимся запахом сигаретных окурков. На полу, по углам, на столике, в раковине и на постели были разбросаны клочья газет и советских изданий, искромсанных ножницами. Но самый поразительный вид являла собой стена над кроватью: стена была углем расчерчена на квадраты, так, что получалась таблица. По горизонтальным ли-

ниям стояли странные сокращения: ЧП, ДВС и так далее, с единственно знакомыми — КГБ и ЦК. По вертикали же шел список из сотен имен по алфавиту: от Андропова и Брежнева на "а" и "б" и вплоть до Ягоды на "я". Квадраты таблицы были почти все перечеркнуты крестами, хотя в некоторых, немногих, стояло слово "безвреден", а в одном из квадратов по горизонтали с буквой "я" стояла буква Я с большим вопросительным знаком. Постояв перед этой таблицей в недоумении, настоятель стал перебирать изрезанные, непонятно по какому принципу, газеты. Например, один из номеров газеты "Правда", где беспощадные ножницы оставили кусок заголовка на первой странице: "... депутат Верховного Совета на встрече со знатными... узниками" — так ножницы исказили слово "кукурузники". Или же скомканный лист бумаги на полу, выброшенный черновик загадочного заявления, начинающегося словами: "Настоящим подтверждаю, что в период коллективизации культа личности врачей вредителей я, подкупленный агентом израильской разведки, неким З.Е. Глузбергом, прикрывавшимся высоким званием комсомольца и впоследствии разоблаченного органами КГБ...", и заканчивающегося словами: "... целиком несу личную ответственность за Ташкентское землетрясение и другие стихийные бедствия, включая низкий урожай последнего года в РСФСР и других союзных республиках". Эти бюрократические загибы были для настоятеля полной абракадаброй. Вижу его в панике сбегаящим вниз; как он, старчески задыхаясь, стучит сторожу в каморку. Тот поднимается с топчана, протирая глаза, и на вопрос о Революте отвечает:

"Так он ушедши. Ключик от комнаты оставил и ушел".

"Как ушел? Куда? Насколько? И ничего не сказал?"

"Как же не сказать — сказал. Скажи, говорит, настоятелю, что задание Анатолия Франса выполнено. Что это за Анатолий такой и каково задание, не сказал. Я так думаю, он домашнее задание по русскому языку за иностранца

Анатолия Франса сам выполнил. Вот и записочку велел передать”, и сторож достает из сапога записку. Настоятель развернет записку, сдует крошки табака, застрявшие на складках, и прочтет:

”Россия не забудет, что ее судьба решалась во флигеле Вашего приюта. Приношу личную благодарность за предоставленную мне явочную квартиру. До скорой встречи в Москве. Обнимаю Вас, Револьт Азвоздам”.

* * *

Ни русские, ни иностранные газеты ни словом не обмолвились обо всем этом, потому что освобождение пришло незаметно, само собой, как всякая свобода: однажды проснулся утром и понял, что свободен, что сегодня свободный день и можно плюнуть через левое плечо, посмотреть на все сквозь пальцы и махнуть рукой наступающему дню. И не понимаешь, как ты до сих пор жил без этой свободы: как невозможно вспомнить зубную боль, когда зуб вырван с корнем и десна зажила. Россия в один прекрасный день проснулась и поняла, что нет больше нужды в двоемыслии, в двоеречии и в двурушничестве. По всей стране прошла вражда племен, исчезла ложь и грусть. И грустная ложь и ложная грусть. Никто этого не заметил. А работа была чудовищно трудоемкой. Мало кто поймет, сколько пришлось поработать Револьту со словарем, роясь в поисках забытых советизмов и клише для составления фальшивых доносов; надо было вспомнить, к примеру, ”знатных чабанов и оленеводов, хлопкоробов и работников умственного труда” и т.д. и т.п. Неподдельную радость вызывали такие, к примеру, забытые пролетарские титулы, как ”отличник боевой и политической подготовки”, или же: ”глава рабочей династии”. За эту голову и надо было вешать всю династию, написав на нее фальшивый донос с присовокуплением фиктивного протокола допроса, потом бумагу разорвать на мелкие клочки и сжечь, пепел перемешивая, по завету Анатоля Франса. Трудная была

задача. Но поддерживала вера в то, что он не ошибся ни в одном имени проскрибционного списка. И появившийся черный крест в таблице с должностью и именем означал, что тиран истреблен и дело его сожжено. Еще народы России не осознали дарованной свободы, принимая неожиданную кончину целого ряда работников советского аппарата за случайное совпадение. У Револьта не было времени оповещать газеты об освобождении России: он спешил на встречу со своей собственной страной, пешком проходя свой обратный путь, минуя города и полустанки, иногда с сомнением взирая на окрестность, но дух России всегда выводил его на верный путь через леса Скандинавии. Он шел, благословляя леса и голубые небеса и в поле каждую былинку и в небе каждую звезду. И все думал: добегу ли я в тот край, не встретив пули?

Но уже не было сомнений, что добежал: мелькнул указатель с названием "Тулома" и впереди, сквозь ольху и кусты орешника заблестела речушка. Отгнув ветви, он выбрался на берег и в четырех метрах от себя, на другом берегу увидел, наконец, глубоко врытый в землю тесаный дубовый столбище. На столбе литой железный щит и на щите серп и молот; пограничный столб с советским гербом стоял на том берегу среди таких же кустов орешника и ольхи, среди таких же плакучих ив и осоки, среди которых стоял и Револьт на этом берегу ручья; но это были другие плакучие ивы и другой орешник, лопухи и бузина и осока: на другой стороне была развенчанная Револьтом советская власть, до которой было четыре шага. И Револьт достал из внутреннего кармана свой старый советский паспорт и разорвал его сначала на две части, потом на четыре и бросил исчетверенные колосья с серпом и молотом на обложке в черные воды быстрой речушки. Тут и произошло то, что вы объясните совпадением и болотистостью берегов, но что Револьт и я заранее предвидели: серп и молот вместе со стальным щитом герба на другой стороне реки поехали в сторону, но в действительности в сторону съехал не герб на столбе, а сам пограничный столб стал медленно накре-

няться в сторону и, как будто заваливаясь в болотистой жиже, рухнул на глазах и лег аккуратным мостиком через ручей. Оставалось сделать четыре шага по скользкому, отточенному временем бревну пограничного столба. И растягивая торжество вступления триумвира в царство рухнувших темниц и свободы у гробового входа, мы присели на бревно и стали писать это последнее свидетельство революционной эпохи в 10-ти тетрадах, исповедь самого Революта, рассказанную от моего имени.

Остается немного досказать; мы почувствовали, что от долгого сиденья гербовый барельеф с металлическими колосьями на щите, не говоря уже о серпе с молотом, впиивается в тело, и мы пересели на обточенный водой камень в осоке, у самой воды. Над нами склонялся куст рябины, а напротив через ручей на другом берегу стоял дуб. Вешние воды подобрались к самому стволу и отсыревшая земля под корневищем шибала в нос забытой дачной тропинкой, той отсыревшей в тени кустов тропой, которая в детстве была протоптана к дыре забора. С того, солнечного берега ручья до нас доходил возгоняющийся, как спирт, дух крапивы, выгорающей на солнце после дождя. И чуть поодаль шевелились на ветру высокие трубки с качающимися булавами: из этих трубок хорошо было в детстве стрелять бузиной. И мелькающие листвой на сквозняке кусты орешника ощущались вспотевшим затылком: солнце припекает затылок, когда ловишь рыбу с удилищем из орешника. Но я твердо знал, что мы уже не те, кто пройдет по тропинке утром к озеру, в полной уверенности, что другой жизни нет. Родина — это когда знаешь, что на свете нет другой географии и не сравниваешь рябину на этом берегу с дубом на другой стороне. Оставалось сделать четыре шага и география исчезнет. Взглянешь ты на те невзрачные места, где ты рос и где боялся ты хлыста. Побеседуешь с остатками друзей из ухтинских и колымских лагерей. Но я-то знал, что по возвращении рассказать будет нечего: потому что твоя жизнь давно ушла в ноги, а из глаз ушла любовь.

Я наклонился над водой, чтобы обмыть лицо. Вода была черна и сладима. Револьт по-собачьи внюхивался в запах воды, пытаюсь угадать след этого запаха в памяти. Подводное течение шевелило стеблями, лепестками и водорослями, и раскачивались на подводном ветру, завораживая взгляд, игольчатые и стрельчатые заросли. И вдруг масштаб сменился, и ты показался себе гигантом, склонившимся над земной поверхностью. Еще одно смещение зрения, и стрельчатые папоротники и игольчатые петушки под водой стали пролетающими внизу иерусалимскими соснами, которые раскачивались на ветру — под голубыми темными струями воды, как под летящим небом. И ты понял, что потерял Иерусалим, не заметив его, когда был вблизи, принимая его за сон, который снился еще в Москве. И вся револьтова жизнь представилась мне как суетливое перебирание близких лиц под перестрелку личных оскорблений: вообразил себя солдатом вымышленной повинности, сражаясь с придуманными доводами взамен ежедневной любви, и вместе с уяснением этой безнадеги сухо стало в глазах, и увиденный в струях воды Иерусалим исчез. Сначала наискось, потом наперекос, а дальше прошлое и будущее врозь. Наше рукопожатие распалось, и сразу с того берега послышалось рычание собаки.

”Каштанка! Каштанка!” задыхаясь, позвал Револьт, а я промолчал; хотя я и Револьт одно и то же перемещенное лицо, одно и то же тело, я не Револьт этих записок и согласно моей же теории уже сам за себя не отвечаю, не отвечаю за поступки того себя, который был Револьтом этой исповеди. Слишком много наговорено. Мне надо успеть засунуть эти тетради в бутылку советского портвейна, выловленную мной в речушке, и бросить эту бутылку обратно в темные воды, пока нас не засекли с другого берега: я догадываюсь, кому принадлежит эта отрывистая советская речь и я подозреваю, что услышанный Револьтом лай не принадлежит Каштанке, и вообще я слышу рычание не одной Каштанки, а целых двух Каштанок, а может и всей своры пограничных овчарок. Но толковать это Револьту

бесполезно; я и мое прошлое — как два человека по разные стороны пропасти, скованные одной цепью: как только один делает шаг прочь от пропасти, другой в эту пропасть падает и тянет за собой товарища. Сейчас товарищ Револют поднимается с колен и, опережая себя самого, я отброшу вставную челюсть в сторону, как последнее свидетельство моего пребывания на том свете, и пойду навстречу знакомому лаю. По-байроновски ваша собачонка меня встречала лаем у ворот.

КОНЕЦ

Одну секундочку! Вкладываю в бутылку последнее письмо Тимура. Оно осталось неотвеченным, поскольку адресат выбыл, и от московских кругов остались круги на воде.

* * *

”Вернулся я из Торжка, куда мы ездили обмерять могилу-мавзолей Львова, и нашел твою бандероль на столе в Москве. К ней была приклеена бумажка с моим новым адресом, потому что ты послал по старому. Пока эта бандероль шла, наша бригада продвигалась по маршруту, который, если начертить на карте, представлял собой логарифмическую спираль, центром которой служит город Торжок. Мы-то правда хотели, чтобы получился круг или

часть круга, я хочу сказать, окружности, но нас как-то стало разносить и выбрасывать. Все время неудержимо росла скорость. В первый день мы прошли 8 километров, во второй день — 15, в третий — я уже даже не помню сколько, а в последние — неизвестно почему стали ловить попутные машины, хотя уехать в Торжок можно было из любой точки и спешить нам было некуда, но так или иначе, мы ловили машины и мчались все дальше и дальше от Торжка, пока, наконец, нас не забросило в Старицу, откуда можно было поездом доехать до Торжка, а оттуда в Москву, и мы чудом до Торжка доехали, хотя поезд был ленинградский, мы огромным усилием воли заставили себя все-таки выйти в Торжке, а не ехать до Ленинграда, хотя нас уже тянуло туда. С самого начала основная проблема заключалась в том, ехать ли прямым поездом, который выходит из Москвы в 20.00 и приходит в Торжок в 0.26 — так предлагал я, или же ехать днем на электричке в Калинин, а оттуда на другой электричке в Торжок — так предлагал Саша, считая, что приезжать в чужой город в полночь рискованно, в том смысле, что мы не попадем в гостиницу.

”Да зачем нам гостиница”, не мог понять я, ”если мы возьмем с собой палатки?”

”А затем”, вмешивался Миша, ”что в полночь в Торжке от палаток мало толку. Не на клумбе же их ставить!”

Мне этот вариант с Калининским не понравился совсем, но у меня был свой расчет, который блистательно оправдался. Когда мы вытащили наши тридцатикилограммовые рюкзаки на перрон в Калинин и поняли, что сейчас их придется надевать и тащиться в гостиницу, я сказал ненавязчиво:

”А между прочим, с этой самой платформы через сорок минут пойдет поезд до Торжка и можно вещи никуда не тащить, а просто побросать их в поезд и сидеть спокойно еще полтора часа”.

Возможность еще полтора часа не тащить вещи, а ехать в поезде, была заведомо привлекательнее, чем ночевка в гостинице. И все сказали: ”А почему бы нам действи-

тельно не поехать сразу в Торжок". И мы поехали в Торжок. Эта электричка должна была приехать в Торжок в 23.58, но она ехала как-то неровно, то быстро, то медленно, а потом совсем медленно, потом и вовсе остановилась и стояла полчаса, так что мы приехали в Торжок в начале первого — всего на несколько минут раньше, чем если бы ехали на прямом поезде. Было очень холодно. Пошел дождь. Даже куртка, подаренная мне когда-то Четверганом, не очень спасала.

"Может мы доедем до гостиницы на такси?" предложил Саша. "Где ты здесь видишь такси?" злорадно ответил я. Мы прошли мимо желтого здания клуба "Им. Парижской коммуны", где когда-то Даша Пожарская кормила Пушкина своими котлетами, рецепт которых ей продал нищий француз, больше ему нечем было расплатиться. Котлеты были так хороши, что после них Пушкину удалось легко опровергнуть Радищева, ошибочно полагавшего, что России не нужна цензура. Затем мы прошли между Воскресенским женским монастырем, известным тем, что в нем долгие годы содержалась некая Петрова, обвиненная, не без основания, надо полагать, в колдовстве; и между Екатерининским путевым дворцом, в котором в 1787-м году группа золотой торжковской молодежи перебила всю посуду, но это были не мы. Затем мы спустились по так называемому Почтовому спуску, но уже не по булыжникам, как это приходилось делать Пушкину, держась за деревянные перила, а по гранитным ступеням, уложенным в 1930 году; деревянные перила же были тогда заменены на бетонные вазы с цветами, за которые и не подержишься.

Конечно же, когда мы дошли до гостиницы, там был свободный номер — не пришлось даже трясти мандатами. Мы с Мишей уступили единственную кровать Саше, а сами устроились на полу на надувных матрасах и спальнях мешках. Утром мы проснулись рано. Мы перешли речку Тверцу по железнодорожному мосту; в 1881 году его по дешевке продавало железнодорожное ведомство, поскольку он был бракованный, но нас он выдержал. Сразу за

мостом на правом берегу стояла некогда Крестовоздвиженская часовня Львова. Когда я в первый раз был в Торжке, часовня была обстроена различными пристройками, и все это сооружение было выкрашено из пульверизатора ядовито-изумрудной краской, а если заглянуть в щель одного из заколоченных окон, можно было увидеть остатки лика, напоминающего "Спас Ярое Око", впрочем только куски носа и глаза. Теперь над часовней поработала Анна Матвеевна Харламова. Она сломала все пристройки и восстановила часовню по чертежам Львова. Теперь на ней уже не висит вывеска "Табаки", а висит другая: "Сувениры". Когда белили купол под руководством Анны Матвеевны Харламовой, то остатки живописи естественно покрыли ровным слоем краски. Водоземulsionной. В оде ль ему сионовой? Перед тем, как покинуть город, мы зашли к Суслову, точнее я зашел к Суслову, а Миша и Саша остались ждать меня во дворе, и ждали они меня, надо сказать, долго.

А что я мог сделать, если Александра Александровича Сулова я застал лежащим в постели, опутанным резиновыми трубками, которые он то и дело осторожно трогал рукой, чтобы убедиться, что они теплые: то есть моча из мочевого пузыря идет в резиновую грелку, а не сочится через плохо зажившие послеоперационные швы на простыню. В комнате стоял резкий запах тройного одеколona, чтобы заглушить все остальные, но одеколон помогал плохо. Он был сильно небрит и выглядел очень старым, каким он, в сущности, и был, потому что восемьдесят лет это, как ни крути, очень много. Его жена, бывшая его ученица, была, видимо, на огороде. Я постучал в дверь, слабый голос ответил мне "войдите" или "да" или "кто там", не помню точно. Я вошел. Комната за те два года, что я не был, не изменилась совсем, те же фотографии на стенах, те же коврики — этот странный стиль деревенской интеллигенции — он же лежал в другой, маленькой комнате за занавеской у окна. Два года назад он был там же у окна, но в кресле, а теперь лежал на кровати, ногами к окну. Он не узнал меня,

и я стал рассказывать ему, как я приезжал два года назад, как мы переписывались, как я прислал ему статью о русской архитектуре, где было довольно много о нем и была даже его фотография, он все вспомнил, прослезился и велел мне снять со стула кипу вырезок и сесть на него, на стул.

”Помню, помню, голубчик”, говорил он, морщась и ворочаясь от резкой боли в мочевом пузыре, которая не проходит у него ни на минуту. ”Все помню и очень благодарен, что не забыли. А что не пишу вам, простите, сил нет, все время жжет и жжет, ни на минуту не отпускает, а голова ясная, иногда хочется поработать, материал какой-нибудь послать в ”Маяк коммунизма” или даже в ”Калининскую правду”, а не могу. Плохо, очень плохо, голубчик. Но жаловаться не могу, я чист, накормлен, жена ухаживает, жаловаться не могу, из горкома заходят иногда, рассказывают, ученики заходят. Как я вам завидую, что вы сейчас пешком пойдете по Новоторжскому уезду, я ведь столько тут ходил, все тропинки знаю, а сейчас вот лежу. Говорят, могила Вульфа опять в запустение пришла, я ведь ее разыскал в свое время, в горком пришел, мне пятнадцать рублей выписали, я плотника взял, мы с ним деревянную ограду сделали. А то ведь никто не знал, где он похоронен, Павел Иванович, друг Пушкина, а теперь говорят, ограду сломали, и где могила, никто уже и не знает, а я встать не могу, чтоб им показать. Будете в Митино, посмотрите, там, говорят, на правом берегу стали церкви деревянные свозить, не знаю, не видел. А в Прутне, на погосте, там где Анна Петровна Керн похоронена, это ведь тоже я разыскал могилу, никто не знал, где она похоронена, там, говорят, украли надгробие Ивана Кирилловича Собринского, генерала кавалерии, при Александре Втором служил, вы уж посмотрите, голубчик, хорошее было надгробие, с фигурой ангела летящего”.

Я оставил Сулову пачку цейлонского чая и кусок копченой колбасы, чему он был очень рад — почетный гражданин Торжка живет на пенсию в восемьдесят рублей,

еще, правда, сорок получает жена, но все равно этого мало, потому что на лекарства много уходит.

Мы прошли по левому берегу Тверцы вверх по улице Соминке, которая названа так из-за того, как писал Суслов в газете "Маяк коммунизма", что здесь в доках ремонтировались особые речные суда "соминки", на которых в Петербург везли зерно, эти соминки бурлаки тащили вверх до Вышнего Волочка, а там те плыли уже по течению сами. Потом город кончился и мы пошли по старой Петербургской дороге, пока не дошли до Смыковского ручья, названного так за то, что около него сходились в 18-м веке разбойничьи шайки, пока в 1711 году Петр не велел полковнику Козину всех переловить и повырывать ноздри. Тот повырывал, но, по-видимому, не разбойникам, а тем, кто попался. Так или иначе, эта мера подействовала, потому что когда мы поставили не без некоторого страха палатки у Смыковского ручья, все обошлось благополучно. Правда, Миша утверждает, что когда он вылез в четыре утра, было уже довольно светло и он увидел неподалеку от наших еще одну палатку, оранжевую, и рядом с ней человека. Когда же мы встали, это было около девяти, никакой палатки и никакого человека не было. Это странно, мы заснули около часа ночи, тогда никакой палатки тоже не было. Кому могло понадобиться ставить рядом с нами палатку после часа ночи, да еще так бесшумно, что мы ничего не слышали, а затем так же бесшумно снимать ее на рассвете? Видимо, Миша выходил ночью не один, а два раза, в первый раз он заснул в кустах, а второй — вылез из кустов и увидел мою палатку, которая и есть оранжевого цвета, правда неясно, что это был за человек около палатки, потому что я не вылезал ночью. Видимо, Миша увидел самого себя.

Но до того, как мы поставили палатки, мы побывали в Митино, принадлежащее некогда Львовым, но не тем Львовым, а другим, что не помешало последним пригласить того Львова, чтобы он им все построил. Он построил среди всего прочего удивительное по своей нелепости со-

оружие: погреб в виде египетской пирамиды. С двух противоположных сторон к пирамиде приделаны своды, арки, входы, сложенные из гигантских булыжников-валунов. Эта пирамида высотой с трехэтажный дом была вся заколочена, но можно было туда заглянуть, если подпрыгнуть и зацепиться рукой за слуховое окошко. В оранжерее у не того Львова было устроено специальное помещение для павлинов, этот чудак держал только синезеленых и белых, а красных или зеленых прямо сразу брал за ноги и об забор.

”Иногда, — пишет в своей книге краевед Суслов, — птицы взлетали на сук старой липы около дома и своим неприятным криком возвещали о том, что на противоположном берегу Тверцы кто-то просит о перевозе”. Тщетно стояли мы и ждали неприятного крика павлинов, никто не закричал и никто не шел нас перевозить. Пять или шесть лодок стояли у берега, прикованные цепями и запертые на замок, ключи же находились у владельцев. Мы уже сами были готовы кричать неприятными голосами, но тут пришел мужик, который плыл к Чортовому мосту. Мост этот построен тем же Львовым, и это видно с первого же взгляда: те же самые валуны и циркульные арки. Несколько лет назад через Чортов гнали трактор, и он провалился как раз в одно из внутренних помещений под аркой, но когда мы туда зашли, трактора там не было, видимо растащили на запчасти или же провалился еще глубже, но проломов ни сверху, ни снизу не было видно, стояли какие-то подпорки из бревен. Мы переправились обратно, и поставили палатки у Смыковского ручья. Утром мы с Сашей пошли за дровами. У нас были две теории собирания дров. Саша предлагал сесть на меня верхом и рубить топором нижние сучья. Мы так и сделали, но когда его топор, сорвавшись с сука, просвистел у моего уха, у меня зародились сомнения в справедливости его теории.

”Ну хорошо”, — сказал Саша, — садись тогда ты на меня”.

Но я настаивал на своей идее, которая была проста и

неотразима. Всю ночь шел дождь, поэтому все мокрое, следовательно, надо срубить наиболее сухие сучья. Чем суше сучья, тем лучше они ломаются. И настоящему сухому суку не нужно топора. Надо взять тяжелую палку и бросить ее вверх, в гущу сучьев. Те из сучьев, которые сломаются, и будут самыми сухими. Итак, я начал ломать, а Саша начал рубить. Потом в костре сгорели и его и мои дрова, так что каждый остался убежденным в собственной справедливости.

К утру выяснилось, что мы у самой Прутни и через речку виден шпиль церкви. В Прутне похоронена Керн. Считается, что могилу разыскал Суслов. Но Афанасьевы, конкуренты Суслова по краеведению, сделали ставку не на 19-й век, где, понимали, им Сулова не одолеть, а на историю революционной борьбы Новоторжского уезда, и утверждают, что все было не так. Могилу Керн отыскал по их версии священник Тарачков в 1937 году. Сбивчивый и не очень понятный рассказ супругов Афанасьевых гласит, что полковник Воробьев с братом пошли к старой учительнице Марье Васильевне Шохиной, то ли спросить, где похоронена Керн, то ли чтобы сказать, что они нашли ее могилу. Скорее все-таки спросить, ибо если бы они ее нашли, то зачем тогда вводить в рассказ священника Тарачкова. С другой стороны, такая непоследовательность рассказа лучшее доказательство его правдивости, впрочем эти мерзавцы Афанасьевы могли и нарочно подделать непоследовательность. Так или иначе, полковник Воробьев с братом пришли к учительнице Шохиной и что-то спросили или что-то сказали. А она что-то ответила, а тут в дверь стук: входит священник Тарачков, борода разметалась, ряса расстегнута и глаза бегают. Хочу, говорит, на советскую работу! Полковник Воробьев переглянулся с братом и говорит: ишь, говорит, напустил опиуму, а теперь на советскую работу? Но Марья Васильевна Шохина, учительница, хорошая такая старушка, приветливая, защищает священника и говорит о пристальном внимании к каждому человеку. В общем, решили дать священнику испытательное задание:

прочитать все книги записей об умерших с 1879 года, то есть с того года, когда умерла Анна Петровна Керн. Тот сел читать и, наконец, нашел! Тут, правда, есть одна неувязка: полковник с братом пришли к Шохиной в начале тридцатых годов, а священник просился на работу в 1937 году, так что и такого разговора быть не могло. Но кто бы ни нашел могилу, возникает вопрос, почему Керн похоронена именно в Прутне, хотя ее с этим местом ничего вроде не связывает? На этот вопрос Афанасьевы вам ответа не дадут, тут уж все равно придется спрашивать Суслова. А он ответит: все дело в бездорожье, везли ее в Прямухино, где ее второй муж Марков-Виноградский похоронен, но не доехли, дожди начались, и все дороги развезло, а в наших краях, как дороги развезет, то уж не проедешь, ни пройдешь, вот и похоронили, где пришлось. Что же касается надгробия генерала кавалерии Собриевского, то его надгробие не украли, а только отбили ангела летящего, а что такое "развезло дороги", мы поняли очень скоро, после того, как узнали, что надгробие на месте. Нам надо было добираться до Осуги.

Мы переправились все тем же способом: дождались попутного мужика, но на этот раз заплатили ему двадцать копеек. Деревня против Прутни называлась Прутенка, а как добраться до Осуги, никто не знал. "Есть где-то такая река, — говорили прутенские мужики, — точно есть, но пройти туда нельзя. Надо переправляться обратно, и вверх по Тверце до Раменья".

"Да не надо нам Раменья, — объясняли мы, — это будет лишних тридцать километров. Вот на карте, видите, тут масштаб шесть километров, значит от Тверцы до Осуги здесь самое большее восемь километров". Но прутенские мужики только недоверчиво кивали головами:

"Может, конечно оно и так, но только мы такого не слыхали. Туда и дороги-то никакой нет. Леса. А не хотите по Тверце, идите по большаку на Святцево, потом на Быльцево, а там уже и на Скрылево. А от Скрылево до Раменья рукой подать".

”Да не нужно нам вашего Раменья, — раздражались мы, — заладили Раменье да Раменье. Нам Осуга нужна. Река такая. Воспетая в одноименной поэме Бакунина, отца известного анархиста и революционера, друга Львова, сторонника крепостного права и поклонника царицы-матушки Екатерины. Она с Вольтером переписывалась”. Но прутенские мужики упорно стояли на своем:

”Так-то оно так, но только идти вам теперь все равно на Святцево, со Святцева на Быльцино, с Быльцина на Скрылево, а там уж рукой подать до Раменья, а Раменье как раз на этой, на Осуге, и стоит”.

”Ну хорошо, — говорили мы, — а если мы пойдем не по большаку, а вот сюда, на запад, прямо от реки к вон тому лесу, то мы куда придем?”

”Аккурат в Житково и придете”.

”Так нам туда и надо”.

”Так бы и сказали сразу, — обиделись прутенские мужики, — так бы и сказали, что вам в Житково надо. А то заладили Раменье, да Раменье”.

По дороге в Житково нас с самолета опрыскивали ДДТ, приняв, наверное, за колорадских жуков, и я оставляю в стороне вопрос, было ли это ДДТ или нас опрыскали гербицидом, а может пестицидом, скажу только, что мы остались живы благодаря проливному дождю: те посыпали, а тот смывал.

Жители деревни Житково попытались проделать с нами все тот же трюк, то есть послать нас на Святцево, Быльцино, Скрылево с конечным пунктом в Раменьях, но мы были начеку. Под проливным дождем мы наконец нашли одного человека, который признался, что есть тропинка через лес, которая ведет в Малые Вишенья, а как он слышал, в Малых Вишеньях есть пастух, который когда-то ходил на Осугу на рыбалку.

”Пойдете к тому лесу, — сказал он, — перейдете ручей, там будет тропинка. Одна тропинка пойдет правее, другая левее, третья прямее”.

”А какая нам нужна?” спросили мы.

”Вам-то? Там сами увидите. Которая на Малые Вишенья”.

Больше ничего мы от него добиться не смогли. Вообще мы заметили, что мы с местными жителями не понимаем друг друга. Для них тропинка на Малые Вишенья отличается от всех остальных именно тем, что она ведет на Малые Вишенья, а остальные — совсем в другие места. Но что же нам делать, если мы никогда не ходили по этой тропинке и не знаем, ведет ли она в Малые Вишенья? Вот этого ”никогда” и не желали понимать наши житковские (как, впрочем, и прутеновские, а впоследствии и вишенские, и пудышевские, и сосенские, и дедковские, и никольские, и арпачеевские, и якшинские, и фоминские, и красненские, и волосовские, и астратовские, и щербовские, и срагевичевские, и прямухинские, и скрылевские из другого Скрылева, и прусоские, и рясненские, и луковниковские, и наконец старицкие) мужики и упорно твердили свое:

”Как ручей перейдете, так сразу и увидите тропинку на Малые Вишенья. Только вы не идите по той, что в Киселевку ведет, вам туда не надо. Да вы ее сразу узнаете, тропинку, ее сразу видать — она на Вишенья ведет, а та на Киселевку”.

Углубившись в сосновый лес, мы сделали короткий привал, съели по мокрому куску хлеба, по мокрому куску сыра и заели все это мокрой земляникой, которая росла у нас под ногами. Тропинка стала едва различимой, мокрые ветки обдавали водой как из душа, сквозь полностью промокшие куртки этот душ ощущался как если бы никаких курток и не было. Быстро темнело. Глину развезло уже настолько, что ноги проваливались по щиколотку. Тропинка теперь то исчезала совсем, то внезапно их появлялось много, и вели они разумеется в разные стороны — одна в Киселевку, другая, возможно, в Дрембу, а третья в местечко Зембля, но понять какая где мы даже и не пытались. Так прошло около двух часов. Становилось то темнее, то светлее, потому что свет и тьма зависели не от времени суток, а от сгущения и разряжения туч. Временами

мы разделялись — одни шли по одной тропинке, другие по другой, и каждый раз мы все равно сходились, и временами это нас радовало, хотя с таким же успехом могло бы и огорчать. Было тяжело, рюкзаки врезались в плечи, с каждым шагом приходилось с хлюпаньем выдирать увязшую в жидкой глине ногу. Самым неприятным было то, что неизвестно куда было идти, и не у кого было спросить, а если мы не выходим к реке до ночи, то нам будет нечего пить — мокрую палатку в мокром лесу мы бы как-нибудь поставили, костер из мокрых дров мы бы как-нибудь развели, но вот уже горячего чая не было бы точно, а без горячего чая не радовало бы нас даже наличие бутылки водки. Внезапно мы вышли на дорогу, это была явная дорога с отчетливыми следами коровьих копыт, но идти по ней было хуже, ибо отсутствие травяного покрова приводило к тому, что ноги проваливались в глину уже не по щиколотку, а почти по колено. А главное, неясно было, куда идти: направо или налево. Это выяснилось, когда мы все-таки пошли налево и встретили большое стадо и пастуха.

”Идите назад, — сказал молодой пастух, — там дорога будет расходиться на три. Так вы не идите по той, которая ведет в Дрембу, и не идите по той, которая ведет в Земблю, а идите по той, которая ведет в Малые Вишенья”.

”А как мы узнаем, какая куда ведет?”

”Так видно же будет — одна туда, другая сюда”.

”Ну да, конечно”, сказали мы обреченно и двинулись, понимая, что Зембли нам не миновать. Мы шли еще долго. Тропинки ветвились, сходились, снова расходились, пропадали совсем, внезапно превращались в широкую дорогу со следами колес, потом удивительным образом следы обрывались. В конце концов тропинка уперлась в заросли орешника и осины и мы остановились, ибо идти дальше было некуда. Дождь продолжался, под ногами все превратилось уже в настоящее болото и тут между нами произошел небольшой скандал.

”Одну минуту, — сказал Саша, — мы по-моему сбились с дороги и надо немедленно вернуться”.

”Куда?” резонно спросили мы.

”Туда, где дорога была еще различима”.

”Во-первых, где гарантия, что мы попадем именно туда, где были, а не в какое-нибудь другое место, а во-вторых, дороги и тропинки все время ветвились, и мы каждый раз выбирали ту тропу, которая казалась нам наиболее протопанной: какой же смысл возвращаться?”

”Значит, один раз вы ошиблись”. Саша имел в виду то, что мы с Мишей шли впереди, а он лишь следовал за нами. ”Может быть, и не один раз ошиблись”, добавил он.

”Но если вперед идти бессмысленно, то назад тем более”, сказал Миша.

”Давайте тогда разобьемся и пойдем в разные стороны, через десять минут сойдемся и поделимся знаниями”, не унимался Саша.

Есть священный принцип совместных путешествий: если кто-то хочет делать нечто, что по-твоему не принесет непоправимого вреда, прими в этом участие. И тут Миша позволил себе нелояльное заявление:

”Иди, если хочешь, а я никуда не пойду и буду ждать тебя здесь”, заявил он.

”Я пойду вперед, — сказал я, чтобы сгладить конфликтность, — а ты, Саша, иди назад. Через десять минут встретимся здесь”.

”А я здесь покурю”, цинично заявил Миша.

Мы разошлись, потом сошлись, потом куда-то пошли, потом еще куда-то, потом начало темнеть уже по-настоящему, потом дождь пошел уже в полную силу, потом глину развезло до жидкого состояния, потом мы услышали па-стужечий кнут и пошли на него, это оказался тот самый па-стух, а с ним еще пожилой. Это не значит, конечно, что мы сделали круг, просто они пошли по нашим следам и увидели, что следы ведут совсем не в Малые Вишенья, и даже не в Дрембу, и может быть и мимо Зембли, в непроходимые болота, и пошли за нами, чтобы нас спасти и постоянно шелкали кнутом, вместо света маяка.

”Не туда, не туда, — закричал издали пожилой пастух,

увидя нас. — Прошли вы тропинку. Там надо было туда, ближе к Вишеньям, а вы значит сюда на Киселевку подались, а потом вижу — и от Киселевки в сторону, а сейчас и вовсе в болото зашли. Да вы еще и без сапог? как же это можно, без сапог в наших-то краях. Куда вас теперь я и не знаю. До Вишеньев сегодня вам не дойти”.

”Нам теперь нужно любое место, — сказали мы, — чтобы был сосновый лес и вода для питья. Мы там поставим палатки, а утром пойдем к Осуге, а там уже на Никольское, Арпачево и может быть на Таложню”.

Пастух указывал нам дорогу, но через час шагания остановился и сказал: ”Дальше сами. Мне пасти надо”. Мы пошли прямо и скоро вышли на довольно большую поляну, которую сзади замыкал сосновый лесок, явно посаженный людьми, так как сосны шли ровными рядами как типичный пример лесозащитной полосы, о которой Маршак в свое время спрашивал читателя: ”Что мы сажаем, сажая леса?” и сам же себе отвечал: ”Мачты и реи — нести паруса”. Не знаю насчет парусов, но с мачтами и реями он попал в точку: мы нарубили длинных жердей и перекладин и соорудили мачты и реи, на которых развесили вместо парусов мокрые спальные мешки, штаны, надувные матрасы, носки, куртки, рюкзаки, стельки из войлока, стельки из кожи, рубашки, давно утерявшие белизну трусы — но, как ты понимаешь, для того, чтобы все это развесить, нужно было, чтобы дождь перестал идти, что он и сделал. А произошло это так. Как только мы вышли на поляну и сняли наши рюкзаки, еще не дойдя до сосняка, я расправил затекшие плечи и сказал: ”Если бы он перестал, я бы ему все простил”. Дождь как будто услышал меня и как будто ему нужно было мое прощение, он сразу стал стихать, стихать, и когда мы обнаружили пруд, он просто моросил, а когда поставили палатки, он едва капал. Каким-то образом у каждого в рюкзаке сохранился сухой комплект одежды; какое блаженство было снять с себя мокрые куртки, ботинки, трусы, майки, правда, было очень холодно, но все равно это было блаженством, несмотря на пять градусов

тепла. Когда мы расставили палатки, было около восьми вечера, и примерно до часу ночи мы сушили, сушили, переворачивая высохшее на другую сторону, перевешивали подгоревшее на более дальние рей и более высокие мачты, мы делали перерывы только на принятие ужина и нашей единственной бутылки водки, правда в это время сушение происходило само, потом опять сушили, перевешивали и переворачивали, сушили, пока разморенные жаром костра и паром сохнувших штанов и выпитой водкой, не упали в палатки и не забылись сном. Во сне до нас доносились щелканье бича — это мимо нас гнали все то же стадо. Это был родной дом. Это была почва. Это была Зембля.

На следующий день светило солнце, хотя и было довольно холодно. Было ясно, куда идти: по проселочной дороге через лес, впрочем, не уверен, что дорога через лес может называться проселочной. По ней надо было выйти на мощенку, хотя нет, мощенка была после Малых Вишенев, а до этого мы шли проселком через лес. Мы шли через довольно паршивый осинник, заросший к тому же орешником и трепещущим ольнянником и прочей мокрой гадостью — папоротниками, хвощами и лишайниками, и довольно скоро показалось поле. И мы вышли на это поле, которое оказалось перейти легче, чем прожить жизнь, вот еще несколько шагов, еще раз подтянуть лямки рюкзака и вот впереди и чуть слева возникают черные заколоченные избы Малых Вишенев. Никаких вишневых садов, полагающихся по названию, не было, было много диких яблонь и ряды заколоченных изб. Мы шли по хорошему песчаному большаку, несколько раз начинался дождь, но мы были уже опытнее: мы надевали наши плащи поверх рюкзаков, в результате чего спина не мокла, а когда дождь прекращался, плащ на ветру мгновенно просыхал. Мы свернули направо и когда уже начало темнеть, слева впереди показались очертания львовского мавзолея. Мы свернули направо, прошли мимо бетонных барачков и перепрыгивая через лужи, подошли к ротонде. На фотографиях мавзолей казался маленьким, а в натуре огромным и страшно облуп-

ленным. В начале пятидесятых годов, когда Суслов разыскал и атрибутировал мавзолей, он обнаружил, что около него мальчики играют в футбол неким непонятым предметом, впоследствии оказавшимся черепом самого Львова из склепа в первом разграбленном этаже. Остальных частей скелета найти не удалось, а теперь пропал и череп. Если влезть через окно в цокольный этаж; взяв, разумеется, с собой фонарь, ибо там темно, то можно увидеть лишь одну уцелевшую надгробную плиту родственников Львова, а вместо остальных — ямы. А неподалеку несла свои воды Осуга, о которой отец знаменитого анархиста Бакунина сказал: "Красуйся, тихая Осуга, душа прямухинских полей и неизменная подруга, кормилица моих детей. Ученые тебя забыли, проселком путь тaitся твой. Ты городской не знаешь пыли, боишься стука мостовой".*

1979 г.

* Примечание: Как стало известно из осведомленных источников, все полученные Револьтом извещения о смерти его друзей и родственников были в действительности сфальсифицированы КГБ. В частности, приведенное здесь письмо было написано не Тимуром: это — грубо искаженная и переиначенная версия письма его коллеги В. Паперного, в оригинале адресованного некоему З.Е. Глузбергу в Иерусалиме. Сам В. Паперный эмигрировал несколько лет назад из России в Америку (примечание З.З., Лондон, 1979).





Imprimerie «Syntaxis»



Зиновий ЗИНИК родился в 1945 г. в Москве. Сейчас живет в Лондоне и зарабатывает на жизнь театральными рецензиями.

Автор повестей и романов: "Извещение" ("Время и мы", №8), "Уклонение от повинности" ("Время и мы" №69), "Руссофобка и фунгофил" ("Время и мы", №№82, 83, 84), "Русская служба" -- изд. "Синтаксис", "Перемещенное лицо" -- изд. "Руссика".

Эссе "Соц-арт", "Подстрочник" и "Эмиграция как литературный прием" опубликованы в журнале "Синтаксис" (№№3, 8, 11).